ФЕДИН

Юрий Оклянский

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Предлагаемая книга — первая биография советского писателя, ученого и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда К.А. Федина. Воссозданию обстоятельств жизни, окружения и личности К.А. Федина помогло знакомство автора с писателем, встречи и переписка с ним на протяжении почти двух десятилетий. В книге впервые использовано большое количество новых, ранее не публиковавшихся материалов, документов, переписки из государственных хранилищ и частных собраний СССР и ГДР.

Рецензенты:

Сектор советской литературы Института

русской литературы АН СССР (Пушкинский дом)

в Ленинграде.

Государственный музей

К.А. Федина в г. Саратове.

- КОРНИ
- НИДЕФАК
- РОССИЙСКАЯ НОВЬ
- ПОБРАТИМЫ
- ХУДОЖНИК И ОТЧИЗНА
- ДВА МИРА
- БОЛЬШИЕ МАРШРУТЫ
- ИСПЫТАНИЕ
- ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ
- В ПЕРВЫХ РЯДАХ МАСТЕРОВ КУЛЬТУРЫ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К.А. ФЕДИНА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12

КОРНИ

Случаю, с которого пойдет рассказ, суждено было стать поворотным в отношениях отца с сыном.

К декабрю 1907 года отношения эти, и без того натянутые, достигли ожесточения. Однажды Костю недосчитались за обедом, он бесследно исчез из дому. Причин к тому было много, и самых разнообразных.

Какой мечтатель в пятнадцать лет с натурой чувствительной и созерцательной не грезил о жизни, не похожей на заведенный порядок бытия, на тягучую и нудную повседневность? Куда, зачем тянется эта скрипучая, бездарная колымага? Кто не мнил себя лермонтовским демоном? Не искал уединения, не строил тайн, не писал стихов, не надумывал фантастических миров, отводя себе в них самые заманчивые роли?

Кто, в конце концов, истомившись до крайности, не решался в один прекрасный день и на такое — «бросить вызов судьбе»? И в неведомых далях, среди чужих людей, незнаемым способом начать все сызнова.

Отчасти и это происходило в душе пятнадцатилетнего ученика Саратовского коммерческого училища Кости Федина. Декабрьским утром 1907 года он у себя в комнате с последней яростью запихнул ногой подальше под кровать портфель с дневником и учебниками. По пути на вокзал заложил в ломбарде ненавистную скрипку и тайком скрылся из Саратова.

Однако за романтической окраской события скрывались и другие побудительные мотивы. Это была не только погоня за неясной мечтой, за грезой. Но и бунт против принуждения, против отцовской неволи, домашнего устава.

Отец строго соблюдал заведенный порядок, знал ему цену, тем паче что всего достиг собственным горбом, да и видывал времена куда более лихие. «Отец, Александр Ерофеевич, — писал позже о нем К.А. Федин, — был сыном крепостного крестьянина… учился торговле, служил „мальчиком“, затем приказчиком у купцов и впоследствии стал торговцем-писчебумажником. Он был самоучкой, до женитьбы пробовал писать стихи и всю жизнь имел слабость к немудрящей рифме, собирал религиозные книги, любил церковность и в этом смысле жил в полном согласии с матерью, хотя характеры их были резко различны. Быт был строгий, заведенный отцом раз навсегда, как календарь. Во всем ощущалось принуждение».

Этот сторонний пригляд и вяжущую повинность Костя чувствовал, насколько себя помнил. Всегда стерегло опасение,

как еще будут поняты выраженное вслух желание, заявленная склонность или мечта? Чем они еще обернутся? Последствия могли проистекать самые непредвиденные.

Конечно, бывали вещи и покрупнее. Но образцом разлада между собственной волей и отцовским принуждением осталась, пожалуй, история со скрипкой. Может, потому, что тогда Костя был еще малышом и все переживалось больнее. А накликанная кабала оказалась особенно долгой — «тянуть смычок» в итоге пришлось много лет… Да и весь Александр Ерофеевич был в этом. Хотел сыну добра, а что вышло?

Впоследствии Федин близко к действительности описал эту историю в романе «Братья». Психологическое содержание события, происходящего с маленьким Никитой Каревым, то же самое. Будущее ребенка решают, не считаясь с его душевными склонностями, помимо его воли. Нарядная детская мечта обращена в нудную обязанность. То, что могло стать счастьем, становится наказанием, мукой. Эпизод романа вобрал в себя память о душевной ране, полученной в детстве.

…Однажды Никита, которому шел восьмой год, увидел в витрине магазина игрушечную скрипку. Никита не был баловнем семьи, но ему так захотелось эту игрушку, что он даже разревелся. Это была невинная детская прихоть. Но закончилась она событием, перестроившим всю жизнь Никиты на «новый, какой-то безжалостный, жесткий путь». Никого не спрашиваясь и ничем больше не интересуясь, отец купил сыну настоящую скрипку.

«— Ну, Никита, — сказал папаша, — ты тут нудишь — на, вот тебе, получай.

И он положил на стол черный длинный футляр с медными замочками и ручкой.

Все столпились вокруг стола.

Никита — бледный, большеглазый — смотрел затем, как отец отпер замки и приподнял крышку футляра.

Там, в футляре, оклеенном зеленой бумагой с цветочками, лежала скрипка.

Но что это была за скрипка! Большая, темная, блестящая свежей полировкой, с черными колками, с длинным, изогнутым смычком, надетым на какую-то вертушку.

Никита был потрясен. Он не мог выговорить ни слова. Он глядел на скрипку в страшном испуге. Василь Леонтьевич сказал польщенный:

— Не ждал? Видишь, как я тебя…

— Ведь это настоящая, совсем настоящая!

— Ну а как же, — довольно отозвался Василь Леонтьевич. —

Со знающим человеком покупал. Как раз для тебя, твоя мерка.

— Ведь на этой нужно играть!.. Я не умею играть, папа! — опять закричал Никита.

— Научишься! Будешь учиться — научишься.

— Пала, папа! Я не хочу… я не хотел учиться! Я хотел только так… ту желтенькую…

— А про это тебя не спрашивают, — наставительно прервал папаша, — про то, что ты хочешь, знают без тебя.

— Но я совсем не то просил, папа!

— Пошел, дурак! — заключил Василь Леонтьевич.

Как мог Никита объяснить отцу, объяснить всем большим, глупым людям, что он хотел получить ту, желтенькую скрипку, с сучком на верхней дощечке, ту самую скрипку… Ах, да разве можно, разве можно?! Ведь Никита хотел ту скрипку, которая как настоящая, а вовсе не поправдашнюю, не эту ужасную скрипку, на которой надо учиться играть по правде, как большие! Разве можно?!»

В характере Александра Ерофеевича противоречиво сочетались разные черты.

Нрава он был нелегкого, «нависал» над другими и нередко, кажется, давил ближних своим присутствием. Всякую нажитую копейку учитывал. Мог кое-кого и дармоедством попрекнуть, хотя выражался при этом мудрено и кудревато. Склонен был к отвлеченным словопрениям и нотациям со ссылками на Священное писание.

Эти стороны натуры отца, несомненно, послужили писателю материалом при создании фигуры торговца хозяйственными и москательными товарами, содержателя ночлежки Меркурия Авдеевича Мешкова в романах «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Конечно, многие черты в этом крупно и ярко поданном образе — скаредность, моральное ханжество, своего рода добродетельное самодурство и т. п. — до крайней степени заострены художником. Но все-таки и прототип угадывается за ними. Страницы романов напоминают о некоторых действительных эпизодах семейной хроники. Например, о приневольном и несчастливом замужестве сестры Щуры с сыном богатых уральских купцов Рассохиных; о пристрастии Александра Ерофеевича в зрелые годы к так называемым «кеновиям», то есть монашеским общежитиям, где послушать можно было обличительное состязание миссионеров на такие, допустим, хитроумные темы, как отношение раскольников к брадобритию; о собственном, неосуществленном намерении Александра Ерофеевича еще молодых лет — уйти в монастырь, о чем,

вероятно, он не раз как о неисполненной мечте говорил под старость, и т. п.

Неудивительно, что такие переклички и совпадения черт персонажа и прототипа привлекали внимание очевидцев былого. Находясь под обаянием только что прочитанных глав романа «Первые радости», печатавшегося в журнале «Новый мир», Николай Петрович Солонин, муж покойной сестры писателя, самый осведомленный, пожалуй, из живших еще свидетелей событий, 16 сентября 1945 года писал автору романа даже так:

«Я ведь лично все это видел и насмотрелся; все это так живо и натурально. Теперь кажется маловероятным, а ведь это была эпоха, быт. Мешков — это фотография без слов. Как все это воскресило в памяти и как кажется чем-то даже страшным! Мне ведь с Мешковым пришлось прожить самое тяжелое в моей жизни время.[1] Бедная Лиза, особенно в последние дни своей жизни, много передала мне тяжелых моментов, ею пережитых».

Но Мешков, при всех отмеченных сходствах, разумеется, никак не фотография. Александр Ерофеевич Федин по решающим нравственным качествам был личностью гораздо более привлекательной.

Можно ли назвать скрягой человека, который по первой детской прихоти покупает малолетнему сыну скрипку и семь лет (пускай тиранически и подыскав пусть самого доморощенного и доступного учителя музыки, по профессии переплетчика книг) регулярно на это тратится? Да и вообще не жалеет сил, чтобы дать образование обоим детям, чтобы лечить болезненную жену и дочь. Сестра Шура тоже закончила гимназию, знала французский язык.

А когда в 1919 году вдове учителя С.И. Машкова (дяди жены), оставшейся без средств к существованию, грозит богадельня, Александр Ерофеевич, кстати сказать, при жизни покойного резко и постоянно расходившийся с ним во мнениях, поступает единственно приемлемым для себя образом — «по-людски». К тому времени он сам уже давно разорен, бедствует, терпит лишения. Но, несмотря на это, берет к себе в дом Анну Андриановну Машкову и делает ее равноправным членом семьи…

Нет, разным бывал Александр Ерофеевич. И уж никак не было в нем черт хищного и беспощадного ханжи, как в книжном персонаже Мешкове, способном выставить под открытое небо бездомных постояльцев с детьми. Да и никакой ночлежки А.Е. Федин никогда не содержал.

Напротив, в душе этого жесткого, или точнее — ожесточившегося человека, погруженного в повседневные дрязги борьбы за существование, было много другого — возвышенного,

доброго. Только он знал, что окружающая жизнь беспощадна, и считал необходимым держать это доброе взаперти, как складывал до поры до времени в сундук и запирал там сочинявшиеся тайком стихи.

Домашним деспотом, если так можно выразиться, он был скорее по другой причине: из принципов миропонимания и преувеличенного чувства долга. Он считал себя самым разумным, самым сильным, ответчиком за всех своих кровных.

Да и в самом увлечении Александра Ерофеевича церковностью тоже было много высокого, поэтического, далекого от житейской прозы. Даже больше того — прекраснодушного, бескорыстного, мечтательного, как это ни покажется странным в ревнителе пользы и торговой выгоды, в расчетливом практике, каким он был.

Семейные рассказы об А.Е. Федине до забавности поражают именно такой своей неожиданностью, столь нередкой, впрочем, в русском человеке.

«Приказчик саратовского купца Бестужева Александр Ерофеев Федин писал стихи, — сообщает о дяде Геннадий Васильевич Рассохин (сын сестры писателя), — сочинял он их втайне от всех, считая это занятие „баловством“. Написанное прятал, запирал в сундук. Поэтические упражнения бестужевского приказчика остались неизвестными: накануне женитьбы он предал огню все написанное, после чего прекратил заниматься сочинительством… Об этом мне рассказывали бабушка и мать». И далее: «После смерти Александра Ерофеевича моя мать обнаружила в ящике комода необычную книгу — сочинение какого-то ученого богослова „Поучение, како состязатися со раскольниками“. Книгу эту она отдала брату. Листая „научный труд“, Константин Александрович смеялся:

— Какие затраты умственной энергии нужны, чтобы понять хотя бы первую вводную фразу! Ведь она изложена на двадцати страницах… Двадцать страниц печатного текста, начинающегося словом „поелику“, понадобилось, чтобы изложить простую мысль о необходимости иметь пособие по борьбе с расколом. Такая изощренная витиеватость…»

Все это, напомним, никак не исключало, а, может быть, лишь дополняло прочее, условно говоря, «мешковское». Так, подобно горьковскому деду Каширину, Александр Ерофеевич не раз беспощадно порол того же внука Геннадия. Попасться под горячую руку ему было опасно. Раздвоенность у него была в чем-то типовой: одним он был в практических делах, перед лицом жестокой действительности, другим — отойдя душой, помягчев и возмечтав.

Семью Фединых к концу 1907 года уже покинула недавно выданная замуж сестра Шура. Ее отсутствие Костя болезненно переживал вместе с матерью Анной Павловной.

«Моя мать, Анна Павловна, урожденная Алякринская, — писал К.А. Федин, — дочь народного учителя, воспитанная своим дедом — священником в глуши Пензенской губернии, внесла в дом уклад русских духовных семей». И, вспоминая свои метания переломного юношеского возраста, добавлял: «Мать оказалась мне… доброй опорой, чем была всю свою не очень легкую жизнь. Думаю, что только благодаря ее чуткой воле я не сбился с пути».

Анне Павловне, миловидной, круглолицей женщине, к началу описываемых событий шел сорок второй год. Но в Костиных глазах она была едва ли не старушкой, как вечным бородатым долгожителем представлялся ему и прочный рослый крепыш Александр Ерофеевич, бывший на три года ее старше.

Жалостливая, безответная, Анна Павловна стойко несла свой долг перед крутым, деспотичным мужем, но всю любовь своей деликатной и тонкой натуры перенесла на сына. Мать и сын понимали друг друга с полуслова. Причем в чувстве к матери у Кости с годами возобладал легкий оттенок покровительства сильного к менее защищенному, как относятся, быть может, к приниженному существу, готовому отдать последнюю кровинку и умереть за тебя по первому знаку. Огорчить мать, а тем более причинить ей страдание, он боялся больше всего.

Сестра Шура, недавно оставившая дом и переехавшая в Уральск, та была другом. Шестью годами старше, рассудительнее, прозорливей, нередкий Костин поверенный и советчик. Она тоже чувствовала сходство с ним. Была «одного поля ягода». «Такая же юродивая, как мать, прости господи!» — вскипал иной раз Александр Ерофеевич.

Жили Федины в Смурском переулке, на окраине города, которая с документальной точностью описана в романе «Братья». «Переулок назывался Смурским, — читаем там, — и был, правда, буровато-серым, смурым, смурыгим. На углу Староостроженской улицы, посреди проезда, торчала водопроводная будка, к ней с утра до сумерек, погромыхивая ведрами, ползли бабы. Отсюда дорога скатывалась к Нижней улице, потом — к оврагам, которые в городе назывались бараками. Дальше шли горы.

У бараков жили по левому порядку угольщики, по правому — шорники… Угольщики и шорники в обычное время пользовались тротуарами, не задевая прохожих, по субботам парились в бане — на углу Смурского и Цыганской, в праздники отстаивали раннюю обедню у Петра и Павла, грызли каленые подсолнечные и тыквенные семена — люди как люди». Однако же условия

существования теснимых из жизни развитием капитализма ремесленников, становившиеся год от года все более тяжкими и беспросветными, копили в этих людях ожесточение и злость. Недаром за ними закрепились прозвища — «потники» (шорники) и «анафемы» (угольщики). При случае озлобление дико и бурно вырывалось наружу.

К концу 1907 года в жизни Кости появляется еще один человек, кого он тайно причислял к самым для себя близким. Этой особе предназначалось первое Костино любовное послание. Сочинял он его, по собственным воспоминаниям, сидя на подоконнике второго этажа родительского дома в Смурском переулке и заглядывая в лежащий под рукой томик лермонтовского «Героя нашего времени».

Предметом романтических излияний, приведших затем к нежной привязанности и дружбе, была гимназистка Вера Гурьянова, девица двумя годами старше Кости. Сохранившаяся фотография с надписью: «На добрую память Вере Г. от К. Ф.» — помечена, правда, датой несколько более поздней (30.VIII.1908). А два пространных письма тому же адресату присланы уже из Козлова, в 1909 и 1910 годах. Но именно эти дошедшие до нас немногие реликты-свидетельства продолжительного «юношеского романа» говорят о глубине и серьезности чувства с обеих сторон.

Впоследствии Вера была представлена Анне Павловне и не раз скрашивала матери одинокие часы и делила ее тоску по жившему в другом городе Косте, после переезда того в Козлов. Во все подробности нежных юношеских отношений, безусловно, близко была посвящена сестра Шура. Единственным, кого обходили, оставался, надо полагать, Александр Ерофеевич.

Костя, Шура и мать составляли в семье один стан — угнетенный, безгласный, но душевно спаянный, незримо сплоченный. А отец в общих четырех стенах нередко держался особняком, набычившийся, непререкаемый, добытчик и ответчик за них всех.

Вот из какого дома, из-под какой руки бежал Костя Федин. И со стороны пятнадцатилетнего подростка то был поступок. Схватка за право идти своим путем, быть личностью. Так позже оценивал события — «эту трагическую, по его определению, историю бегства из дома родительского» — сам писатель. Она, добавлял Федин, «мне представляется очень важным этапом в моем юношеском изначальном бытии».

Основательный и все более набиравший силу саратовский торговец Александр Ерофеевич Федин, убежденный приверженец принципов домостроя, сам многократно трепанный и битый

жизнью, был человеком умным. Главное, как он считал, — изнанку происходившего, смысл и умысел людских слов и поступков умел различать верно.

Что у сына мутит душу и нет лада с коммерческими науками — об этом Александру Ерофеевичу говорили зачастившие домашние выходки, школьные тройки и четверки по поведению. Что тому не по нутру твердая отцовская рука, не дающая увильнуть с намеченной борозды, тоже было ясно. Однако Александр Ерофеевич не хотел терять единственного сына. А именно к этому шло… Отступаться же от своих планов в отношении сына тем более было не в его правилах.

Так или иначе, но во всем происшествии, после неблагодарного и скандального (если глянуть на события отцовскими глазами) побега из дома Александр Ерофеевич проявил вдруг много терпения и понимания юношеского сердца.

Это и объясняет подробности в чем-то, быть может, даже чуточку комической истории последующего возвращения Константина домой, что называется — водворения «блудного сына» под отчий кров.

Из Саратова Костя поездом приехал в Москву, где и обосновался. Дело происходило в полуподвальчике, служившем мастерской начинающему художнику. Это был давний Костин приятель, саратовец, двумя годами старше, переехавший теперь с родителями в Москву и готовившийся к поступлению в Строгановское училище живописи и ваяния. По словам приятеля, у Кости тоже был редкий живописный талант. Еще в Саратове они вместе делали копии с картин маслом и ходили на этюды. Теперь, очутившись в Москве, Костя тоже наметил на будущее карьеру живописца. Приятель одобрил мечту неожиданно объявившегося Кости и приютил его в своей мастерской.

Пока же Костя исполнял роль натурщика. Обязанности были простые. Натурщик старательно скучал, стоя на высоком березовом чурбаке в позе Наполеона или, вернее, в той позе, в какой, по их общему представлению, должен был бы стоять Бонапарт, окажись он в здешней мрачной комнате.

Одна рука Кости покоилась на груди, заложенная за борт черного форменного кителя ученика Саратовского коммерческого училища («сюртука императора»!), голова была горделиво откинута назад. Стоять так часами было муторно, да и просто трудно. Но он терпел — отрабатывал крышу над головой и харчи.

Будущая живописная знаменитость совсем погрузилась в свои красочные маракования, призванные воспроизвести великого императора в пору его триумфа, как вдруг широко распахнулась дверь. И в клубах морозного пара показалась, словно возникшая

из других миров, страшно знакомая фигура. Волчий треух, лицо с заиндевевшей бородой, рыжий распахнутый полушубок. Отец!!

Они так и замерли, застыли на своих местах — незадачливый Наполеон и Будущая Живописная Знаменитость, которой ведь тоже могло здорово нагореть от собственных родителей, хорошо знавших почтенного Александра Ерофеевича, — за лживые объяснения и покрывательство бежавшего товарища.

Самое замечательное, что почти все дальнейшее происходило в молчании.

Александр Ерофеевич молча подошел к сыну, взял его за опущенную левую руку и свел с постамента. Затем, подождав, когда тот оденется, вывел его на улицу.

Некоторое время они без слов шагали по Большой Кисловке.

— Как мама? — первым спросил Костя.

— Лежит… Чай, не железная! — выговорил отец.

Это было самое большое угрызение, самый сильный укор. Он знал, что его побег тяжело отзовется на матери.

— Куда мы идем? — тем не менее собравшись и внутренне изготовившись, спросил Костя.

— Мы идем… мы направляемся… — глядя перед собой, повторил отец. — Ну, хошь в баню…

Это звучало двусмысленно, истолковать можно было и так и атак. Но оказалось сущей правдой.

Они пришли в банные номера первого разряда. И, перебираясь из мыльной в парилку и обратно, долго и с азартом плескались водой из шаек, терли друг другу спины, поддавали в раскаленное нутро каменки хлебным квасом из ковшика, хлестались на полке пахучими березовыми вениками, окатывались ледяной водой и начинали сызнова по кругу. Все это, впрочем, тоже без объяснений, почти без слов.

На улицу вышли оба розовые, легкие, обновленные. Баня, словно бы напомнив о физическом родстве, смыла взаимное озлобление. Все-таки они были одна плоть, самые близкие — отец и сын.

— И как ты? — уже на улице оглядел Костю Александр Ерофеевич. — Посветлело? Будто заново на свет родились, а? — Он слегка подтолкнул сына в бок. — Сказано: баня — вторая мать…

— Ну а теперь куда? — уже доверчивей спросил Костя.

— Давай поглядим, — предложил отец. — Скрипку-то куда подевал? — поинтересовался он.

— В ломбард заложил, — криво усмехнулся Костя.

— Та-ак!.. Значит, на живопись перекинулся? Тогда навестим, знаешь, что? Третьяковскую галерею. Братья Третьяковы, купцы,

слышал? А вот тоже справили что-то на общую пользу. Давно собирался посмотреть. А теперь, раз сподобился, пойдем!

Они оказались в краснокирпичной с треугольной крышей Третьяковской галерее. И долго бродили в залах по паркетным полам, рассматривая развешанные на стенах картины. Охрабревший Костя принялся даже давать пояснения. А отец только сопел, косился на сына и кивал смущенно. Выглядел он просветленным, как случалось иногда после посещения божьего храма.

Уже в поезде, по дороге на Саратов, когда они сидели друг против друга на скамейках, а за окном в снегах бежал новый наступивший день, отец спросил:

— А учиться дальше намерен?

— Нет! — твердо сказал Костя.

— Ладно!.. Тогда постой за прилавком. — И, помедлив, добавил: — Положу тебе оклад. Для начала — четыре рубля в месяц. Желаешь — табак кури, хочешь — книги скупай…

Костя напрягся, густо покраснел. Отец явно и на глазах ломал себя: он духа табачного не выносил. Бывало, до обнюхивания рта, до рукоприкладства доходило, чтобы отучить от папирос. А теперь вот смирился, дозволял открыто.

— Поработаешь — осмотришься… — продолжал Александр Ерофеевич. — Трудиться — это, брат, не «марсельезы» распевать… — вдруг съязвил он.

«Марсельезы» — была известная отцовская подковырка с намеком на Костино поведение двухлетней давности. (На свой мальчишеский лад Костя откликнулся тогда на революционные события поры 1905 года.)

— При чем тут «марсельезы»?! — огрызнулся Костя.

— Поработаешь — осмотришься, — повторил Александр Ерофеевич. — А там, даст бог, решим. Запомни только, сын, хлеб достается человеку в поте лица. И от себя никуда не убежишь…

Это было почти все, что он сказал.

Лавка писчебумажных товаров Федина располагалась в почетном месте, на одной из главных улиц Саратова, в Архиерейском корпусе. «Архиерейским» — длинный ряд лепящихся друг к другу больших и маленьких магазинов, лавок и лавчонок, протянувшихся на целый квартал, — назывался потому, что долгое это беленое кирпичное здание, где первый этаж был отдан торговым заведениям, принадлежало саратовскому архиерею.

Высокий духовный сановник сам, разумеется, торговлей не занимался. Но весь квартал первоэтажных помещений сдавал в аренду для поощрения и развития городской торговли. Так

сложился провинциальный «Гостиный двор», одну из «келий» в котором и занимала писчебумажная лавочка Александра Федина.

Это была и в самом деле продолговатая келья, воткнутая перпендикулярно улице. Прислонившись к полкам посередке ее, за отполированным до древесных жил прилавком, куда напоследок подходил покупатель, чтобы выложить пятаки, двугривенные и принять упакованный сверток, через край застекленной витрины можно было видеть уличное движение… Рессоры и черную кожу экипажей, прохожих, мелькнувшую знакомую фигуру, одну, другую, немые, жесты и беззвучно шевелящиеся рты — мальчишек, мужчин, женщин, гимназисток.

Там были воля, простор, влекущие и таинственные, как девичье лицо, краски мира, озорная игра жизненных сил, собственные желания и поступки. А тут кротовья нора, сумрачное над собой принуждение, стойкое, как смешанный запах клеенчатых тетрадей и гуммиарабика.

Особенно мучительно и стыдно было, когда в лавку гурьбой заваливались бывшие однокашники. Он чувствовал себя тогда, как после публичной порки. В самом деле, хорош лермонтовский Демон, в розницу торгующий бумагой и клякспапирами! А еще всякой мелочью: карандашами, перышками, вставочками, резинками, клеем. Обратившийся в угодливого приказчика: «Извольте-с… Пожа-луйте-с!»

«Терпи, Костик! — успокаивала гостившая наездами Шура. — Так надо…»

Но терпеть становилось все невыносимей. Одним словом, выдержав месяцев шесть, летом 1908 года Костя сбежал снова. На этот раз отправился вдвоем с товарищем на лодке вниз по Волге. Но предприятия не довел до конца и скоро вернулся.

У Федина есть детский рассказ «Сазаны», написанный, по всей видимости, в канун войны, в 1941 году. В нем много автобиографического, хотя возраст героев значительно убавлен: им по десять лет… Они тоже, правда невольно, бегут из дома. Чтобы потаскать удочкой из волжских вод сказочно красивых сазанов. Главная завлекательность и приманка для них — красота этой рыбы, хотя она никогда еще не попадалась на крючок жалких приготовишек от ужения, ловцов баклешек, плотвичек и заморенной чехони. Сазан для них рыба-мечта, почти легенда. «Ты бронзу видел? — заманивает фантазер Колька. — Ну, такую темно-золотистую? Вот у него такие бока. А спинка черная, а животик белый. Башка толстенная, тупая, и ротик ма-аленький-маленький, и он им все время чавкает. Так вот: чавк, чавк. Живучий!»

Удрав из дома, они после долгих странствий наконец

зачаливают в дальний затон, где, по Колькиным уверениям, должен хорошо брать сазан. И клев в этом месте в самом деле бойкий — поспевай дергать удочку. Но только берет все та же надоевшая, запропащая чехонь. Никчемная, мелкорослая, чахоточная рыбешка. И ни одного сазана! Грустная усмешка, неприметно разлитая в рассказе, все та же, которую когда-то четко сформулировал отец: от себя не убежишь…

Вероятно, что-то подобное понял и Костя. Эту необходимость считаться с реальными обстоятельствами жизни.

Вскоре он сказал отцу, делая над собой усилие:

— Теперь пойду в коммерческое… Только не здесь, чтобы мальчишки не смеялись. В другом городе, ладно?

Видеть в сыне будущего восприемника своих трудов составляло для Александра Ерофеевича дальний их и заветный смысл. Ради этого он готов был на многое. Снова посадил на замок гордыню, пренебрег возможными пересудами в своем торговом кругу, что, дескать, идет на поводу отпрыска, вертящего им, как пожелает, — съездил в неблизкий городок Тамбовской губернии Козлов, осмотрел тамошнее коммерческое училище и договорился об устройстве сына. Несмотря на известную свою бережливость, даже тем поступился, что куда накладней жить на два дома.

С осени 1908 года Костя начал отдельное от семьи житье.

Необычным было уже само Козловское училище, так сильно отличавшееся от саратовской торговой бурсы. Внешней обстановкой в классах, обликом преподавателей, вольностью заведенных порядков оно мало походило на Саратовское училище. Оно содержало в себе нечто, можно сказать, даже почти университетское.

Вот в каких словах полвека спустя описывал сам Федин первое свое водворение в Козловское коммерческое училище, куда он прибыл в сопровождении матери.

«…Она привела меня к директору, и А.И. Анкирский, оглядев меня с головы до ног, сказал:

— Ну, пойдем.

И он повел меня вниз, в лабораторию. Я был изумлен тем, что ученики сидели не на партах, а за длинными столами, поднимавшимися кверху наподобие амфитеатра. Это был не школьный класс. Это была *аудитория.*

— Вот вам новый ученик, — сказал директор, поздоровавшись с Будицким (преподавателем физики и химии. — *Ю.О.),* вышедшим ему навстречу из-за учительского стола, заставленного физическими приборами.

— А вам, — сказал директор неподвижно стоявшим

ученикам, — ваш новый товарищ.

И он слегка подтолкнул меня в плечо:

— Ступай садись. Желаю тебе успеха…»

Три года, проведенные в Козлове (1908–1911), по собственному признанию Федина, обозначили новую страницу в его биографии, связанную с началом литературной работы.

…Когда и с какой целью начинает человек вглядываться в свою родословную, задумываться, что за люди произвели его на свет, кем были его ближайшие и дальние предки? Да и вообще — во всех ли случаях так ли уж важно и нужно собирать по крупицам и копить память о тех своих предшественниках по кровному родству, кто совершил этот земной путь ранее тебя?

Добро бы речь шла о личностях крупных, значительных, отличившихся на каком-то общественном поприще и заслуживших благодарную память истории. А если это люди обычные, неприметные, как все, ничем себя сверхизрядным не проявившие? В чем польза тогда особых раскопок прошлого, в чем смысл пытливых стараний воссоздать такое родословное древо?

Федин сформулировал однажды ответ на эти вопросы. Наивозможно полная осведомленность о жизни родителей, дедов и прадедов имела в его глазах глубокий смысл. Настолько, что он, со своей стороны, решил даже оставить «письмо в будущее».

Было это в 1932 году, когда писатель тяжело болел туберкулезом и временами казалось, что срок жизни уже измерен. Находясь на чужбине, вдали от дома, Федин приступил к записям, озаглавленным «Посвящение», адресуя их впрок дочери, которой было десять лет. Он заботился, чтобы семейная память не исчезла безвозвратно, а перешла к следующим поколениям.

«В прошлом — необыкновенная сила власти, — писал Федин, — и настоящее понимаешь только тогда, когда знаешь прошлое. Если хочешь разгадать происхождение своих наклонностей, вкусов, пристрастий — подумай над своим детством. Детство твоего отца иной раз объяснит тебе какую-нибудь особенность твоего характера, которую ты безуспешно стараешься изжить. Тут дело не только в прямой биологической наследственности. Предубеждения, суеверия, почти вся совокупность представлений о должном — „мораль“, тот сироп, в котором варилась психика твоего деда, твоей бабки, — вот что придало особые личные черты облику твоего отца, он же — сам того не ведая, а только попросту „живя“, устраивая, расстраивая и налаживая свою жизнь, — создал обстановку твоего детства и наградил тебя всем плохим и, может быть, хорошим, что у тебя

есть.

Конечно, не в одном прошлом семьи надо искать объяснение настоящего. Но я допускаю, государыня моя, что ты уже взрослая, а я — старик, и мне уже поздно тебя учить, ты сама превосходно разберешься: что к чему. Поэтому я должен просто рассказать, как я представляю себе прошлое — свое и своей семьи, и что я о нем знаю… А ты слушай».

Подробные сведения о своей родословной Федин начал собирать уже в начале литературного пути. Одно из первых архивных свидетельств о предпринятых разысканиях относится к 3 марта 1920 года (ответное письмо А.Е. Федина на запрос сына). В дальнейшем новые вспышки такого интереса не иссякают и прослеживаются так или иначе даже в старости.

Показателен такой эпизод. В начале 60-х годов пензенские литературные краеведы обнаружили новые факты и сведения о родословных коленах писателя со стороны матери и отца (оба они были по происхождению пензяками). Попутно нашлась, как рассказывают, даже чуть ли не целая деревня однофамильцев — Фединых. (В крепостную пору, когда недорого стоила тягловая крестьянская душа, не заведено было заботиться и о большом разнообразии фамилий… Федины — так все Федины. Из них, не исключено, и вышли когда-то исчезающие в дали времен предки писателя по отцовской линии…)

При всей занятости Федин проявил тогда большой интерес к краеведческим раскопкам. На протяжении 1962–1964 годов он многократно обменивался письмами с их участниками. «… Никогда до сих пор не доводилось мне столько говорить о своей родословной. А ведь она, не правда ли, по-своему даже очень не дурна: много учителей, семинаристов, священник да крепостные мужики (по отцу) — чем худо?» — шутливо восклицал писатель.

Одной из последних прижизненных публикаций Федина оказалась статья «О ненаписанных воспоминаниях» («Волга», 1977, № 2). Он подготовил ее по просьбе редакции журнала для номера, в котором саратовцы отметили 85-летие со дня рождения своего земляка. И тема статьи во многом та же — старый Саратов, детство, отрочество, отец, мать, сестра, бегство подростка из родительского дома, быт и городские пейзажи губернского центра, которые писатель сопоставляет с приметами его нынешней волжской нови, вроде трехкилометрового моста, перекинувшегося через рукотворное море возле Саратова.

Не династическое тщеславие побуждало Федина при любом удобном случае в разные поры жизни затевать дальние и ближние биографические раскопки по обеим линиям — отцовской и материнской. Конечно, в той охоте, с какой он обследовал свои

«корни», находя много поучительного в течении жизни вроде бы самой распространенной и обыденной, в судьбах ничем особо не выдающихся, нельзя не заметить, и некоторые свойства Федина-художника. Он был писателем историческим по самому духу своей прозы и мастером бытописания по ее складу. Однако же, если при родословных разысканиях не обходилось подчас без сугубо профессионального интереса художника, то ведущим и главным у Федина всегда оставался широкий человеческий интерес. Ему хотелось точнее обозначить собственное место на стыке прошлого и настоящего, определить отношение к предшествующим поколениям, ко всему прожитому. Свою продолжающуюся биографию, судьбы родителей и предков Федин рассматривал как частицу в общем потоке жизни, смены и превращения времен. Оттуда можно было извлечь жизненные уроки, иной раз, пожалуй, более поучительные, чем те, которые познаются на чужом опыте или вычитываются из книг.

В личном архиве Федина хранится объемистая папка биографических материалов, куда писатель аккуратно складывал документы, занесенные на бумагу наброски воспоминаний, рукописные черновики, стенограммы выступлений, подходящие к теме. Там он держал и сохранившиеся письма покойных родителей, свое «Посвящение» дочери и т. п.

Первое место в папке занимает уже упоминавшееся письмо А.Е. Федина сыну от 3 марта 1920 года. Письмо начинается словами; «Дорогой Костя! Я очень рад твоему здоровью и более того, что ты обратился ко мне с просьбой о присылке тебе сведений, характеризующих жизнь моих отца и матери, а твоих дедов. Начну описание с того времени, когда я стал помнить самого себя…» И далее следует безыскусная многостраничная исповедь Александра Федина.

Крепостной отец его прослужил около двадцати лет в солдатах, вернулся в чине нижнего унтер-офицера, с разбитым здоровьем и года через два умер. («За это время он бывал на побывке неск. раз. Имел Серебр. Медаль, которую мать впоследств. продала копеек за 50».)

Мать, родившая пятерых детей, из которых выжило и осталось два сына, бедствовала, тем более что в довершение зол была увечная: в детстве «по ней переехала лошадь с пустою телегою через поясницу, отчего она была хрома на обе ноги и не имела роста (была низкого роста). Тогда как вся ее родня имела рост средний, а братья высокий».

Жизненный водоворот крутил и вертел мальчишку, бросая из стороны в сторону, как щепу, пока судьба не смилостивилась над шестнадцатилетним Александром и ему не удалось прибиться к

крупнейшему в Саратове писчебумажному магазину старообрядца-купца — Петра Григорьевича Бестужева «на цену 5 р. в месяц». (Напомним, кстати, что возвращенному из бегов сыну, новому магазинному мальчику — примерно того же возраста, за сходную работу, но как менее опытному. Александр Ерофеевич с присущей ему дотошностью исчислил «цену» — 4 рубля в месяц!)

В Бестужевском писчебумажном магазине Александр Ерофеевич прослужил в приказчиках «безсходно 21 год, т. е. до 1900 г.», пока, скопив средств, не открыл собственное небольшое дело, сначала на паях с компаньоном Покровским, а затем еще девять лет отдельно, каковое и «ликвидировал в июне месяце 1917 г. с полной охотой, не желая спекулировать» (то есть из-за военной разрухи добывать бумагу без каких-либо махинаций для мелких торговцев, как он, стало к тому времени делом гиблым и разорительным).

Вот, пожалуй, и вся жизнь, если не касаться событий самых последних революционных лет, которые проходили уже на глазах сына.

Конечно, каждый человек, сравнительно долго поживший на белом свете, имеет отношение и к тому, что называют Историей с большой буквы. Он обязательно в чем-то участвовал, кого-то видел, с кем-то встречался из знаменитых личностей. Было нечто подобное и у Александра Ерофеевича. Ему довелось встречаться со ссыльным Николаем Гавриловичем Чернышевским. Но как?

Запись об этом сделана Александром Ерофеевичем на отдельных листках, возможно, потому, что представляет собой добавление на особый запрос сына, который и раньше слышал об этих встречах, а скорее всего ввиду уважения к предмету повествования, о чем свидетельствует и заголовок, его снабжающий, — «О Чернышевском Н.Г.».

Рассказ подробный, и выписка не будет короткой.

«…При встрече в первый раз, по приезде его из Астрахани, куда он был после 20-летней ссылки в Вилюйск в Сибири выслан… — безыскусно повествует Александр Ерофеевич, — был покупателем на почтовую бумагу в магазине Бестужева, где я служил… Произошло так: впервые он покупал бумагу в магазине Болдырева, известный сорт, и когда она у них вся вышла, то он зашел к нам, и пришлось как раз принять его мне. Он спросил меня, есть ли бумага почтовая, бол. формат, гладкая без линий, № 22. У нас было несколько фабрик… пришлось спросить его, какой он желает, то он назвал… ее качество, а именно Экстра (такая была), и притом же спросил: а будет ли одинакова № 22 и № 20?

На это я сказал ему, что нет, тогда он вошел со мною в разговор и указал на неправильное отношение по продаже на магазин Болдырева, где его заверили, лишь бы только продать, что бумага № 20 и № 22 одно и тоже, и в выражении его было заметно нервное состояние. Когда я ответил на его вопрос о качестве утвердительно, что эти два сорта бумаги очень различны, с пояснением почему именно, то он остался объяснением очень доволен и все время до своей кончины, которая последовала в 1889 году на 64-м г. жизни, был покупателем на эту бумагу, которую он употреблял для переписки „Всеобщей истории“ Вебера (переводом с немецкого этого научного труда был занят тогда Н.Г. Чернышевский. — *Ю.О.),* но закончить не успел и был обложен книгами, лежа на смерт. одре (с фотографии). Жил он в Саратове более года до своей кончины… Его приятелем был мой хороший знакомый, владелец книжного магазина Флегонт Васильевич Духовников… и характеризовал его как славного, доброго и идеального человека. Теперь в его доме на углу Гимназической и Большой Сергиевск. ул. открыт Музей его имени… Вот все, что я мог сообщить, разве еще можно добавить, что во время переписки Истории (однажды А.Е. Федин относил купленную Н.Г. Чернышевским бумагу тому на дом. — *Ю.О.)* он в кабинет никого не впускал, перепиской занималась у него племянница, а он прохаживался в халате, имея на руках кота, которого очень любил…»

Такими глазами видел иные исторические факты бестужевский приказчик Александр Ерофеевич Федин.

Еще менее богата внешними событиями житейская биография матери писателя — Анны Павловны. Она рано осиротела. Детство провела в доме деда-священника, а затем попала на воспитание в семью дяди — учителя Машкова.

Супружеская чета Машковых, своих детей не имевшая, многое значила для подрастающего Кости. «В 1899 году, — вспоминает писатель, — я пошел в начальное училище, где одним из учителей был дядя моей матери, Семен Иванович Машков, у которого она провела девичьи годы перед замужеством. Дом Машкова был очень близок нашей семье, но отличался от нее прежде всего тем, что стоял гораздо выше по культуре. Здесь велись самые горячие разговоры взрослых, какие мне доводилось тогда слышать, читались газеты, чего я в ту пору совсем не видел дома, собирались учителя, студенты (студентов тоже не бывало у нас), и почти всегда мой отец исступленно спорил при таких встречах, ссорился и уходил домой. Жизнь Машкова представлялась мне очень стройной, ясной, внушала что-то

поэтичное, и это чувство укреплялось моей матерью, относившейся к своему дяде с обожанием».

Все остальное, что можно сказать об Анне Павловне, — в восемнадцать лет венчание с А.Е. Фединым, рождение дочери Александры в 1886 году, сына Константина в 1892 году, между ними — еще двух дочерей, которые умерли малолетними. Стойкая и неутомимая борьба с повседневными неурядицами, домашнее хозяйство, воспитание детей, их радости и несчастья, собственные хвори и так далее, вплоть до сравнительно ранней смерти в возрасте пятидесяти трех лет…

Такой была домашняя обстановка, окружавшая Костю в Саратове. С каким же внутренним «багажом» покидал юноша Федин родительский кров?

Несомненна противоречивость и двойственность духовно-нравственных влияний, испытанных им в семье и, безусловно, отразившихся на его психологическом складе, а впоследствии, может быть, даже и в творчестве. Два начала — «отцовское» и «материнское».

Отец учил сына жить, сообразуясь с рассудком, повинуясь его голосу, то, что он называл — по «справедливому принципу». Мать учила жить сердцем.

«Детство моего отца и детство моей матери — два совершенно различных, противоположных и противоречивых начала, — писал Федин, — по всей жизненной окраске, по тону и музыке быта. Противоположности вырастили разных людей. Разные люди сошлись да так и прожили вместе — в разноречии — всю свою жизнь».

Добрая, безответная, кроткая, невольно размягчающая, растравливающая нерв жалости — мать. И жизненно напористый, жесткий, пунктуальный, привыкший быть всему досмотрщиком и главой — отец.

Когда у Анны Павловны выпадала возможность взять в руки книгу, то обычно это был томик Лескова. Люди редкого бескорыстия, праведники, истинные богатыри и поэты духа из народной среды, которых чудодейственно рождала российская действительность, были ее любимыми героями, предметами ее увлечений — «очарованные странники», «левши», «запечатленные ангелы».

Конечно, никак нельзя сводить происхождение каких-либо мотивов в последующих книгах Федина к одним только детским и отроческим восприятиям. И все же, когда в 20-е годы мы будем читать выстраданные и повторяющиеся самопризнания писателя о присущем его художническим чувствованиям «нерве жалости», о его отзывчивости на «кляч» в противовес красивым и сильным

«рысакам», то нелишне вспомнить о далеких первоистоках. И когда среди множества персонажей полотен Федина будут попадаться вдруг варьирующиеся и тем не менее родственные фигуры почти святых подвижников культуры (типа «окопного профессора» из романа «Города и годы», ученого Арсения Арсеньевича Баха из романа «Братья» или книжника Драгомилова из романа «Необыкновенное лето»), которых заурядное окружение — как это случалось с иными героями Лескова и Достоевского — охотней всего зачисляло бы в разряд «юродивых» и «идиотов», то и тут нелишне поразмыслить, откуда это началось…

Одним словом, нельзя упускать из виду ту сильную и всепокоряющую струю нравственного, психологического и духовного воздействия, которую открыли некогда чувствительному мальчику его мать и старшая сестра. У них Федин впервые учился поискам праведничества, необходимости сострадания и милосердия в жизни…

Неизгладимый след в душе мальчика оставили Саратов, Волга. Город был крупным губернским центром.

В 1891 году губернское земство издало книгу местного историка С. Краснодубровского, содержащую многие статистические данные. «…В Саратове было 120 тысяч жителей, — ссылаясь на эту книгу, пишет литературовед П. Бугаенко. — Глебучев овраг, Монастырская слобода, вокзал и открытая в 1870 году железная дорога (соединявшая с центральными губерниями России. — *Ю.О.),* кожевенный завод ограничивали многоугольник, на котором располагался город.

Все тянулось к Волге, она была и поилицей и кормилицей… По ней ходили пассажирские пароходы, плыли дощаники, плоты, лодки, у набережной стояли „конторки“ пароходных обществ „Самолет“, „Кавказ и Меркурий“, „Русь“. Сама набережная была пыльной, грязной, у пристаней завалена всякими товарами. Вдоль нее шла „Миллионная улица“ с жалкими домишками бедноты, прозванная так словно в насмешку…

Среди волжских городов того времени Саратов имел славу благоустроенного и культурного города… Около 60 километров мощеных улиц, свыше 1,5 тысячи уличных фонарей, водоразборные колонки, двух- и трехэтажные дома помещиков и купцов… В городе уже было 69 школ, в которых обучалось свыше 7 тысяч учащихся…

Славой и украшением города был основанный в 1885 году внуком А. Н. Радищева А. П. Боголюбовым художественный музей имени Радищева. В городском театре играли местные актеры, выступали именитые гастролеры». С. Краснодубровский в 1891

году не упускал случая с гордостью подчеркнуть: «В России есть только три города, которые по быстроте своего развития превосходят Саратов, — это Петербург, Одесса и Харьков. Саратову принадлежит четвертое место».

Каменно-кирпичный в центре и деревянный в обширной округе, протянувшийся вдоль Волги и как бы спиной прижавшийся к пологой горе (отсюда, говорят, происходит и первоначальное татарское название — Саратау — Желтая гора), Саратов на рубеже двух столетий мог казаться неискушенному мальчишескому восприятию то дремлющим в пыльном полуденном зное, то невесть от чего впадающим в возбуждение и буйства.

Пестрыми и яркими переливами красок отражался и входил в чуткую душу подростка этот город. Обитель достославных «мучных королей» и фабрикантов ходовой «сарпинки» (бумажная ткань дешевле и проще ситца), краснощеких немецких колонистов, купцов-миллионщиков и катающихся в пролетках на городском Житье помещиков, зубных врачей и присяжных поверенных, наводняющих улицы в житейской суете обывателей, шустрых знакомых приказчиков и служащих пароходных компаний, в галстучках, праздно шатающейся хмельной и рваной волжской голытьбы — «галахов», неприветливых обитателей ремесленных окраин, соседей по Смурскому переулку — «потников» (шорников), «анафем» (угольщиков) и гурьбой спешащих по делам железнодорожных мастеровых и рабочих, монахов, дворников, жандармов — несть всему числа… В сравнении с этим бурлящим городским варевом так мал был все же круг просвещенной, мыслящей интеллигенции, собиравшейся и споривший в доме Машковых…

Для мальчишки жизнь всегда полна тайн и открытий.

Взять хотя бы каменный двухэтажный дом Сретенского начального училища, где в нижнем этаже квартировал учитель С.И. Машков, а весь верхний был отдан под классы, которые посещал Костя. Дом этот, постройки XVIII века, имел необъятный, разгороженный перекрытиями и балками чердак и несколько подземных подвалов, куда мальчишки иногда с опаской спускались. В сумрачных подземельях, где свет едва брезжил сквозь скошенные, похожие на бойницы, стенные щели, стыла сырая тишина. Время обрывалось. В углах подвалов таились призраки прошлого. Вспоминались слышанные легенды, рассказы. Тут словно бы витали духи истории.

Здание находилось у бывших Царицынских ворот. И крепостной прочностью белокаменных стен, и слегка настороженным, мрачноватым видом отвечало своему

первоначальному назначению. Это была застава для охраны южного въезда в город. В прежние времена, как установили краеведы, «в доме и его большом дворе был устроен острог, в котором отбывали наказание преступники. В нем были под арестом и представители волжской низовой вольницы… и пугачевцы».

В темных подвалах дома еще сохранялись ввинченные в стены заржавленные кольца и крюки для кандалов и орудий пыток. Предполагают, что «здесь содержался „секретный арестант“ — донской казак Ханин, который через несколько лет после казни Пугачева объявил себя императором Петром Третьим, готовил восстание, но был арестован, перенес в Саратове в 1780 году жесточайшие пытки и был подвергнут клеймлению…»[2]

Саратов был городом бунтарских преданий и вольнолюбивых заветов.

Незримая духовная связь передается от отца к сыну даже в малом. Мы помним случайные общения Александра Ерофеевича с опальным Н.Г. Чернышевским, довольно мимоходные и на сугубо житейской почве. Но не будь их, возможно, и встреча будущего писателя с этим великим именем не была бы с самого начала окрашена тем глубоко западающим личным чувством, как это получилось.

«Когда я, маленький, в конце 90-х — начале 900-х годов бывал с родителями на Воскресенском кладбище, — рассказывает Федин, — отец и мать подводили меня к могиле Чернышевского. Сквозь стекла маленькой часовни мы рассматривали венки, отец прочитывал надписи на лентах… Часовня со стеклышками была надгробием особенного значения, особенной могилой особенного человека. Я, конечно, не понимал, что это был за человек, но, наверное, именно тут впервые услышал слово — Чернышевский — и отсюда запомнил его навечно».

В мире большого волжского города для Кости многое случалось неожиданно, разражалось внезапно. Текла вроде бы размеренная, привычная, как тиканье домашних ходиков, жизнь и… вдруг…

«На лодке катал меня реалист Балмашов», — вспоминает Федин. И вдруг… Этот тихий улыбчивый парень, который насаживал к себе в просмоленный челнок всякую мальчишескую мелюзгу, дозволял малышам грести парами, «в четыре руки», а другим выплескивать консервной банкой воду с лодочного дна за борт, оказался… «ужасным террористом», убившим в 1902 году министра внутренних дел Сипягина. («В Саратове, на Ильинской улице, в страхе и дрожи смотрел, как несли черный флаг с

большими буквами: „Смерть Сипягина — казнь Балмашова!“ По ночам снились эти буквы и еще: как катает меня на лодке реалист Балмашов и добро улыбается».)

События русской революции 1905 года произвели на Костю Федина сильное впечатление. Несмотря на то, что он далеко отстоял от революционной борьбы и не мог еще понимать, что именно происходило в общественной жизни родного Саратова и всей России, он был охвачен неясными вольнолюбивыми порывами.

Ведущей силой революционных выступлений в Саратове были рабочие-металлисты, большинство которых трудилось в железнодорожных мастерских. Здесь начинались политические стачки, организовывались антиправительственные митинги и демонстрации, печатались листовки, формировались и проходили обучение боевые дружины. Пример рабочих-«железняков» очень многое значил для общей атмосферы революционных событий в Саратове. Как свидетельствует один из исторических источников, в 1905 году, а затем и в сражениях гражданской войны именно они «явились основным и наиболее боевым отрядом саратовских рабочих. Саратовский Совет и парторганизация в первую очередь опирались на железнодорожников… Железняки — это часовой и смелый боец красного Саратова».

Одним из главных действующих лиц в своей трилогии Федин сделал впоследствии большевика Петра Рагозина, рабочего-металлиста, слесаря железнодорожного депо. В таком выборе сказалась среди прочего память о роли железнодорожных рабочих в революционных событиях в родном городе. «С детских лет, с 1904 года, — пояснял Федин, — мы, мальчики, знали, что на переднем крае были железнодорожники. Они славились революционностью. Когда вспоминал, твердо стоял на убеждении, что надо взять рабочего из железнодорожного депо.

Они участвовали в боевых дружинах. Их действия против погромщиков были известны. В соседнем дворе жил рабочий-металлист революционных взглядов. Мы об этом знали».

В крупном культурном центре, каким был Саратов, революционную борьбу пролетариата активно поддерживала учащаяся молодежь. Причем особой революционной сознательностью отличалась та ее часть, которая ближе стояла к рабочему классу. Выделялась, например, социал-демократическая организация, действовавшая в стенах среднего технического училища. Три ее юных руководителя впоследствии были осуждены к заключению в крепости. «Техников» Федин подростком знал лично, и, конечно, нельзя считать случайностью тот факт, что другой герой трилогии, большевик Кирилл Извеков,

начинает свой путь в революцию, будучи учеником технического училища. «Из учащейся молодежи больше всего нам импонировали „техники“, — писал о том времени Федин. — Они были старше по возрасту и более передовыми. У них была социал-демократическая организация. Я знал, что оттуда выходили революционеры».

Обобщая чувства и переживания, связанные с революцией 1905 года, Федин в ряде автобиографических материалов вспоминал: «Открывался впервые волнующий реальный мир над пределами наших ребяческих фантазий, над уроками и учебниками… Мир этот был связан для меня с ранними впечатлениями уличных событий… Осенью 1905 года мне еще не исполнилось четырнадцати лет, но я был охвачен общим возбуждением; вместе со всем классом участвовал в ученической „забастовке“; ходил с товарищами в 1-ю гимназию (где с лишним полвека назад преподавал Чернышевский) — „снимать“ с занятий гимназистов; убегал дворами от оцепивших гимназию казаков… Отец смотрел на мое поведение как на опасное озорство и внушительно призвал меня к послушанию. Однако в это время у меня появился первый шанс к самообороне от отцовских назиданий: он сам не переставал возмущаться погромами, черносотенством. Когда в доме губернатора Столыпина был убит жестокий „усмиритель“ саратовских крестьян генерал Сахаров, отец обошел событие суровым молчанием — „устои“, в которых держал он семью, не позволяли ему одобрить террористический акт, но казней и бесчеловечности усмирения крестьян он тоже не мог простить».

В меру сил и понимания восприимчивый подросток совершал и самостоятельные поступки. Во время черносотенного погрома, рассказывает Федин, «своего учителя-скрипача (Гольдмана) в кухне под лестницу спрятал и луком прикрыл — никогда не забуду». Вопреки запретам отца бегал на вокзал, «провожая перводумцев, трудовикам в ладоши хлопал и марсельезу пел. От жандармов спасся бегством».

Трагический оборот приняли события на обывательской окраине, где жили Федины. Окраина на какой-то момент очутилась во власти разбушевавшейся верноподданнической толпы, обуянной темными страстями. Жандармское ведомство сознательно провоцировало погромщиков. Из окна того самого дома в Смурском переулке, на подоконнике которого сочинялось позже любовное письмецо, наблюдал Костя катящуюся вдоль улицы озверевшую толпу с дубьем, кистенями и разжигами, намоченными в керосине, и покорно выстроившихся возле домов с поднятыми иконами в руках обывателей.

Глубоко запали в душу будущего писателя и люди иного склада. Старуха, отважно пришедшая на помощь избитому до полусмерти поляку. Тот же слесарь сосед Петр Петрович, отталкивающий голосящую жену и присоединяющийся к рабочим-дружинникам. Сама редкая цепочка рабочих-дружинников, семь-восемь человек, с револьверами в руках… Эти смельчаки встали против намного превосходящих сил.

Особенно поразило подростка «…сопротивление организованной рабочей бригады, небольшого рабочего коллектива. Все это, — вспоминает Федин, — я видел изумленными глазами мальчика, пораженного испугом. События были жестокие. Но все же вместе с этим впечатлением тяжести была какая-то музыка чувства, музыка надежд, неясная, непонятная, но очень влекущая к себе».

Значение увиденного и пережитого в годы первой русской революции трудно переоценить.

…За свою почти шестидесятилетнюю работу в литературе Федин подготовил не одну автобиографию. И в каждой из них писатель подчеркивает особую роль в своей судьбе начального периода жизненного и духовного формирования, прошедшего в Саратове. Снова и снова проводит Федин мысль о значении «корней», об «истоках», о детстве…

Уже в «Автобиографии», помещенной в сборнике «Наровчатовская хроника», выпущенном харьковским издательством «Пролетарий» в 1926 году, эта мысль заявлена со всей четкостью. Изложив события саратовского периода жизни, Федин пишет: «…только теперь, издалека, начинаю различать сетку влиянии, впитанных мною в детстве. Детство же — возраст, в котором закладывается *все».*

Эта мысль звучит и в последней «Автобиографии» 1959 года, сжатая уже почти в крылатую формулу: «Все мое детство… и ранняя юность… — отмечает Федин, — протекали в Саратове, который у нас в семье влюбленно называли „столицей Поволжья“. Сейчас я как будто ярче прежнего вспоминаю свою родительскую семью… Отсюда пошли мои первые представления о русской земле — как о Мире, о русском народе как о Человеке. Здесь складывались начальные понятия о прекрасном…»

Так-то оно было, все так… Но напомним, однако, что в родительском доме бок о бок жили Александр Ерофеевич и Анна Павловна, а на книжных полках рядом стояли Лесков и «Лермонтов — пять томиков»… Разноречия и несовместимости встречались на каждом шагу. И как было это связать, объединить в себе одном: земное и духовное, расчет и бескорыстие, любовь и

себялюбие, терпеливое праведничество и гордое бунтарство? Вокзальное пение «Марсельезы» и баб, привычно сгибающихся под коромыслами от водоразборной колонки по Смурскому переулку? Опочившего под часовенкой ссыльного народолюбца Николая Гавриловича Чернышевского, всю жизнь положившего на благо простых людей, — и разъяренные толпы, избивающие «очкариков» и «стюдентов» «заради» царя и отечества? Паутину на запекшейся ржавчине колец и крюков для пыток в подземельях Сретенского училища и беззаботные парочки на скамеечках под шуршащей листвой в воскресных городских «Липках»? Да мало ли еще что?!

Многие вопросы в сумятице мыслей и чувств увозил шестнадцатилетний Костя из Саратова…

НИДЕФАК

У директора Козловского коммерческого училища Александра Ивановича Анкирского были могучая фигура и пружинистая походка, сильное, слегка одутловатое лицо с густой, распушенной надвое бородой и маленькими глазками. Когда он, облаченный в вицмундир, направлялся через аудиторию к черному учительскому столу, у новичка поначалу возникала даже мысль о лордах английского адмиралтейства.

Но было в его облике и что-то нарочитое.

— Я вам ставлю две! — говорил он, лишь скользнув взглядом по классной доске, на которой Костя Федин после долгой натуги мелом изобразил решение алгебраической задачки.

«Две» — в его лексиконе означало двойку.

— Ступайте! Надеюсь, что следующая наша встреча будет э-э… более вдохновляющей! — напутствовал он понуро плетущегося на свое место ученика.

В правила заданного им легкого шутовства взаимных отношений на уроках входило и то, что Александр Иванович держался с преувеличенной вежливостью.

Помимо директорствования, Анкирский вел математику и некоторые разделы физики.

— А теперь запишем общее упражненьице, — принимался диктовать он классу. — Имеется моток… э-э… мэдной проволоки длиной пятьдесят семь аршин…

Зачем он при этом коверкал слова, которые часто встречаются в физике, называя проволоку — «проволокой»? Почему именовал двойку — «две»?

Возможно, Александру Ивановичу нравилась некоторая ряженность происходящего. Это как бы вносило нотки живости и задора в отношения требовательного наставника и подопечных. А могло статься, что тут крылся не только педагогический расчет. Возможно, Александру Ивановичу просто наскучило столько лет талдычить одно и то же. И деланная затейливость и игра в искусственный лексикон позволяли ему на уроках незаметно от питомцев жить в собственном мире и думать о своем.

Так это было или иначе — неизвестно. Не только доля актерства была слишком выпирающей, несообразной, благородный лорд слишком явно подчеркивал ничтожество проволоки, с которой им приходилось возиться. И именно это придавало, пожалуй, могучему, импозантному облику А.И. Анкирского слегка комический оттенок. В остальном же это был опытный учитель, проницательный педагог, прекрасный человек

и либерал по взглядам, что и отражалось на духе подведомственного заведения.

Таким был Александр Иванович Анкирский, или, точнее, Анкйрский, как он себя величал.

О своем козловском житье-бытье Федин отзывался иногда с нотками юмора: «Кончил училище в Козлове — яичном городе, мясном и хлебном, с пахучими лошадиными ярмарками и мягким знаком в третьем лице настоящего времени». Но не упускал случая помянуть, что три года, проведенные там, «были лучшими в моей юности… Я жил один, в обстановке, не тяготившей меня воспоминаниями о Саратове, где все смущало мою совесть — побеги, прерванное учение, и отошедшие от меня товарищи, и работа в магазине».

Основное же, что врачевало первые ссадины и царапины молодой души, побуждая к новым стремлениям и интересам, была общая атмосфера в училище. Многие педагоги симпатизировали свободолюбивому, демократическому течению русской общественной мысли.

Грузная, большая фигура А.И. Анкирского медленно и, как казалось порой, сонливо двигалась по коридорам училища. Но маленькие подзадоривающие глазки видели многое, во всяком случае, в том, что касалось Кости Федина. Отметили они, должно быть, и сосредоточенную внутреннюю работу, которая поглощала юношу.

Если она и принимала порой окраску возрастного «гамлетизма», нередкого в пятнадцать-шестнадцать лег, то вызывалась не расслабленностью натуры, а, напротив, неустанными и глубокими поисками собственного пути в жизни. Это были все те же «проклятые вопросы», сверлившие в Саратове, там не оставшиеся, давящие, требующие ответа. О назначении человека на земле, о смысле бытия, о прошлом и настоящем общества, о своем месте в нем, о той большой цели, ради которой стоило жить. Желание найти ответы иногда доводило до отчаяния.

Как и другие иногородние ученики, Федин квартировал в частном доме, снимая комнату на двоих. В напарники он избрал покладистого одноклассника-земляка Глеба Авдеева. В письмах Верочке Гурьяновой Костя держался молодцом, хотя смутное беспокойство прорывается и тут. «Дорогая Веруся!.. — писал он 29 августа 1909 года. — По приезде в Козлов я ужасно отвратительно себя чувствовал… Потом, не дожидаясь Авдеева, т. к. он приедет в сентябре, нашел квартиру. Устроился уютно. Настроение улучшается, хотя и не могу не вспомнить того, что тебя нет! Тоскливо, Верок! Ну да ничего! Я часто смотрю на твой

портрет, если бы не он, я не ручаюсь за себя. Когда пристально всмотришься — то уносишься далеко-далеко! Вспоминаю те вечера, когда мы сидели вдвоем и мечтали о будущем… Твой *Константин Ф.».*

Был один человек, перед которым он не стеснялся полностью выплескивать душевную смуту. Разобраться, понять, если не подсказать выход, могла только сестра. «Душа у меня болит, Шура! — писал ей Костя 3 ноября 1909 года. — Вот сейчас я сидел, много думал и, как всегда, не выдумал ничего. Чего мне надо? Я, дорогая, сам не знаю. Не знаю и мучусь без конца… Мне хотелось бы узнать: зачем мы живем? Я читал, говорил при каждом удобном случае и ничего не нашел… Так продолжаю: читал я философов, и у всех одно и то же: „Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели“ etc,[3] все в этом роде. Не говоря о красоте, скажу, что, может быть, „в силе стремления к цели“. Так вот этой самой цели-то у меня и нет. Эх, Шурок! Что бы я дал, если имел веру во что-нибудь! А у меня ее нет! Нет ни веры, ни цели, стремясь к которой, может быть, я достиг бы чего-нибудь. Вот ты веришь в бога? Но, говоря хотя бы писанием, вера не всем дается? Очевидно, я принадлежу к исключению. Иной раз хочется молиться, но в душе-то, где-то в углу ее, сейчас же зарождается это вечное „но“. И вот, Шура, не знаю, во что верить, куда идти? А кабы ты знала, как хочется верить, как хочется отдаться всей душой чему-либо хорошему — святому! Ну зачем я учусь? Не подумай, что я уж так и брошу ученье — нет, но (довольно, уже есть „но“). Ты скажешь: „служить обществу, работать, быть полезным, осуществлять какие-то идеалы“. Да! Но зачем это? Пиши, моя дорогая, пиши. Знаешь ли, у меня часто от этих мыслей странно болит голова. Как-то туманится».

Как выяснилось затем, главное из того, что совершалось с юношей, обозначалось коротко: *поиски призвания.* Пока же «цель», «идеал», «польза» и «красота», будто части разорванного на куски единого понятия, о существовании которого для себя он еще не знал, бесформенно вертелись в сознании. Искали целостности и не могли ее обрести, теснились, путались, мешались, влеклись и отталкивались, тянулись к слиянию и не находили его. Это было действительно мучительное состояние. Тут было от чего туманиться голове!

Впрочем, не совсем точно сказано, будто о существовании понятия, вернее, рода деятельности, благодаря которому внутренний хаос выстраивается в гармонию, он не знал вовсе. Знал, конечно! И слово было с малолетства известно. Ли-те-ра-ту-ра. Только не знал еще, что она-то и может стать для него опорой в жизни. Не знал, что литература — *его* призвание. И муки этого

незнания переживал.

Несколько обстоятельств способствовали последующему открытию. В особенности самостоятельное чтение и занятия словесностью в училище.

Нравственно-литературным потрясением, которое сразу многое прояснило, стало для Кости чтение романа «Идиот», а затем и других книг Достоевского. «Как возникает в человеке убеждение, что он призван к делу искусства? Как осознается призвание? — в зрелую пору задавался вопросом Федин и отвечал: — В ранние годы… я прочитал „Героя нашего времени“. Я знал и другие книги. Но эта была необычным переживанием. После нее жизнь приобрела некоторое общее содержание. Ко всему, чем разрозненно наполнялся день, прибавилось отдаленное и слитное *нечто*… Книга оказалась миром очарований, пока не пришло потрясение: это был „Идиот“ и за ним — весь Достоевский… Мне стало ясно, что моя жизнь может быть осмыслена только тогда, если я стану писать. Развитие шло, конечно, гораздо хитросплетеннее, потому что я покорялся не только образцам литературы. Театр и живопись спорили в моей бедной душе. Но книги восторжествовали»… Проясняться это стало из романа «Идиот»…

Тончайшее ощущение всех непримиримых противоречий, темных глубин и тайников человеческой натуры и, несмотря ни на что, подвижническое служение людям, с верой в торжество добрых дел, талант сострадания и подвиг самоотвержения во имя людского единения и братства, готовность жертвовать собой для счастья ближних — нравственная программа романа «Идиот» — создана была словно специально для Кости. Она сгущенно выражала то, к чему давно внутренне тяготел, чего искал юноша.

Нет, он не хотел больше быть разочарованным Печориным! Князь Мышкин — этот великий человеколюбец, — вот кто восхищал, дарил веру, звал к подражанию. В жизни был смысл, жить стоило! Многое теперь вставало на свое место, обретало ясность: как увязаны «истина», «добро» и «красота», как сочетаются «цель», «идеал» и «польза»… В его власти было найти себе поприще, чтобы посильно облагораживать и переустраивать мир. Этим поприщем было искусство.

Впоследствии, раздумывая над тем, почему он предпочел литературу, а не избрал, скажем, музыку, живопись или актерство, к чему тяготел тоже, Федин отмечал роль примера, жизненной среды в момент, когда будущим художником совершается выбор. На том этапе его биографии значение имела литературная атмосфера в Козловском училище. «Я многим обязан… словесникам, — писал Федин, — как тогда называли

преподавателей русской литературы. Классные занятия выходили за рамки программ, — мы читали сборники „Знания“ (издававшиеся по инициативе и при участии А.М. Горького. — *Ю.О.),* писали сочинения о русских „модернистах“, об Ибсене, и это открывало нам взгляд на литерутуру как на цепь меняющихся в борьбе живых явлений, а не схоластический школьный „предмет“.

Сохранилось одно из таких сочинений Федина — „О современной русской литературе“. Написано оно уже в выпускном классе, датировано 28 марта 1911 года. На полях учительские пометки и выставленная в конце оценка: 5 — (пятерка с минусом; минус, очевидно, — за две орфографические ошибки).

С привлечением разнообразных литературных фактов Костя разбирает современные формалистическо-декадентские течения, отдавая предпочтение и симпатии в первую очередь реалистической классике. Сочинение ничем не походит на обычную школярскую компиляцию, в которой всегда угадываются нотки невольного закулисного диктанта учителя. Написано оно свободно, смело, вольно, если не сказать — дерзко, насыщено неожиданными сопоставлениями, параллелями и ассоциациями, почерпнутыми из текущего литературного процесса (Арцыбашев, Гиппиус, Бальмонт и др.), которые не вычитаешь в учебных пособиях и не воспроизведешь с чужого голоса. Да и показательно уже своим многостраничным объемом. По существу, перед нами первая литературно-критическая статья девятнадцатилетнего Федина.

В сочинении верно указана одна из главных причин происхождения декадентства — „духовная неудовлетворенность“ в обществе, отсутствие в нем подлинного движения и прогресса. „Прогресс, хотя бы маленький, необходим, — пишет Федин. — Но раз его нет как естественного начала существования, невольно приходится создавать искусственное движение и придавать ему всевозможные формы“.

Так возникают в литературе формалистичееко-декадентские искания, где нравственный произвол влечет за собой и произвол словесно-художественный. Автор выступает против крайнего формотворчества, словесной зауми, доходящих до „фиолетовых звуков“ и „черного голоса“, его не устраивает фольклорное стилизаторство, когда нет главного — „этика отсутствует“.

Своим литературным даром Костя Федин возвышался над обычным уровнем ученической массы. Это тоже заприметил зоркий директор. Во всяком случае, они поладили довольно скоро. Александр Иванович, часто выставлявший Федину „две“ в

ходе учебы по своим предметам, той же бестрепетной рукой выводил положительные баллы в конце полугодия. Индивидуальность надо беречь и развивать, считал он.

Поощряла литературные увлечения брата и Шура. Летом 1910 года, в гостях у старшей сестры, в Уральске, и был сочинен Фединым первый рассказ под названием „Случай с Василием Порфирьевичем“. Он повествовал о мелком служащем уездной земской управы и содержал невольные перепевы произведений Гоголя.

Известны и завершающие подробности этого эпизода. В „первой любви“ всегда много романтики, увлеченности, порыва, иллюзий и мало опыта. Обычна поэтому грустная развязка. „… Когда писался рассказ, — вспоминал Федин, — мне чудилось — я пою как птица. Я отправил тогда эту птичью песню из Козлова в Петербург, в „Новый журнал для всех“, и перенес первое, столь хорошо знакомое новичкам-сочинителям, горе: журнал возвратил мне рукопись без всякого ответа“.

Первая любовь оказалась безответной… Но путь был начат. Сочинитель опробовал перо.

С тех пор жизнь в Козлове была отдана мечтам и трудам писательства. Это была жизнь юного неофита, узнавшего, что его призвание — литература.

Даже чувство к Вере, кажется, не то, чтобы поостыло, а притупилось, без нее не было теперь так одиноко и пусто, как прежде. Девушка тотчас ощутила это и истолковала по-своему. Допустить, что ее соперницей является литература, она не могла. Начались обиды, недоразумения, письменные выяснения. Костя должен был пылко доказывать, что, дескать, нет хуже, чем недоверчиво относиться „к тому, кто тебя любит“, что для Вериных обид нет „абсолютно никаких оснований, кроме разве… мнительности да горячего воображения“.

„Я не знаю, как тебя уверить в этом, — в сердцах писал он 16 ноября 1910 года, — каким я должен быть, чтобы ты не обижалась, наконец, как должен себя вести, чтобы ты мне верила, чтобы не было вечных недоразумений“.

Девушки взрослеют быстрее, а Вера и без того была на два года старше. В 1911 году она закончила женскую гимназию, получила место учительницы в саратовской школе. Отношения их стали постепенно угасать…

Неоправданная Верина подозрительность была тем более некстати, что Костя в это время находился еще под воздействием сильных литературных переживаний. Их вызвали события, разыгравшиеся после ухода Льва Толстого из Ясной Поляны в

октябре 1910 года.

Станция Астапово, где в доме начальника лежал тяжело простудившийся в вагоне третьего класса и, судя по газетным сообщениям, пребывавший в критическом состоянии Лев Николаевич Толстой, располагалась недалеко от Козлова.

Честно говоря, о значении Толстого в окружающей жизни до тех дней Костя задумывался мало. Читать его начал не так давно, уже в Козлове, а до этого только слышал о нем. Да и слухи чаще всего были кривые.

В набожном отцовском доме о Толстом помалкивали, книг не держали. Напраслину говорить негоже, но и правительствующий Синод тоже зря от церкви отлучать не станет. *(Библиотека отца. …Толстого не было: отступник, еретик!»* — помечал позже Федин.) Роман «Война и мир» не изымался из программного обучения, но проходить его надлежало не раньше чем в завершающем полугодии выпускного класса. Учителям-словесникам вменялось об этом писателе не распространяться.

Так получилось, что, хотя Лев Толстой жил неподалеку, в Ясной Поляне, соседней Тульской губернии, для Кости Федина он казался таким же далеким преданием, что и давно умерший сребровласый красавец Тургенев, умиротворенно взиравший с портрета в тяжелой раме в кабинете словесности. В этой четырехстенной галерее портретных гравюр классиков, от Кантемира до Чехова, Толстой не занял своего места, можно было думать, потому только, что еще жил.

И вдруг все разом заговорили только о Толстом.

Даже малограмотные извозчики не верили больше легенде о старце, который, начитавшись книг, благополучно поживает в своем графском поместье, кушает рисовые котлетки и ведет какие-то сектантские распри с церковью. Оказалось, изначально было не так. Покинув дом, семью, бросив все, 82-летний Толстой направил слабеющие шаги к той цели, которой посвятил всю жизнь, — к дальнейшему исканию истины.

Многим в Козлове стало ясно, что в доме начальника станции Астапово, в нескольких десятках верст от их городка, находится больной старик, великий человек, гениальный художник, неподкупленная совесть и разум России. А если кто и ведет себя глумливо, бесчестно и суетно в течение долгих лет, так это именно церковь вкупе с петербургскими властями, вся их услужливая челядь, их печать…

Одно происшествие тех дней навсегда врезалось в память.

Накануне, вечером, пополз слух, что Толстой умер. Кто-то из учителей-словесников наводил справки в редакции местной газеты, и там сообщили, что действительно телеграфное известие

об этом, переданное для всех газет, поступило и завтра появится в печати.

Костя долго в ту ночь не мог заснуть.

На следующий день он был дежурным, пришел в училище рано.

Забрав в учительской географические карты и глобус, не спеша плелся к своему классу, когда увидел появившегося в пустынном гулком коридоре Анкирского. Александр Иванович, в черной шинели с развевающимися полами, широко и размашисто шагал навстречу, направляясь р; учительской.

Таким возбужденным директора Костя видел впервые.

— Здравствуйте, Федин! — буркнул он на приветствие. Потом круто остановился, словно вспомнив что-то. — Еще не слышал? Знаешь?!

— Что?! — не понял Федин.

Александр Иванович высоко потряс зажатой в кулаке газетой.

— Он не умер! Живой! Во-от! Закопали живого человека! Прислужники, официанты. Как торопятся, как им неймется!..

— Кого? — прокричал Костя, уже предчувствуя ответ.

— Толстого!.. Льва Николаевича! А он и тут им не дался! Взял да и не умер, может, еще и встанет! Какой великий старец, ей-богу!.. Разум, совесть народа! А они его, живого, в гроб, в могилу. Самозванцы!..

— Как это получилось? — косясь на Александра Ивановича и поправляя в охапке у груди глобус, который неловко стало держать, спросил Костя.

— Якобы поспешил корреспондент, то ли поторопилось телеграфное агентство… — заговорил Александр Иванович. — Поди разбери! Извещение для всех газет, видите ли, оказалось преждевременным. Преждевременно хотели обласкать сиятельный слух! Авось покуда преставится… Слава господу богу! Не получилось! Не оправдал ожиданий! Теперь вот рядом опровержение! Вот, вот… Жив, жив, Лев Николаевич! Во-от!.. Извините меня, Федин, случай все-таки особенный! — И, круто повернувшись, он зашагал к учительской…

Но общая радость была короткой. Кажется, только одни сутки. Вскоре Толстой умер.

Волны, поднятые этим событием в русском обществе, были таковы, что на сей раз отреагировать решило даже императорское почтовое ведомство. По случаю кончины Л.Н. Толстого была выпущена специальная памятная фотографическая открытка.

Она представляла великого писателя в виде «типичного» толстовца. Щурясь от солнца, Лев Николаевич, с морщинистым загорелым лицом, распушенной бородой и лохматыми бровями,

стоял в белой посконной рубахе до пят и босиком.

Некий однокашник из породы Мефистофелей, зная новое увлечение Кости Федина, решил сделать тому небольшой подарок.

Может быть, заодно ему хотелось и слегка остудить пыл товарища каплей скептической мудрости.

Во всяком случае, жестким пером фиолетовыми чернилами по белому глянцевому полю толстовской рубахи, с правого плеча до бедра, он сделал косую надпись: «Sic transit vita et gloria mundi».[4]

Стрела попала в цель. И Костя потом долго раздумывал над этой кичливой эпитафией, процарапанной на груди Толстого.

Да, Толстой любил, страдал, мечтал, писал книги, искал истину. Но неужели конечный итог всех исканий только один — могила? А если нет, то что же значила его жизнь? Что нашел, что нес, что оставил Толстой людям, России, миру?..

«Уход» и смерть Льва Толстого, — более чем полвека спустя вспоминал Федин, — я глубоко пережил… События в Астапове всколыхнули самые разные слои русского общества, народа. Гул земли, сопутствовавший последнему жизненному шагу и смерти Льва Толстого, особенно чувствовался в нашем городишке из-за соседства с Астаповом. Смерть Льва Толстого была для меня болью…

В романе «Первые радости», события в котором развертываются в 1910 году, «уходу» и смерти Льва Толстого посвящены две главы. Переосмыслено и вписано в сюжет произведения и тогдашнее событие — преждевре-менное газетное известие о кончине Толстого.

Следующих неполных три года (до мая 1914-го) были продолжением начатых в Козлове поисков призвания. Хотя внешняя сторона жизни Федина и видоизменилась достаточно резко — глубинный провинциальный городишко уступил место Москве.

Александр Ерофеевич не мытьем, так катаньем добивался своего — хотел увидеть в сыне образованного негоцианта, на худой конец — экономиста. Окончанием коммерческого училища жребий был брошен. К тому же, как убедился Костя, обучение коммерческим наукам не препятствовало литературным занятиям. А профессию для хлеба насущного иметь не мешало. Так к осени 1911 года он оказался в стенах Московского коммерческого института.

Московский коммерческий институт (ныне Институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова) считался солидным

учебным заведением, носителем передовых веяний времени. Его питомцы должны были по окончании института приложить руку «к делу общественного прогресса и построению новой цивилизованной России». Буржуазные деятели возлагали на институт свои надежды, усматривая в нем один из рычагов дальнейшего преобразования дворянско-полуфеодальной империи по пути капиталистического развития, сближения России с Западом. Среди профессуры преобладал дух либерально-оппозиционный.

«В далеком прошлом, — вспоминал Федин, — я был студентом экономического отделения Московского коммерческого института… В старой России мы занимались множеством отдельных хозяйственных дисциплин. В основу каждой из них было положено одно и то же начало частновладельческой конкуренции. Это был, так сказать, бог тогдашних наук об экономике. Мы усваивали всевозможные виды конкуренции внутри торговли, внутри промышленности, внутри промыслов и варианты конкуренции их друг с другом — стратегию и тактику войны, которая велась между десятками враждующих формаций капитализма».

Знание хозяйственного механизма капиталистического строя вооружало аналитической зоркостью взгляд будущего художника.

В Косте Федине очень рано проявились качества, которые современники впоследствии в один голос называли «талантом дружбы». Он быстро сходился с разными людьми. Юноша был наделен внутренним обаянием, интересен и незаменим в компаниях, чутко улавливал и ценил хорошее в окружающих, отличался надежностью и постоянством в отношениях, верностью данному слову. Рано определилось в нем и умение выступать заводилой полезных общественных начинаний. Все это располагало и притягивало сверстников.

Пожалуй, мало кто умел так прочно обрастать друзьями, как Федин. Если уж он с кем сближался, то дружба эта, однажды начавшись, нередко развивалась затем годами, десятилетиями, протягивалась иногда через всю жизнь. Так получилось с Глебом Авдеевым. Козловский соквартирник Федина после окончания училища тоже поступил в коммерческий институт. Неразлучны были они и тут. Да и спустя десятилетия, вплоть до 40-х годов, ленинградский инженер-экономист Глеб Васильевич Авдеев, «Глебушка», как ласково называли его близкие писателя, оставался своим человеком в семье Федина.

Оценили качества новичка и другие однокашники по институту. Вскоре Федина избрали в правление студенческого землячества экономического отделения.

«Студенческие годы заполнены были уже созревшим стремлением писать», — кратко выделял главное Федин.

Одним из переживаний первого года учебы стало участие в ноябре 1911 года в сходке, которой студенты отмечали годовщину со дня смерти Льва Толстого. Собрание было прекращено вмешательством полиции… Остальные события — каникулярные приезды к сестре, в Уральск, плавание на пароходе по Волге от Астрахани до Нижнего. Первое посещение Петербурга.

Поглощала внутренняя жизнь. «У меня все те же страстные порывы к работе — творческой, — сообщал Федин сестре 14 октября 1912 года. — Я многого достигнул и все работаю, все хочу работать. Тянет меня к книгам, бумаге, рукописям. Днями и ночами грежу комнатой с библиотекой и лампой, озаряющей робкой тенью прибор на столе, книги, обои светлые…»

Кто знает, сколько за это время было изведено бумаги, сколько в ворохах ее навсегда упокоилось безвестных сочинений, разнообразных замыслов и тем…

Рукописи редакции одну за другой по-прежнему отвергали.

Будущий романист и мастер интеллектуально-психологической прозы печататься начал с коротких юморесок и сатирической публицистики. Произошло это только в 1913 году. В петербургском журнале «Новый сатирикон» (№ 21), издававшемся под редакцией Аркадия Аверченко, появилось несколько строчек под названием «Глубокомыслие». В выдержке, якобы почерпнутой «Из записной книжки преподавателя классической гимназии», автор высмеивал мнимую ученость казенных наставников юношества.

Остроумной была подпись — Нидефак. Если читать ее справа налево, то это давало ныне известные инициалы и фамилию.

Всего несколько строчек, самым мелким шрифтом! После трех лет литературных попыток это был ничтожный, крошечный успех. Однако размеры его не остудили авторского ликования. «До сего дня помню угол Полянского рынка, где в 1913 году я купил у газетчика номер „Нового сатирикона“ с первыми печатными строчками за моей подписью, — вспоминал Федин. — В „Почтовом ящике“ того же номера журнал отвечал мне, что мой рассказ не подошел, но „мелочи взяли“.

В течение чуть ли не года затем, с солидными промежутками во времени, „Новый сатирикон“ поместил и еще две „коротышки“, принадлежащие перу Нидефака, — публицистическую реплику и стихотворную пародию.

Увы, это было все, что удалось напечатать Нидефаку,

Смеяться бы ему не над преподавателями классических гимназий, а над собой смеяться! Ни одной строчки не появилось у него больше за девять лет упрямого, многостраничного и самолюбивого сочинительства.

Об идейной направленности творческих попыток молодого автора можно судить хотя бы по „Голубой сказке“, известной нам, правда, по варианту позднейшей публикации. „Сказка“ эта — романтическая аллегория, полная вольнолюбивых порывов. Некая прекрасная дама по имени Неведомая (Свобода?) вызволяет из каторжных бараков и подземелий веками загнанных туда углекопов (угнетенный трудовой народ)… Объединение трудовой массы и Неведомой — вот что может принести на землю радость и счастье. Такова мораль сказки.

Уже второкурсником Федин пришел к мысли о необходимости порвать с официальной религией. „…В скобках я поставил: не признаю бога, которого признают все, — писал Федин сестре. — Да. Не подумай, что это модное увлечение. Нет. И вот что интересно: я окончательно решил этот вопрос отрицательно только после изучения богословия. На меня ужасающее впечатление произвел разбор древних религий… Подумай! Тысячи, миллионы людей уверены, что они правы в своей вере, в своей религии… И мы, крупицы, уверяем себя, что ИМЕННО мы правы, что ИМЕННО мы на верном пути в исканиях правды мира. Почему так? Почитай их истории, и ты без особого труда заметишь, что все это дела рук человеческих, дела фантазии и страха перед неизвестностью“.

По-разному действуют на людей неудачи. Одних они ломают, приводят в отчаяние, ввергают в апатию. В других рождают холодное упорство. Не без воздействия постоянных литературных неудач Костя еще более посерьезнел. Он даже и коммерческими науками теперь занимался не спустя рукава, как прежде. Нет, раз наукам этим суждено стать его опорой и подмогой, он должен знать их основательно (покуда не осуществятся писательские мечты).

„О внешней стороне моей жизни скажу несколько слов, — сообщал Федин в том же письме к сестре. — Теперь занят составлением отчета правления землячества. Скоро будет собрание за этот год. — Я член правления — беру на себя защиту и характеристику деятельности правления. Дома занимаюсь науками. Конт, Кант, Бебель, Маркс… Работы много и по институту. В нынешнем году предстоит подать сочинение для зачета статистики, экономической географии…“

Кстати, именно по Костиному совету, по наставлениям студента, жаждавшего как-то оправдать отцовский кошт,

Александр Ерофеевич опробовал у себя в лавке предложенную им научную рацею. Наделав немало шума в Саратове, ввел новую форму торговли — „с премиями“ (к каждой купленной тетрадке давалась бесплатно грошовая переводная картинка). И покуда подражать начали писчебумажные конкуренты, собрал на этом дополнительную выручку. Ободренный заветным соединением „науки и практики“, Александр Ерофеевич выдал сыну премиальные на каникулярную поездку в Германию.

Побудительный мотив для поездки был внешний, породивший впоследствии немало самоугрызений и напрасных терзаний. „Это не было вызвано моим каким-нибудь особым интересом к немецкой литературе, — писал Федин. — При переходе на последний курс в нашем институте требовалось знание одного языка достаточно совершенно. Я запустил занятия по языку. Последний срок сдачи экзамена была осень 1914 года. Я рассчитывал провести лето в Германии, научиться прилично и свободно говорить по-немецки“.

Конечно, никто не мог предугадать в мае, что 1 августа непременно разразится мировая война. И все же ехать восполнять академическую задолженность по иностранному языку в стан уже почти обозначившегося военного противника России — это свидетельствовало о немалой доле политической наивности 22-летнего московского студента…

Весть о начале войны застала Федина в Баварии, в Нюрнберге, где он уже почти три месяца жил в семье преподавателя немецкого языка Кратцера, рекомендованного московскими друзьями.

Нюрнберг был глубинным, тихим, веселым городом. Хотя со стен домов уже глядели расклеенные приказы баварского короля о мобилизации и было объявлено, что железные дороги перешли в ведение военных властей, в реальность катастрофы не верилось. Юноша не сомневался, что ему удастся „проскочить“ через границу.

Само расставание с Нюрнбергом, похожее, впрочем, на поспешное бегство, еще было выдержано в духе доброй старой идиллии довоенного времени. Об этом прощальном эпизоде с „милыми педантами-немцами“ Фе-дин рассказывает так:

„Когда я читал в Нюрнберге приказ о мобилизации, я думал: теперь все равно. Я впервые нанял автомобиль, поехал домой, торопливо схватил свой чемодан и ринулся вниз, к ожидающему автомобилю. И здесь напоследок случилось забавное происшествие. Когда я хотел сесть в машину, из находившегося под кратцеровской квартирой трактира выскочила кельнерша и

закричала:

— Господин Федин, вы уезжаете?

— Да, теперь ведь война.

— Господин Федин, вы еще кое-что должны нам.

— Да нет, я ведь за все расплатился.

— Нет, господин Федин, на крышке кувшина, которым вы всегда пользовались, вы нацарапали свою метку.

— Да? Сколько же я должен заплатить?

Речь шла об очень маленькой сумме, примерно полутора марках.

Я заплатил и сел в машину.

— Господин Федин, — воскликнула кельнерша, — подождите еще минутку.

Она побежала в трактир и снова появилась — с кувшином в руке!

— Кувшин ведь теперь принадлежит вам.

Ну, знаете, что мне было делать в этот момент с кувшином! Но она во что бы то ни стало хотела, чтобы я взял кувшин с собой. Он ведь стал моей собственностью.

— Давайте его сюда! — сказал я и поехал“.

Лицо войны глянуло на Федина из окошечка железнодорожной кассы на вокзале в Дрездене, когда он туда добрался. Столица Саксонии находилась уже вблизи восточных пределов германской империи. Федин попросил билет до станции Калиш, что была но ту сторону границы.

— Что?! В Калиш захотели?! — грубо крикнул кассир и с грохотом захлопнул окошко.

В Дрездене Федина задержали, подвергли обыску.

Затем объявили, что отныне он — „гражданский пленный“, находящийся под надзором полиции.

— Студент есть студент! — понимающе сощурился полицейский начальник, к которому с жалобой обратился Федин. — Да-а… ха-ха… по-нашему — призывник! Теперь русский царь будет иметь минус один солдат. На солдата меньше! — довольный, повторил он.

Три с лишним месяца юноша слонялся по Дрездену, ежедневно являясь отмечаться в полицию. Крышу над головой предоставил почтовый служащий Менерт, который не разделял общего шовинистического угара. Началось безденежье. Средства, выданные отцом на четыре месяца, иссякли. Но как было найти пропитание „враждебному иностранцу“ в незнакомом городе?

Выручила смекалка. Костя вспомнил, что в писчебумажных магазинах Саратова торговали разного вида чернильницами дрезденской фирмы Леонарди. „Я прикинул про себя, —

вспоминает Федин, — рано или поздно война кончится, а фирма заинтересована в том, чтобы вернуть иностранный рынок“. С этой идеей Костя и явился в дирекцию фирмы Леонарди. Самое любопытное, что под послевоенную рекламу ему удалось заполучить в долг целых сто марок! Он растянул их на несколько самых трудных недель.

В Дрездене Федин познакомился с товарищами по несчастью — тоже русскими гражданскими пленными.

Один из них был Николай Коппель, ставший впоследствии другом Федина на долгие годы.[5] Коппель учился на филологическом факультете в Петербурге, а до недавних пор был студентом Высшей технической школы в Дрездене. Это был ценитель музыки, страстный книжник, фантазер и талантливый рассказчик, чем сразу и увлек Костю.

Знакомыми и друзьями Коппеля были студент той же Высшей технической школы Андреев, художник Шер, работавший копиистом в Дрезденской галерее, и средних лет инженер Розенберг (до августа 1914 года сотрудник русской торговой конторы в Дрездене).

На гостеприимной квартире почтового служащего Менерта вместе с Фединым обосновались недавний выпускник кадетского корпуса Юхновский и железнодорожный служащий Грюншпун.

Складываться начала небольшая русская колония. Стало не так одиноко. Конечно, постоянно давили заботы о пропитании и полная неизвестность дальнейшей судьбы. Но Федин гнал прочь уныние. Он совершает бессчетные пешие походы по древним улицам и площадям Дрездена, осматривает его дворцовые архитектурные ансамбли, жилые здания, подвальчики и закоулки, где все дышит историей, знакомится с богатейшими достопримечательностями этой „столицы немецкого искусства“. Многие часы проводит юноша в Цвингере, в Дрезденской галерее, у полотен старых мастеров. Подолгу стоит у Сикстинской мадонны Рафаэля. Слушает концерты органной музыки в знаменитой Фрауенкирхе. И, отдаваясь воздействию этого царства форм, линий, звуков, красок, может быть, не без влияния Шера, даже снова начинает брать у друзей уроки живописи…

Некоторые из тогдашних впечатлений отобразились позже в исторической драме „Бакунин в Дрездене“, написанной в 1920–1921 годах, и в сценах пребывания в Дрездене композитора Никиты Карева — главного героя романа „Братья“.

В конце ноября королевские власти предписали выслать из столицы Саксонии всех „враждебных иностранцев“. Место их пребывания должно было находиться теперь на расстоянии не менее сорока километров от Дрездена.

Из новой напасти стоило попытаться извлечь выгоду. В разговорах с друзьями Федин настаивал на одном — поселиться как можно ближе к русской границе: его еще не покидала мысль о бегстве на родину. Все вместе решили перебраться в Циттау.

Пограничный городок Циттау располагался на стыке трех территорий — Германии, Польши и Чехии, хотя две последние и входили в союзное государство кайзеровской империи — Австро-Венгрию. Циттау был центром административного округа. „Облик городка, насчитывавшего тогда около 30 тысяч жителей, — пишет немецкий литературовед В. Дювель, — создавался местопребыванием тут чиновных властей, военного гарнизона, промышленных предприятий (хлопкопрядение, ткачество, машиностроение и т. д.), образовательных и культурных учреждений. Социальный облик сельской округи определяли крупные помещичьи землевладения… В городе, помимо дворянской знати, к господствующим слоям принадлежали капиталисты и чиновничество, за которыми с большей или меньшей степенью политической угодливости тянулась многочисленная мелкая буржуазия. Классовое сознание рабочих в Циттау, как и повсюду в Германии, было парализовано предательством немецкой социал-демократии (голосовавшей за поддержку военной политики правительства. — *Ю.О.)*. Город с окружающим административным районом являл собой типичный образчик феодально-буржуазной германской империи“.

В Циттау жили уже другие интернированные — французы, бельгийцы, несколько русских. Со стороны властей порядок оставался четким и определенным — раз в день требовалось отмечаться в полиции. Выходить за городскую черту разрешалось только по специальным письменным пропускам. Из-за близости австро-венгерской границы и наличия военного гарнизона надзор был строже, а при сравнительной малочисленности населения каждый человек куда более на виду, чем в Дрездене. Словом, бежать отсюда было, пожалуй, труднее.

Однако главное состояло даже не в этом. С развитием событий и углублением понимания характера империалистической войны у юноши постепенно проходил прежний пыл. Не было смысла рваться домой, где ожидал призыв в армию.

„Колония“ была пестрой, неоднородной, с богатыми и бедными. Некоторые даже держали прислугу. Облегчение внесло то, что спустя несколько месяцев при посредничестве шведского Красного Креста стали налаживаться, хотя и зыбкие, связи с родственниками в России. Денежное пособие время от времени высылал сыну и Александр Ерофеевич.

Заработок давал город. Шер рисовал магазинные вывески, Грюншпуна выручала игра на скрипке. Федин начал практиковать уроки русского языка. Одним из его клиентов был директор Циттауского машиностроительного завода шовинист Криг, разыгрывавший роль „сверхчеловека“. Он гордился своими способностями к языкам, считал себя полиглотом. Но брал уроки сразу нескольких иностранных языков лишь для того, чтобы, по его словам, лучше познать врагов и легче править людьми других наций. Быт здешнего привилегированного общества, увиденный глазами домашнего учителя, принес жизненный материал художнику. Персонаж с фамилией Криг, также директор машиностроительного завода, с весьма сходными психологическими чертами, впоследствии дважды возникает в произведениях Федина: в романе „Похищение Европы“ и в повести „Я был актером“.

В Циттау Федин прожил три с половиной года. „Этому саксонскому городку на границе Чехии, — писал Федин, — суждено было сделаться моей длительной школой по изучению германского обывателя. Я видел десятки торжествующих факельных шествий по городским улицам… Я видел изнуренных русских пленных на полях орошения и на скотных дворах. Немецкие помещики и кулаки были истовыми рабовладельцами… Я слышал проповеди о праведном немецком сердце, произносимые патером… Я прочитал сотни немецких газет, высмеивающих гуманизм как проявление слабохарактерности“.

Федину довелось наблюдать не только националистический шабаш и массовое упоение германских обывателей первыми победами имперского оружия, но и неотвратимо наступившее затем отрезвление. В статье, написанной вскоре по возвращении на родину, Федин так изобразил эти процессы: „Началась окопная война… Становилось все труднее и труднее жить… Ни одна война не истощала народы до такой степени… Через три года люди были захвачены настолько войной, что мир казался несбыточной, невозможной и даже небывалой мечтой. Мира не стало… В одной небольшой социал-демократической газете появилось стихотворение, в котором бабушка, рассказывая внучке сказку, начинала свое повествование словами: „На свете был однажды мир…“ Да, мир стал сказкой, небылицей, о которой старухи рассказывают детям, выросшим на пайке, под треск барабанов и раскаты выстрелов… Голодным, хилым, неодетым детям“.

Многие немцы еще не отваживались отказаться от казенного патриотизма, но позволяли себе горькие шутки: „Скоро будет приказано мыться мыльной карточкой и вытираться талоном на

полотно; но мы, немцы, выдержим“. Путь от нарастания сомнений, протеста до общественно-политического взрыва — свержения кайзеровской монархии в результате ноябрьской революции в Германии 1918 года — был длительным и сложным.

Годы плена стали временем интенсивного политического развития будущего писателя. Федин на себе почувствовал, что такое национальная и расовая ненависть, что такое война; сумел разглядеть, какие силы управляют развитием общества, каковы причины многих политических событий современности.

Уяснению происходящего способствовало знакомство с марксистской литературой и взглядами революционной социал-демократии. В русской „колонии“ глубиной и зрелостью суждений выделялся старший по возрасту инженер-путеец Розенберг, которого шутливо прозвали „папашей“. От него Федин впервые услышал о большевиках, о Ленине. Розенберг разъяснял и отстаивал политическую платформу большевиков.

Позже „папаша“, успевший наладить связи, стал давать Федину некоторые большевистские издания, выходившие в Женеве. Под влиянием „женевских брошюр“ Ленина у Федин а складывалось целостное представление о взглядах большевиков на движущие силы истории, на войну, мир и революцию.

Аккуратно ведет Федин, по собственным воспоминаниям, „записки о более чем четырехлетнем пребывании в тылу немцев“, документируя их вырезками из периодики, из военно-патриотических воззваний и т. д. Это помогает следить за развитием политических событий, осмысливать настроения различных социальных слоев и групп. Особо коллекционирует он газетно-журнальные курьезы, содержащие выразительные гримасы казенного патриотизма. В них невольной карикатурой выглядят некоторые факты, отличающие поведение и быт военщины, юнкерства, буржуазии и филистеров, последовательно меняющееся состояние „немецкого духа“.

Все это делается тайком и не без риска для себя. Если бы полицейский надзор, проведав, усмотрел в политических увлечениях молодого пленного „враждебные чувства к Германии“, это обернулось бы для него передачей военным властям.

„Иллюстрированный“ дневник велся, надо полагать, не без далеко идущих литературных намерений. Впоследствии он очень пригодился автору романа „Города и годы“, где, по собственному определению Федина, Германия 1914–1918 годов „является как бы одним из главных действующих лиц“.

Решающее значение для развития политических событий в Германии имел революционный пример народов России. Всеобщее волнение и крутую перемену в настроениях вызывала

здесь весть о падении самодержавия, а затем о социалистической революции в соседней стране. Позже Федин так вспоминал отзвук, который произвели эти события: „…И вот в это время с востока раздалось слово, которому уже не суждено сойти с человеческих уст: „В России — Революция!..“ Все встрепенулось, все ожило в Германии, когда по свету прокатилось тысячеголосое эхо: Революция… Ближе к миру — почувствовали массы. И даже в прессе, не успевшей сразу ориентироваться на неясную политику правительства, словно против воли, проскользнуло это слово — ближе к миру“.

В августе 1917 года демократическая общественность Германии тяжело пережила весть о смертных приговорах и длительных сроках каторги, которыми ответили власти на попытки организованного возмущения матросов кайзеровского флота в Вильгельмсхафене. Матросские экипажи требовали демократического мира.

Затем из России стали доходить известия, одно ошеломительнее другого: буржуазное Временное правительство низложено… Вся власть у Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов… 150 миллионов десятин земли помещиков, монастырей и царской фамилии раздаются крестьянам… Новое правительство во главе с Лениным обратилось ко всем воюющим странам с предложением начать переговоры о мире… Оно предлагает немедленное перемирие повсюду на три месяца…

В речи на Втором Всероссийском съезде Советов 26 октября 1917 года, перед голосованием Декрета о мире, В.И. Ленин выразил чаяния народов всех стран, втянутых в империалистическую бойню. „Нам нечего бояться сказать правду об усталости, — заявил он, — ибо какое государство сейчас не устало, какой народ не говорит открыто об этом?.. Разве не усталостью вызвано то восстание германского флота, которое так безжалостно подавлено палачом Вильгельмом и его прислужниками?.. Если возможны такие явления в такой дисциплинированной стране, как Германия, где начинают говорить об усталости, о прекращении войны, то нам нечего бояться, если мы скажем открыто о том же…“

Мирные предложения Советской Республики замолчать было нельзя. К тому же в истощенной войной стране растерянное кайзеровское правительство не сразу сумело выработать политику в новых условиях. Многочисленные сообщения об этих предложениях появились в большинстве немецких газет.

Текст Декрета о мире был полностью перепечатан некоторыми органами независимых социалистов. Пользуясь

случаем, левые социал-демократы-интернационалисты открыто выражали свои симпатии. Одна из столичных газет — „Берлинер Тагеблатт“ — 8 ноября 1917 года заключала хронику последних русских, новостей выводом: „Ленин — признанный вождь истинно революционной социал-демократии. Его, Ленина, агитация имеет значение не только для России, но и для всего мира“.

За высказываниями печати почти сразу же последовали действия. „Независимая социалистическая партия Германии, — пишет историк С.Ю. Выгодский, — под давлением трудящихся опубликовала манифест, призывающий немецкий пролетариат… организовывать повсюду митинги в пользу всеобщего перемирия с целью достижения мира без аннексий и контрибуций… Внушительная демонстрация была проведена 18 ноября в Берлине. В течение всего ноября в городах Рейнско-Вестфальской области, центральной части страны… и других крупных промышленных центрах происходили многолюдные собрания, заканчивавшиеся уличными шествиями, митинги, а также забастовки. Их участники решительно требовали приостановления военных действий, принятия советских предложений о мире“.

Пленные не имели права участвовать в политической жизни страны, но Федин жадно следил за происходящими событиями. Из глубокого тыла военного противника России начинающему литератору было видно, кто истинный интернационалист и патриот.

В Циттау издавалась социал-демократическая газета под названием „Циттауэр Фольксцайтунг“. Редактором этого листка был обремененный многочисленным семейством независимый социал-демократ Раух. На его квартире, в рабочем кабинете, все стены до самого потолка занимали полки с книгами.

Среди старинных фолиантов в потрескавшихся кожаных переплетах Раух держал и марксистскую литературу. Помимо сочинений Маркса, которого Костя начал читать еще в институте, тут были произведения современных левых немецких социал-демократов — Меринга, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и других. Свежим и горячим интересом к происходившему в Германии Федин расположил к себе редактора. Тот охотно зазывал молодого человека поговорить в свой кабинет-библиотеку.

Еще более радикальных взглядов, чем отец, держалась старшая дочь редактора Кете. Она воплощала новые умонастроения в среде немецкой молодежи. Уже через год она входила в Союз спартаковцев и летом 1918 года работала

секретарем-стенографисткой в советском посольстве в Берлине. Вместе с Кете Раух Федин побывал на революционном собрании в берлинском рабочем квартале. „Там я услышал немцев, — вспоминал Федин, — которые говорили совсем не то, что нам приходилось так часто слышать прежде. Это собрание немецких революционеров произвело на меня огромное впечатление…“

„Колония“ интернированных вела поначалу довольно замкнутый образ жизни, сосредоточенный почти целиком на внутренних общениях. „Любовь нам запретил магистрат“, — иронически писал Федин. Вступать в неделовые отношения с местными жителями, особенно с женщинами, запрещалось под угрозой всяческих кар. Однако шло время…

В 1916 году скорей всего в окрестных Лаушицких горах, где дозволялись прогулки интернированным, произошла встреча. Девушке было двадцать лет. Принадлежала она к здешнему привилегированному обществу. Отец ее — зубной врач — пользовал лучшую клиентуру в Циттау. Мать была ревнительницей всех добродетелей, которые только может иметь верноподданная кайзера, самая примерная горожанка и высоконравственная патриотка. Единственный брат девушки — офицер кайзеровской армии — сражался на Западном фронте.

Девушка была натурой пылкой, глубокой, способной к быстрому внутреннему развитию. Встреченный русский был не похож на женихов из Циттау, этих напомаженных кукол. С ним ощущалась красота жизни. Он открыл ей глаза на мир.

Девушка обладала сильным и волевым характером и повела себя как личность незаурядная. Тот факт, что, полюбив „враждебного иностранца“, она вступила в смелое единоборство с законом, общественным мнением и предрассудками своей среды, был только началом. В дальнейшем она совершила и нечто более значительное.

Об этом говорит даже краткая хроника ее биографии, относящаяся в основном уже к периоду после скоропалительной отправки Федина из Германии кайзеровскими властями (конец августа 1918 года). Содержание ее жизни было подчинено главным стремлениям души. Всеми силами она стремилась преодолеть обстоятельства, враждебно или слепо вставшие на пути ее чувства, разлучившие ее с любимым. И вместе с тем самозабвенно служила общественным идеям, в которые уверовала, признав их не без воздействия своего избранника единственно справедливыми и достойными человека.

Когда связь с русским открылась и конфликт с родителями обострился, эта девушка, не имея профессии, ушла из семьи, без надежд на последующее примирение. Его и не было. Уже осенью

1918 года она примкнула к левым социал-демократам — спартаковцам. Переехав в Берлин, она знакомится с Рингом. Ведет одновременно работу сразу в двух социалистических журналах, в том числе в знаменитом литературно-художественном журнале „Акцион“ Франца Пфемферта, единомышленника Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Участвует в рабочем восстании, организованном спартаковцами.

После поражения восстания она задумывает пробраться в Советскую Россию, соединиться с любимым. Чтобы получить русское гражданство, она совершает почти невозможное. Отыскивает военнопленного — некоего Соболева и фиктивно вступает с ним в брак. Затем в начале 1919 года направляется в Мюнхен. Отсюда она надеется через Австрию, Венгрию, Украину пробраться в Москву… Но… „Я думала сердцем, а не головой, — сообщала она в письме Федину. — Но есть люди, у которых нет сердца, а только одна голова“. На пути возникают новые непреодолимые препятствия, ее кружит вихрь событий. Шагнуть за пределы Германии ей не суждено.

В Мюнхене она попадает в кипящий котел политических страстей. Будучи членом КПГ, она вместе с восставшими рабочими участвует в провозглашении Баварской советской республики. За это следует расплата. 1 мая 1919 года — арест, около пяти месяцев тюрьмы, потом принудительная ссылка до военного суда. Подконвойное препровождение назад в Мюнхен. Еще несколько месяцев тюремного следствия, судебного разбирательства, вплоть до зимы 1920 года… Начинают сказываться постоянное напряжение и перегрузки. В 1921 году она умирает от разрыва сердца в возрасте 26 лет…

Вот какие последствия имела случайная встреча в лесистых Лауншцких горах в 1916 году… Девушка была хорошенькая, смуглая, черноглазая, пылкая. Звали ее Ханни Мрва.

Судя даже по двукратному запечатлению этой первой встречи в художественных произведениях Федина, тон ее поначалу был враждебным.

— Вы чех? — спросила девушка с тем „оттенком, который делает это слово обидным“.

— Нет, хуже! Я русский, — отвечал молодой человек.

Сама же девушка обнаружила затем интерес к продолжению знакомства.

В Ханни Мрва Федин обрел вскоре преданного друга, единомышленника, духовно богатую личность. У них были одни и те же увлечения, одни и те же любимые книги, и прежде всего, конечно, Достоевский, которого боготворил Костя… Вместе начинали они читать и щедро иллюстрированный художниками-

экспрессионистами журнал Пфемферта „Акцион“…

Об отношениях Ханни с молодым русским пленным знало лишь несколько надежных друзей. Посещение девушкой его жилища требовало от нее немалой смелости. „Так как наша с Ханни жизнь была тайной, — заново захваченный всколыхнувшимися воспоминаниями, заносил на страницы дневника Федин, — то я не был знаком ни с кем из ее семьи, но встречал мать и отца… на улице.

Я помню одну такую страшную встречу и увидел сейчас опять место, где она произошла — ровно напротив Кауфхауза — дома, где я тогда жил и где проходили наши первые скрытые встречи. Ханни возвращалась с воскресной прогулки из Вейнау и шла чинно, немного впереди отца с матерью. Я вышел из-за угла, от Маршталла (где городские весы — Stadtwage) и увидел Ханни прямо против себя, лицом к лицу. И она в ту же секунду увидела меня — никого не было на тротуаре между нами, и сзади все медленно выступали родители. Я видел, как она побледнела, и навек запечатлелся во мне ее обычный жест смущения — у нее вскинулась рука к лицу, и тонкие, чудесные ее пальцы тронули и слегка потрепали висок, будто надо было отвести и заложить за ухо волосы. Испуг ее был ужасен, и у меня упало сердце. Мы прошли мимо друг друга, как два покойника. Ни она, ни я не сбились с шага. Я только мельком глянул на ее родителей, не подаривших меня ни каплей внимания. Бедная моя девочка! Что делалось с тобой в этот миг, если и я совсем окаменел от страха… Конечно, история эта была первыми нашими словами, как только Ханни вновь явилась в моей комнате второго этажа Кауфхауза…“

Драматизм отношений немецкой девушки с „враждебным иностранцем“ особенно подробно развернут Фединым в двух произведениях — в раннем рассказе „Счастье“ (1919) и в романе „Города и годы“. Изображены там и последствия, какие влекло за собой раскрытие тайны.

Рассказ „Счастье“, написанный вскоре после возвращения на родину, включает и прямое упоминание о той, которая с высоким человеческим достоинством переносила выпавшие ей испытания. „Посвящаю спартаковке Ханни М.“ — напечатано в журнальной публикации. В этом рассказе один из благонамеренных германских патриотов, разведав о такого рода отношениях главных действующих лиц, „откопал распоряжение военно-полицейских властей, запрещающее немецким женщинам входить в общение с русскими пленными и клеймящее знакомство с „врагами отечества“ позором и преступлением… Это распоряжение появилось вскоре наклеенным у мельницы, где

работал Андрей, на одном перекрестке и на сосне, возле заброшенной лесной дороги“.

Гораздо круче ведет себя городской управитель в романе „Города и годы“. „Вы проститутка, вы хуже проститутки, которая патриотичнее вас…“ — кричит он на вызванную в служебный кабинет Мари Урбах.

Чувство, вызванное яркой и страстной натурой Ханни, было так сильно, что Федин испытывал тоску по ней даже многие годы спустя после ее смерти. „Я получил на днях разные мелочи из Сызрани, — писал Федин И.С. Соколову-Микитову уже в 1925 году, — среди них письма ко мне женщины, с которой я прожил лучшую часть своей жизни. Все эти письма проникнуты надеждой на встречу и исполнены такого отчаяния… что я был *подавлен,* когда опять (через семь лет!) перечитал памятные листочки бумаги… Теперь мне кажется, что сама смерть пощадила бы этого человека, если бы я был с ним. Я уверен в этом. И вдруг мне приходит мысль, что меня *обманули,* что женщина эта не умерла… Хочется мне одного — уехать в Циттау, на старые места и на старую уже могилу. Может быть, после этого я пойму не только головой, но и душой, что все кончилось“.

В первый же приезд в Германию, летом 1928 года, Федин побывал на могиле Ханни Мрва. В 1945 году, вскоре после освобождения города от гитлеровцев, могилу спартаковки почтили представители советской военной комендатуры. В начале 1961 года Федин снова побывал на старинном кладбище в Циттау, положил букет нарядных оранжерейных цветов и спрятал в кармане кроваво-красную ягоду шиповника, сорванную на память с заснеженной могилы Ханни.

Духовное воздействие личности этой женщины широко отразилось в творчестве писателя. Обликом Ханни навеяны во многом образы страстной и героической Мари Урбах („Города и годы“), преданной Анны („Братья“), своенравной Гульды („Я был актером“), восприимчивой Эльфы („Счастье“).

…Ханни была посвящена в творческие занятия начинающего литератора, о которых не знал никто. Помимо записок о военной Германии, Федин сочинял в 1916–1917 годах первый роман „Глушь“.

Роман насчитывал около трехсот страниц, писанных от руки. Замысел его возник, по-видимому, не без сопоставлений городского мещанского сословия Циттау с обывательщиной отечественной, не без раздумий об их единстве, родстве и отличиях, хотя материал был сугубо российским. Автор широко пользовался впечатлениями от приездов в казачий городок Уральск. В сатирических тонах живописал он быт тамошней

купеческой семьи, особенно сосредоточиваясь на взаимоотношениях между полноправными казаками и так называемыми „иногородними“.

О содержании романа „Глушь“ известно со слов автора. Впоследствии весь основной бытовой и психологический материал был переосмыслен и использован Фединым в романе „Братья“, в тех сценах, где описывается уральское казачество. Это и повлекло уничтожение ученической рукописи, оказавшейся „первичной заготовкой“, теперь ненужной.

В 1916 году Федин завел знакомство с актерами городского театра в Циттау, на сцене которого ставились в основном оперы и музыкальные комедии. Хористы, певцы и музыканты составляли компанию богемную, с вольными взглядами и нравами.

Капельмейстер Рудольф Кваст, сам закончивший войну с тяжелым ранением, видимо, уже осознал бессмыслицу происходящей бойни. Кроме того, после Октябрьской революции 1917 года, провозгласившей Декрет о мире, отношение к русским пленным со стороны германских властей стало смягчаться. В театре не хватало мужских голосов и молодых исполнителей мужских ролей. Большинство способных носить оружие были призваны в армию, оставались одни старики и инвалиды. Русский пленный обладал прекрасным музыкальным слухом, басом красивых баритональных тонов, актерской пластичностью.

Так, неожиданно для себя, Федин получил место хориста в городском театре Циттау. А короткое время спустя выступал уже в сольных оперных партиях на главных ролях…

Сохранилась одна из тогдашних театральных афиш. Вязью огромных готических букв афиша возвещает и зазывает на первое представление оперы „Марта, или Ричмондский рынок“.

В рецензии на спектакль, опубликованной на следующий день после премьеры „Марты“, главная городская газета Циттау не обошла вниманием и Константина Федина, которому (почти как в сюжете расхожих мелодрам о начинающих артистических „звездах“!) представился неожиданный шанс — петь в опере сразу заглавную мужскую партию лорда, влюбленного в фрейлину королевы (она же Марта). Сначала рецензент делает легкий упрек исполнителю, но тут же избирает поощрительный тон: „Константин Федин в роли Тристана Майклфорта, — пишет он, — чувствовал себя на сцене неуверенно, особенно вначале. По нашему мнению — напрасно, да будет это сказано в поощрение, по-видимому, еще молодого человека. У него имеются хорошие голосовые данные и некоторые актерские навыки, но еще требуется упорная работа над собой“.

Сохранившаяся театральная афиша, в свою очередь, могла бы

служить первоначальным „проспектом“ к автобиографической повести Федина „Я был актером“. Под теми же фамилиями выведены и капельмейстер Кваст, и постановщик оперы — директор театра, и обе помянутые в афише партнерши лорда Тристана, и другие актеры городской труппы. Перипетии же выступления на подмостках неумелого новичка в премьере оперы „Марта“ становятся одной из фабульных линий повести.

Театральные выступления Федина протекали настолько успешно, что весть о новом русском солисте распространилась по округе. В мае 1918 года Федин принял ангажемент в качестве певца от театра соседнего городка Гёрлица, где легче было проводить время вдвоем с Ханни. Побежали незаметные месяцы… Но события вскоре приняли иной оборот.

За распространение большевистской литературы, сеющей „пораженчество“, был арестован Розенберг. Федин навестил товарища в Дрезденской тюрьме. Действительный эпизод воссоздан в повести „Я был актером“. „Вам этот визит не забудется… — с улыбкой сказал на прощание Розенберг. — Все это может иметь хорошую сторону: как только начнется обмен пленными, мы с вами вылетим из Германии пробками!“

В августе 1918 года Федин поехал в Берлин, чтобы посетить советское дипломатическое представительство, открытое после заключения Брестского мира. Там он встретил Кете Раух, уже работавшую в советском представительстве. Знавшая обстоятельства жизни Федина и сочувствовавшая влюбленным, девушка приложила усилия, чтобы помочь Федину получить приглашение на службу при посольстве. Это удалось сделать. Федин сдал положенный экзамен и был принят переводчиком в отдел по защите интересов русских военнопленных.

Теперь, когда в жизни стала намечаться хоть маленькая устойчивость, можно было и решительней определить отношения с Ханни… Но тут-то и сбылось пророчество, Розенберга! На посланное германским властям извещение о назначении Федина посольским переводчиком последовала быстрая реакция. Дипломатический паспорт, которого добивался Федин, он получил. Но… вместе с уведомлением германских властей, что сам он тоже включен в об-менные списки пленных. Да, включен в качестве переводи чика, но такого, который, как и все в сопровождаемой им партии русских военнопленных, на обратное возвращение права не имеет. Причем выезд безотлагателен. Федин едва успел съездить в Гёрлиц — проститься с Хаани; и взять вещи…

РОССИЙСКАЯ НОВЬ

Первым при переезде границы было ощущение даже не только душевной, но почти телесной радости от соприкосновения с Отчизной. Его глаза снова видели Россию, ее леса, поля с их позднеавгустовскими красками, он снова пил ее воздух, наслаждался звуками свободной родной речи. И чем дальше уходил эшелон в глубь страны, тем окончательной улетучивалось бессознательно засевшее внутри за эти годы подневольное ощущение пленника и нарастало и выпрямлялось чувство хозяина своей судьбы, чувство свободного человека.

Часть незабываемых переживаний от этой новой встречи с Родиной Федин передал впоследствии одному из персонажей романа «Необыкновенное лето» — Дибичу. В начальных страницах романа Дибич тоже возвращается эшелоном с обменной партией пленных после долголетнего пребывания в германской неволе. По возрасту он почти что тогдашний ровесник автора и даже путь после переезда границы намеревается держать на Волгу, в Саратовскую губернию.

«Сидя в раздвинутых дверях товарного вагона, — читаем в романе, — свесив на волю тонкие в австрийских голубых обмотках ноги, Дибич глядел на землю, проплывающую мимо него в ленивой смене распаханных полос, черных деревенек, крутых откосов железнодорожного полотна с телеграфными полинялыми столбушками на подпорках и малиновками, заливавшимися в одиночку на обвислых проводах… Он умилялся до такой степени, что щекотало в горле… На выгонах… стояли врассыпную, дергая опущенными к траве мордами, низенькие, непородистые, толстобрюхие крестьянские буренушки и пестравки, и мальчуганы в тятькиных долгополых шинелях, привезенных с фронта, заплетали кнуты… провожая поезд медленным поворотом голов в облезлых папахах… Все это было домашне близким, до мелочей памятным и в то же время удивляло, как что-то впервые открытое, невиданное и невероятное… Все казалось больше прежнего родственным и остро задевало душу».

Пока товарный состав, переполненный пленными, подолгу застревая на запасных путях, полз к Москве, Федин лихорадочно наблюдал, сопоставлял, впитывал перемены. Простершиеся вокруг леса, пашни, луга; фабричные и заводские здания, роскошные особняки в городах, мимо которых с грохотом и лязгом пролетали вагоны их состава; станционные домишки на узловых пунктах, куда полагалось бегать за кипяточком и

дневным пайком; почта, телеграф, где можно было бросить письмецо или отбить телеграмму родным; сами теплушки, из открытых дверных проемов которых, опершись на брусчатые перекладины, выглядывали фигуры и лица любопытствующих истомленных пленных… — все теперь принадлежало одному хозяину — народу.

На стенах многих пристанционных зданий порасклеены были свежеотпечатанные листовки и плакаты с текстом и извлечениями статей недавно принятой Конституции РСФСР — первой Советской Конституции, утвержденной в начале июля 1918 года. За каждой строкой стояли десятки и сотни преобразований, уже проведенных в жизнь после Октябрьской революции. Не существовало больше сословных делений и званий — купцы, дворяне, духовенство, мещане и т. п. Былое обращение к людям привилегированных сословий — «господа» — заменило одно общее для всех обозначение: граждане Российской Республики. Самым почетным званием стало — «трудящийся». А самым близким обращением к верному человеку слово «товарищ».

Навсегда исчезло из употребления оскорбительное понятие — «инородцы». Землей владели те, кто ее обрабатывал. Исполнился завет старой революционной песни: «…Шире призыв благородный — восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных». Вместо 10–12, а иногда и 14-часового изнурительного труда на хозяина осуществлялся восьмичасовой рабочий день.

«Кто не работает, тот не ест», «Да здравствует переход всех фабрик и заводов в руки Советской Республики!», «Миру — мир!» — эти и подобные им лозунги бросались в глаза на пути следования эшелона. И написаны они были без прежних «еров», «ятей» и «десятеричных „и“, по новой орфографии, тоже не столь давно введенной правительственным декретом взамен прежней, чтобы сделать письменность более доступной для трудящихся масс.

В иные дни до эшелона доносился дальний гром орудийных выстрелов и треск ружейной пальбы. Это живо напоминало о том, что свергнутые эксплуататоры отнюдь не собираются складывать оружие, что в России уже началась и идет гражданская война. Внутренняя контрреволюция опиралась при этом на поддержку иностранных интервентов. По навязанным Советской Республике грабительским условиям Брестского мирного договора (март 1918 года) германские войска оккупировали Латвию и Эстонию, помогли свергнуть Советскую власть на Украине.

В конце мая 1918 года под влиянием белогвардейской

агитации и с поощрения держав Антанты подняли мятеж около 60 тысяч бывших военнопленных-чехословаков. Мятежники и отряды белогвардейцев захватили значительную часть Сибири, Урала, восстановили старые порядки в Казани, Самаре и других местах Поволжья, соседних с родной для Федина Саратовской губернией.

К вооруженной борьбе против Советской власти перешли соглашательские партии эсеров и меньшевиков. 6 июля 1918 года во время съезда Советов, обсуждавшего Конституцию РСФСР, левые эсеры, стремясь сорвать мирный договор с Германией, убили немецкого посла Мирбаха и подняли мятеж в Москве, вскоре подавленный. О новом гнусном их злодеянии Федин узнал уже на полдороге к Москве. 30 августа 1918 года после выступления Ленина перед рабочими на московском заводе, б. Михельсона, эсерка Каплан стреляла в Ленина отравленными пулями.

Все эти события только еще верней утвердили 26-летнего человека на его общественно-политических позициях, в сделанном им выборе. „Самое сильное чувство, с каким я пришел в революцию после пережитой в плену войны, — вспоминал позже Федин, — было чувство России — Родины. Это чувство не упразднялось революцией, а составляло единство с ней. Большевики были патриоты. Все другие партии были против большевиков, потому что постыдно ушли от Родины. Большевики постыдное отвергали. Все постыдное объединялось с чужими государствами и властями, выступавшими против Родины. Революция платила за это ненавистью“.

Более или менее были ясны и ближайшие планы. Федин намеревался активно включиться в революционную борьбу, хотел заниматься литературным трудом. Если позволят обстоятельства, он надеялся завершить последний курс института и найти способ соединиться с Ханни.

4 сентября 1918 года эшелон, которым ехал Федин, прибыл в Москву. Только десять дней затем были отданы Саратову, свиданию с родными. Несмотря на отчаянные старания Советской власти преодолеть хозяйственную разруху, помощь комбедов и продотрядов в снабжении городов продовольствием, повсюду ощущались последствия затяжной войны. Даже фасады зданий на улицах Москвы за эти годы сильно посерели, внешний вид жителей обтрепался, не то что провинция. Начинался голод. Молодой человек, хотя и уставший от поездки в железнодорожной теплушке, от валяния на нарах с сеном, исхудалый за годы немецкого плена, был еще весь нездешний, „европейский“ — в ботиночках на толстой подошве, в полосатом костюме крупной клетки, в галстуке. Необычный вид парня

внушал подозрения. Случалось, на перекрестках Саратова его останавливал патруль, и матросы в черных бушлатах, перепоясанных пулеметными лентами, в бескозырках с названиями судов Волжской флотилии и с винтовками в руках требовали документы.

Коммерческий институт, куда из Саратова поспешил Федин, сразу восстановил его в списках студентов. В октябре он определился на службу в общую канцелярию Наркомпроса РСФСР. Должность заместителя заведующего позволяла совмещать работу с учебой.

Дом Наркомпроса занимал особняк одного из бывших „именитых“ лицеев. Располагался он неподалеку от Крымского моста, парадный подъезд выходил на Садовую улицу. За день это приметное здание посещали многие сотни москвичей и приезжих…

Народный комиссариат просвещения объединял под своим крылом не только все школьное дело молодой Советской Республики. Пересматривая принципы сословно-буржуазной педагогики, наркомат закладывал и осуществлял новую систему обучения и воспитания детей и подростков, боролся с детской беспризорностью. В его задачи входила работа по введению всеобщей грамотности среди взрослого населения. Наркомпросу подчинялись высшая школа, народные университеты, библиотеки, он опекал науку, искусство, книгоиздание, музейное дело и т. д.

Важнейшие идейно-организационные основы построения новой, социалистической культуры, которые согласно программным установкам партии повсеместно разрабатывались и исходили отсюда, становились активной, действенной силой борьбы масс за новую жизнь. Во главе Наркомпроса стоял А.В. Луначарский, человек энциклопедической образованности. Заместителем наркома был историк М.Н. Покровский. Душой Наркомпроса с первых дней его создания являлась Н.К. Крупская, руководившая важнейшим внешкольным отделом. В Наркомпросе работали также А.И. Ульянова-Елизарова, П.Н. Лепешинский, П.И. Лебедев-Полянский и другие видные деятели партии.

В этом штабе по созданию новой, социалистической культуры общая канцелярия Наркомпроса была хотя и технической, но немаловажной службой. Сюда поступали письма с мест, через общую канцелярию проходила почти вся внутренняя документация, сюда нередко первыми заглядывали приезжие посетители и крестьянские ходоки.

А.В. Луначарский рассказывает о том, какую широчайшую связь поддерживала, например, Н.К. Крупская с учительством, избачами, библиотекарями, с крестьянами: „…Помню, какими

взволнованными глазами читал я маленькое письмецо деревенского пастушонка, который обращался на чрезвычайно своеобразном и крепком языке к Надежде Константиновне со своими нуждами и суждениями“.

Надо полагать, за время работы в общей канцелярии Наркомпроса немало подобных же волнующих человеческих документов прочитал и молодой Федин. Вся обстановка работы в наркомате явилась для него школой идейной и политической выучки.

В здании Наркомпроса Федин впервые увидел В.И. Ленина, однажды заехавшего за Крупской. Было это в самом начале 1919 года. Вождь революции только недавно оправился от тяжелых ранений после покушения на его жизнь. „Ленин ожидал Надежду Константиновну Крупскую, — вспоминал Федин. — Он был в шубе без шапки и прохаживался в узком пространстве вестибюля, между парадной дверью и лестницей, где сидел швейцар.

Сверху так хорошо была видна голова Ленина — большая, необычная, запоминавшаяся с первого взгляда. Завитушки светлых, желтых волос лежали на меховом воротнике. Взмах лба, темя и затылок были странно преобладающими во всем облике… Держа за спиной шапку, он методично, маленькими шажками двигался взад и вперед… Хотя занятия давно кончились и в доме оставалось мало служащих, по комнатам быстро разлетелся слух, что за Надеждой Константиновной заехал Ленин. Помню, как прибегали машинистки из отделов — посмотреть на Ленина, перевешивались через балюстраду и убегали, если он поднимал голову.

То, что Ленин прохаживался возле швейцара, который возился с кипяточком, и то, что кругом запросто появлялись и исчезали переполненные палящим человеческим любопытством служащие, оставило во мне первое покоряющее впечатление о Ленине как о человеке совершенно доступном, непринужденном и ярком своей мужественной простотой“.

Глубоко пережил Федин события ноябрьской революции 1918 года в Германии, восприняв их еще и как большую личную радость. Направляясь в институт, он проходил мимо германского посольства в Москве. В один из ноябрьских дней ему довелось наблюдать, как на здании посольства вместо кайзеровского черно-бело-красного флага водружали революционное красное знамя. Этот эпизод близко к действительности описан в романе „Города и годы“. На свой удивленный вопрос герой произведения слышит радостный ответ немецкого солдата на ломаном русском языке: „Тофарытш нье снаит? Германия органисофаль ссофьет. Германиа Россиа фместье“.

Институт Федин посещал до декабря 1918 года. Затем бросил его, как занятие несвоевременное. Усиливался голод, разгоралась гражданская война. Все больше времени отнимали обязанности по Наркомпросу. К намерению окончить институт Федин уже больше не возвращался.

От Ханни с большими опозданиями то на саратовский адрес, то на московский приходили частые письма. В письме 5 декабря 1918 года она сообщала, что примкнула к спартаковцам и готовится к переезду в Берлин, а где была теперь — в самом пекле событий? „Ну и как ты — начал работать? — спрашивала она. — Имею в виду не те занятия, которые обеспечивают хлеб насущный, а те, о которых ты так часто говорил, которые ты считаешь делом своей жизни“.

Это было невольным укором: литературой он не занимался вовсе.

Невероятно трудной была начавшаяся зима… Однажды Федин познакомился с приехавшим в командировку сотрудником Сызранского уездного отдела народного образования Б.Д. Аркатовским. Помимо прочего, это был фельетонист и газетчик. Он сразу заинтересовал Федина.

Скрытый червь неосуществленного призвания точил молодого начальника канцелярии, среди всех жизненных передряг не отпускал, не давал покоя. Он неузнаваемо переменился с той давней поры, когда весной 1914 года отъезжал в Германию. Обратился в убежденного приверженца большевиков, чуть ли не в „члена советского правительства“, как, не без гордости писала плохо разбиравшаяся в здешних должностных рангах Ханни. Пожалуй, только одно он пронес неизменным через минувшие годы, в одном остался почти прежним. Он уезжал из России и вернулся туда сочинителем, так и не убедившимся в подлинности призвания, в нужности своего труда. Он был и остался автором журнальных „мелочей“, напечатанных в далекой прошлой жизни… Нидефаком… Недофактом… как насмешкой искажался теперь в памяти этот некогда столь обещающе сочиненный им псевдоним.

Разговор с Аркатовским, как позднее передавал Федин, „коснулся журналистики: я мечтал о литературной работе, и его это тотчас подкупило.

— Чего же лучше? — сказал он обрадованно. — У нас есть не занятая работой типография, хорошая бумага, запас красок любого цвета! Организуем журнал, печатайтесь на здоровье! Едем в Сызрань! Журнальчик сделаем не хуже петербургского „Пробуждения“…

— И вы будете редактором?

— Зачем? Вы сами будете редактором, и писателем, и кем хотите! Отдел народного образования пойдет на это с великой охотой. Заведующий отделом мой друг, чудесный парень!

…Я мучительно хотел стать литератором. Робость, неумение сколько-нибудь приблизиться к литературным или газетным кругам мешали мне… Жажда печататься не давала мне покоя“.

Общая направленность деятельности будущего журнала для участников беседы, происходившей в стенах Наркомпроса, долгих разъяснений не требовала. Редакция нового печатного органа составила бы „издательский подотдел“ в Сызранском отделе народного образования и взялась бы проводить на месте основные идеи Наркомпроса. Внутренняя подготовка для этого у Федина уже была.

Новая, социалистическая культура может создаваться лишь в гуще масс, не только в крупных городах и столице, а одновременно на всей бескрайней территории страны. Эта идея увлекла Федина. В первой же „программной“ статье, опубликованной в сызранской газете под названием „Журнал в провинции“, он писал: „Столицы — мозг и душа пролетариата — перегружены работой, чаще и чаще раздаются оттуда призывы к непосредственному участию провинции в культурной работе государства… тем более что центр не в состоянии играть роль поводыря в каждом отдельном случае… Поэтому все, что может сделать провинция, она обязана сделать, не теряя времени“.

Место возможной журналистской деятельности располагалось в „прифронтовой зоне“. О сделанном ему предложении Федин написал родным в Саратов, которым он посылал денежные переводы из своей зарплаты… За эти переводы его отчитывала в письмах мать, не без оснований считавшая, что по сравнению с Саратовом в Москве голодный мор, и отправлявшая для поддержки сына посылки с сухарями и чечевицей. Положение домашних тоже было не из легких. Разорившийся еще при Временном правительстве Александр Ерофеевич получал маленькое жалованье бухгалтера в Саратовском пролеткульте. Почти полгода болела сестра Шура, страдавшая наследственным туберкулезом. Требовалось много средств па жиры, на молоко, на лечение. Слабенькая здоровьем Анна Павловна вынуждена была обихаживать всю семью — мужа, зятя, больную дочь и двух внуков — „ворочала чугуны“ на шестерых. Надорвавшись, она серьезно занедужила. Об этом она и сообщала в ответном письме.

Среднее Поволжье было одним из центров гражданской войны, здешние города часто переходили из рук в руки. Анна Павловна писала: „Насчет Сызрани, Костенька, подумай

хорошенько… Ведь сколько раз поволжьи города переходили из рук в руки, как бы не поплатиться жизней…“ И еще: „Хочется пожить с тобой, уж очень чувствую себя плохо, очень надорвала свое сердце, ведь одна была с июнь месяца… Я себя ругаю за то, что отпустила тебя в Москву, устроился бы здесь“.

Но Федин уже принял решение. В конце февраля 1919 года он выехал на новое место работы.

Немногим более пятисот верст от Москвы до Сызрани поезд тащился трое суток. В битком набитых вагонах плавал синий махорочный дым, стояла густая смрадная духота. Три ночи Федин спал на одной полке с человеком, которого в конце пути сняли с поезда как заболевшего сыпным тифом.

При Сызранском уездном отделе народного образования действительно все обстояло так, как рассказывал Аркатовский.

Водил по типографии новоприбывшего Алексей Колосов,[6] двадцатидвухлетний парень, в солдатской гимнастерке, с торчащим хохолком, ходивший вприпрыжку. Хотя держался строго, но и он вздохнул, показывая здешние типографские сокровища и печатные припасы: „Сам бы издавал журнал!.. Но видишь, товарищ Федин, что у нас тут творится… После недавнего бандитского мятежа и партийных мобилизаций нет кадров. Я завнаробразом, я же редактор уездной газеты, я же теперь буду еще и председателем горисполкома… Так что давай, товарищ Федин!“ Он был человек бывалый, из студентов, на пять лет младше. Напускал официальность.

Накопления литературной энергии и страсти, столь долго вынужденно сдерживаемых, определили деятельность Федина, принявшего обязанности редактора.

Вскоре программа журнала была готова. Назывался он „Отклики“. С подзаголовком: „Ежемесячный пролетарский журнал литературы, искусства, политики, науки“. Смысл названия поясняло заявление „От редакции“: „Товарищи! Наш журнал должен стать откликами вашей жизни, ваших мечтаний и вашей революционной борьбы…“

Программу журнала утверждали и два постоянных эпиграфа. Рядом с девизом „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ один прозаический: „Народ и искусство растут и цветут вместе“. Другой эпиграф, тоже повторявшийся затем в каждом номере, — стихотворный, тайная гордость Нидефака:

Иди ж, иди, прекрасная Богиня,
В жилища бывших пасынков судьбы,
Где мрак стоял, где свет струится ныне —
Искусство светит миру из избы!

Первый номер вышел 30 марта 1919 года. На мягкой зеленоватой обложке слово „Отклики“, оттиснутое крупным письменным, с завитушками шрифтом, было изображено двумя красками: оранжевые языки пламени как бы лизали черные буквы названия. Журнал был тонким, состоял из двадцати шести страниц большого формата.

В номере участвовали чуть ли не все наличные литературные силы. Тут был и фельетон Б. Аркатовского, и прозаическая „мелодекламация“ А. Колосова, написанная с явным подражанием горьковской „Песне о Буревестнике“. Стихи. Статьи на международные темы. Разделы „Хроника“ и „Почтовый ящик“.

Широко было представлено творчество самого редактора. Под псевдонимом Конст. Алякринский он начал печатать еще не оконченный им рассказ „Счастье“. Под собственной фамилией — Конст. Федин — поместил статью „Максим Горький“, претендовавшую на итоговое осмысление творчества писателя в связи с его пятидесятилетием, и статью „На открытие Пролеткульта“… Надо учесть при этом, что тот же редактор был и единственным творческим сотрудником в штате.

В дальнейшем печатались на страницах „Откликов“ будущие писатели — А. Колосов, П. Дружинин, К. Горбунов, известные в то время поэты Ф. Шкулев, Н. Власов-Окский, П. Заволокин. Корреспондентским активом была местная интеллигенция, рабочая ж крестьянская молодежь. Помимо выпуска журнала и обильного заполнения многих его рубрик собственными материалами, Федин еще и снабжал постоянными фельетонами и статьями городскую газету.

Около 60 произведений за восемь месяцев опубликовал молодой литератор в сызранской печати. Во множестве посыпались на печатные страницы разные литературные имена — Конст. Редин, К. Алякринский, Петр Швед, Конст. Федин, а первоначальный псевдоним, гордый, одинокий Нидефак, перестал существовать навсегда.

„Короткие месяцы работы в Сызрани, — обобщал Федин, — оставили сильный отпечаток на всем моем жизненном пути. Кроме выучки газетчика, которому приходилось писать все — от передовых статей и фельетонов до театральных и книжных рецензий, или вести наряду с городским репортажем международный обзор, — революционные поволжские события дали мне неиссякаемый материал для писательского труда“.

Заряд идей, глубоко воспринятых и выношенных в Наркомпросе, явно вдохновляет и направляет при этом

деятельность публициста.

В статье „На открытие Пролеткульта“, помещенной в первом номере журнала „Отклики“, Федин высказывается за необходимость руководства партии построением пролетарской культуры, против пренебрежительного отношения к классическому наследию, за творческое его развитие и обогащение в новых условиях. „Старая культура буржуазного государства, — пишет он, — наряду с созданием абсолютных ценностей, то есть таких, которые полезны или необходимы при всяком социальном строе, создала множество бутафорских, мнимых и лживых понятий и институтов“. Вот почему, по его выражению, „удовлетвориться популяризацией и распространением достижений старой культуры — значит горящий факел воткнуть в снежный сугроб“. Это губительно. Однако же строить новое можно, лишь основываясь на лучших достижениях предшествующего духовного развития человечества, овладев ими и развивая их. „Каждый очаг пролетарской культуры, — призывает редактор, — должен… пробудить все силы, способные продолжить и расширить эти завоевания“.

Этим общим принципам Федин следует не только при редактировании журнала. Развивает он их и в многочисленных выступлениях на страницах сызранской печати, посвященных проблемам педагогики („Труд в школе“), организации Домов народного творчества („О проекте тов. Ильина“) или опыту деревенских библиотек-передвижек („Передвижные библиотеки“) … Много пишет Федин и о зарубежных политических и революционных событиях („Что делают союзники“, „Спартаковцы“, „Венгрию душат“ и др.), а также как литературный и театральный критик…

Первые недели в Сызрани были омрачены переживаниями, вызванными смертью матери. Болезнь водянки, которой Анна Павловна страдала несколько лет, усилилась после того, как она подорвала сердце, целиком приняв на себя непосильный домашний труд. „Особенно плохо она и начала чувствовать себя со времени моей болезни, — сообщала позже Федину сестра Шура. — Здесь она надорвалась… Ежедневное ворочанье из печки в печку горшков да чугунов дало себя знать очень скоро…“

Анна Павловна умерла 21 февраля 1919 года. Горе чувствовалось тем острее, что при тогдашних обстоятельствах не было никакой возможности добраться до Саратова, чтобы успеть на похороны.

„Я все перечитываю твое письмо, дорогой отец, — писал Федин в эти дни подавленному потерей Александру Ерофеевичу. — Мне кажется, что я часто бывал несправедлив к

тебе, отдавая всю любовь свою и все тепло милой покойной матери… Помни, что ты не совсем одинок и что я ни при каких условиях жизни не могу забыть, как много ты для меня сделал…“

Пожалуй, самым удачным получился четвертый номер „Откликов“, вышедший 1 мая 1919 года. Он продавался на первомайской демонстрации, вызвал широкое одобрение читателей, и редактор пожалел, что отпечатал недостаточное количество экземпляров.

Вообще же тираж журнала не превышал 300 экземпляров, учитывая около полусотни подписчиков. Обретение каждого нового постоянного читателя превращалось в праздник для молодого сызранского актива. „Но я помню, как мы гордились, что вся подписка поступала из деревни! — писал Федин. — Нельзя ведь забывать, какое было время, когда Колчак приближался к Волге и в соседнем Ставрополье, да и в самом Сызранском уезде вспыхивали кулацкие мятежи, восставали „чапаны“. В похоронах жертв кулацкой расправы доводилось участвовать и Федину. Сельские жители, заявлявшие о своих политических симпатиях подпиской на советские издания, не всегда чувствовали себя в безопасности. Драгоценной была каждая новая живая нить из глухой деревни в город.

К лету сроки выхода журнала, начатого как „еженедельный пролетарский орган“, затем „ежедекадник“, стали утрачивать определенность. Журнал запаздывал. Редактора все больше поглощали другие неотложные дела.

Это была прежде всего агитационно-пропагандистская и организаторская работа. Федин выступал на многочисленных митингах и собраниях, читал лекции по политэкономии на краткосрочных курсах для советского актива. В июле к прежним обязанностям прибавились новые, Федина назначили секретарем Сызранского горисполкома (председателем исполкома был Алексей Колосов). В начале октября он стал вдобавок и редактором городской газеты „Сызранский коммунар“…

Удивительно, что при этом он успевал еще и сочинять прозу. Рассказы „Счастье“ и „Дядя Кисель“, напечатанные в Сызрани, оказались уже творческими подходами к будущему роману „Города и годы“. Рассказ „Счастье“ содержал первоначальный набросок образа главной героини, а Дядя Кисель стал впоследствии там одним из персонажей. Именно в это время возник также замысел рассказа „Сад“, принесшего позже заметную известность молодому автору.

„Я поселился в Сызрани, — врпоминал Федин в 1922 году. — И здесь протекала *моя* революция. Я говорил речи… в Пролеткульте, с балкона, в исполкоме, на площадях, по-русски,

по-немецки. Усольским мужикам — о мировой революции, мадьярам и немцам — о принципах трудовой школы, сызранским мукомолам — о спартаковцах и Бела Куне, школьникам — о Советской Баварии и многих других прекрасных вещах. Я основал журнал и из кожи лез, чтобы в нем писали репьевские, паньшинские, соловчихинские мужики. Я редактировал газету, был лектором, учителем, метранпажем, секретарем городского исполкома, агитатором. Собирал добровольцев в Красную конницу, сам пошел в кавалеристы… Этот год — лучший мой год. Этот год — мой пафос".

1919-й был решающим, поворотным моментом гражданской войны. И именно он отмечен особым взлетом революционной активности молодого литератора. Восемь месяцев прошло в Сызрани. Весна, лето, осень, до октября. И если весь 1919-й, по словам Федина, — „лучший мой год", „мой пафос", то лето было воистину необыкновенное… „Необыкновенное лето" — так и будет назван почти через тридцать лет роман трилогии, описывающий в значительной мере этот период.

К октябрю 1919 года положение на фронтах гражданской войны осложнилось. Деникин нацеливался на захват Тулы — „ворот к Москве". Наступающие войска Юденича приближались к Петрограду… Была объявлена мобилизация партийно-советского актива.

Во второй половине октября Федин уже ехал в Москву, чтобы получить назначение в одну из частей Красной Армии.

Журнала „Отклики" к тому времени не существовало. Он прекратился на седьмом номере… Слабость творческих сил в уездном городе и близлежащей провинциальной округе, профессиональная неопытность редактора определяли литературно-самодеятельный налет в облике журнала, отвлеченную риторичность значительного числа публикаций, их недостаточную связь с событиями местной жизни. „Все это так… — подытоживал Федин в 1952 году. — Но теперь больше, чем прежде, я сознаю также, как много почерпнул из своего начального малоудачного редакторского опыта… Восемь месяцев сызранской жизни заняли большое место в моей писательской судьбе… Отсюда и пошла моя литературная дорога".

Московский ПУР РККА направил Федина в Петроград, в политотдел Отдельной Башкирской кавалерийской дивизии.

Было это в самый разгар наступления Юденича на Петроград. Четыре полка дивизии сражались на фронте. Особенности политической работы, в которую включился молодой журналист, он описывает в статье „О красных башкирах" („Петроградская правда", 1919, 16 декабря). „Формирования башкир, — отмечает

Федин, — несомненно труднее формирования русских частей… Работа политическо-просветительная и агитационная затрудняется в башкирских частях почти полным отсутствием культурных работников, низким процентом грамотности среди башкир, юностью, по сравнению с русской, организации и другими непреоборимыми препятствиями… Красные башкиры дают нам пример храбрости и самоотверженности на полях, где решается участь не только русской, но и башкирской свободы…“

Основной обязанностью Федина было распространение газет и другой политической литературы на башкирском и русском языках в районе боевых действий. Писал Федин и для дивизионной газеты „Салават“, также выходившей на двух языках. Одна из подписанных им передовиц настолько выделялась среди обычного уровня публикаций дивизионной многотиражки, что на способного автора обратило внимание командование. Скоро Федина перевели во фронтовую газету 7-й армии.

Это событие почти на двадцать лет связало его жизнь с городом на Неве.

„Осенью 1919 года, в дни, когда залпы батарей Юденича были слышны в Петрограде, — вспоминает о первом появлении Федина старый коммунист писатель А.Г. Лебеденко, — в редакцию "Боевой правды" — газеты 7-й армии, оборонявшей Петроград и огромный фронт от Мурманска до Пскова, вошел высокий худощавый голубоглазый человек. Был он в сильно помятой папахе, серых обмотках, видавшей виды шинели и с огромным маузером на боку… Работали мы вечерами, ночью… В повседневную газетную работу Федин вносил элемент настоящего творчества. Под его пером солдатские письма и фронтовые впечатления оживали и превращались в заметки и фельетоны…"

Суров был Петроград конца 1919 года. Город обратился в крепость. Штаб Петроградского укрепленного района помещался в центре — в Петропавловской крепости. Белое командование уже разглядывало город в бинокли с Пулковских высот… Тогда Красная Армия и рабочие отряды, вспоминал Федин, «…сделали напряжение, которое многим могло казаться немыслимым… Следы этого героического напряжения долго несли на себе каждая улица, каждый дом… В городе жила одна треть населения мирного времени. Многие только уже доживали. Люди страдали от голода, от сыпного тифа, они замерзали, они мучились тысячами мельчайших лишений и болезней… Черным бесконечным пещерам подобен был город по ночам. Выходя в четыре часа утра из редакции, я не встречал… ни одной души. В безмолвии и тьме иногда возникал патруль, проверявший ночные

пропуска, и вновь сливался с безмолвием и тьмой.

Но эта голодная, ледяная крепость жила неумирающей верой в свое фантастическое завтра».

В те напряженные месяцы, когда решалась судьба революции, молодому журналисту, официально занимавшему должность помощника редактора, приходилось совмещать всякие обязанности. Очень пригодились навыки типографского дела. Часто Федин вел ночную верстку газетного номера.

В бессонные часы типографской работы завязалось близкое знакомство с тогдашним редактором комсомольского журнала «Юный пролетарий» А. Дороховым, которое поддерживалось затем несколько десятилетий. «Попутно Федин выполнял обязанности выпускающего „Боевой правды“… — рассказывал А. Дорохов. — Наборная, в которой он расклеивал для верстки свою газету, оказалась по соседству с той, где размечал свои „странички“ и я… Константин Александрович жил тогда в крохотной комнатке на Стремянной улице, неподалеку от типографии „Петроградской правды“. И чтобы мне не тащиться ночью через весь город… Федин предложил мне оставаться ночевать в эти дни у него.

Приходя домой, мы прежде всего растапливали времянку, слегка обогревая выстывшую за ночь комнату. Затем Константин Александрович доставал из отдушины давно не топленной кафельной печки свой НЗ — мешочек с привезенными еще из Сызрани черными сухарями. Мы выпивали по кружке кипятка с сухарями и… укладывались спать, укрывшись каждый своей шинелью».

…Потерпев поражение на подступах к Петрограду, далеко откатилась, а затем и бесславно распалась армия Юденича. Непоправимый удар Красной Армии получили и войска Деникина. В ходе гражданской войны наступил перелом, стал виден ее конец.

Все острей возникали проблемы мирного строительства. В феврале 1920 года была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО) во главе с Г.М. Кржижановским. Знаменитый план ГОЭЛРО, утвержденный высшими органами Советской власти, явился первым в истории человечества перспективным планом развития народного хозяйства. Его основу составляло строительство 30 крупных электростанций. План ГОЭЛРО казался дерзким и невероятным в обстановке разрухи, голода и эпидемий. Введение этих энергетических мощностей преобразило бы облик России.

Осуществить планы экономического строительства,

намеченные партией, нельзя было без идейно-политического просвещения и воспитания масс, без глубочайших культурных преобразований в стране. Культурная революция, теоретически обоснованная В.И. Лениным, явилась важнейшей составной частью всего плана построения социализма в СССР.

Критическая переработка и освоение богатств, созданных человечеством на его многовековом пути, во всех областях культуры, знаний, техники, литературы, искусства, и формирование с помощью творческого их усвоения новой, социалистической культуры, плодами которой во всей полноте пользуются народные массы, — это не могло быть делом скорым. В своих статьях и выступлениях начала 20-х годов Ленин отмечал длительность исторической полосы и огромные трудности проведения культурной революции в России. «Для нас достаточно теперь этой культурной революции, — писал он, — для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны) и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие средств производства, нужна известная материальная база)». «У нас политический и социальный переворот, — подчеркивал Ленин, — оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим».

Важнейшим средством культурных преобразований в стране было печатное слово — плакат, газета, журнал, книга, учебник. Со страниц периодических изданий пером художника и публициста вели разговор с читателем писатели старшего поколения, отдавшие талант революции, — А. Серафимович, Д. Бедный, А. Блок, В. Маяковский… Вступил в партию и работал в Наркомпросе В. Брюсов. В 1919 году по инициативе Горького, поддержанного В.И. Лениным, возникло издательство «Всемирная литература». Заново открыть для читающих на русском языке полторы тысячи названий самых значительных явлений литературы всех времен и народов — таков был замысел.

Тем острее и неотложней становилась задача решительного повышения грамотности среди взрослого населения страны. Между тем даже детское обучение в школах затруднялось разрухой. «В 1920 году, — свидетельствуют историки, — Наркомпрос получил на полугодие для распределения среди учащихся в среднем один карандаш на 60 учеников, одно перо — на 22, одну ручку — на 12, одну тетрадь — на 2, одну чернильницу — на 100 учеников». Газеты расклеивались на витринах, на заборах, но и это не спасало положения. Бумаги не

хватало. Многие редакции крупными буквами печатали призывы: «Товарищ, не уничтожай газеты», «Прочти и передай соседу», «Прочитай ее неграмотным и передай в читальню».

26 декабря 1919 года В.И. Ленин подписал декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Он распространялся на все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее ни читать, ни писать. Документ был исторического значения. Если в развитых промышленных странах, например в Швейцарии, на 1000 жителей приходился только один неграмотный, то в царской России на 1000 человек населения почти 800 были неграмотными. 49 национальностей не имели своей письменности. В кратчайшие исторические сроки предстояло преодолеть проклятье прошлого, сделать рывок из темноты к свету.

Движение за ликвидацию безграмотности обретало массовый размах. На стенах пестрели плакаты: «Долой неграмотность!», «Грамотность — меч, побеждающий темные силы», «Неграмотность — резерв контрреволюции!» Был создан первый советский букварь для взрослых. С 1920 года для малограмотных начал выходить специальный журнал, где статьи печатались крупным шрифтом.

Штабом патриотического движения, которое осуществлялось на местах с помощью партийных, советских организаций, комсомола, интеллигенции, с осени 1920 года стал Главполитпросвет под руководством Н. К. Крупской. Позже было создано и Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». Первыми вступили в него В.И. Ленин, М.И. Калинин, А.В. Луначарский, Н.И. Подвойский, А.С. Бубнов. Председателем общества был М.И. Калинин. В «ликбезах», содержавшихся на средства общества, где занятия вели активисты, учились читать и писать сотни тысяч и миллионы взрослых.

В 1920 году Федин продолжал сотрудничать в «Боевой правде». Он затевает в газете «Литературную страницу» для одаренных военкоров («Красноармеец-писатель»), рецензирует новый «Спутник политрука» («Нужная книга»), откликается на международные события («Либкнехты — отец, сын и внук»)… Вместе с тем внимание молодого публициста все более привлекают основные проблемы происходящей в стране культурной революции.

Вслед за революционными писателями старшего поколения Федин выступает против элитарной, кастовой культуры той части старой интеллигенции, которая после происшедших в стране коренных перемен замкнулась в себе и стремится отгородиться от

запросов и потребностей трудящегося человека.

Один из столпов и носителей этой замкнутой образованности обобщенно запечатлен Фединым на страницах «Петроградской правды» в фельетоне «Забор». Когда к почтенному и в прошлом заслуженному деятелю обратились с просьбой написать для газеты, тот с усмешкой ответил: «Простите, но я на заборах не только не пишу, но и не читаю». «Известный общественный деятель, — ядовито замечает Федин, — хотел сказать, что он считает ниже своего достоинства печататься в газетах, которые расклеиваются на заборах». Печатное слово, обращенное к массам, для таких людей выглядит «заборной литературой», чуть ли не воплощением пошлости. Они не хотят замечать необратимых перемен в жизни. «Скучных, серых, монотонных заборов, тянущихся когда-то в городских предместьях, не стало… — пишет автор. — В жизни они давно превратились в приспособленные для печатного слова витрины… На этих витринах отмечается решительно все, что волнует, занимает, развлекает нового человека» («Петроградская правда», 1920, 4 июля).

Особый интерес публициста вызывает небывалое историческое явление — массовое соединение народа и грамоты. Федин много и взволнованно пишет на эти темы, анализирует их с разных сторон. «Научится!», «Жажда (На выставке народного образования)», «Лесной факультет (Народное образование в провинции)», «О том, как Васька-ходок букварь достал»… — вот только некоторые названия из серии статей и очерков, напечатанных Фединым в петроградских газетах.

«Великое таинство» — так назван один из очерков, где молодой писатель в живых красках обобщает смысл происходящих процессов («Петроградская правда», 1920, 7 марта). Какой предстанет перед вами жизнь большого современного города, если вообразить, что вы не знаете ни одной буквы, ни одной цифры, ни одного печатного знака? Безглазо глянут на вас вывески, афиши, названия улиц, номера домов и трамваев. Вы словно ослепнете, утратите множество связей с миром, бегущая вокруг жизнь покажется беспорядочно огромной и пугающей. Примерно такие ощущения испытывает герой очерка Федина — «замухрастый мужичонка, в стертых лаптях и пропотевших портянках», впервые попавший в незнакомый большой город. Он топчется под вывеской на углу Рождественской улицы, примеряясь, у кого бы из занятых собой прохожих спросить: «А скажите, пожалуйста, где здесь Рождественская улица?»

В этого неграмотного мужичка, представляющего собой

восемь десятых населения России, и перевоплощается писатель. Безграмотность — это вечная придавленность и униженность человека, который в общественных учреждениях, при любой надобности гражданской жизни, непонимающе и придурковато моргая, вместо подписи ставит крестик. Безграмотность — это беспомощность зрячего слепца, который растерянно топчется в ожидании поводыря на перекрестке жизни. Грамотность — это возвращенное человеческое достоинство, это обретенное зрение, это другая судьба. «Свершается великое таинство, — пишет Федин. — Народ русский… на развалинах тьмы и невежества приобщается священнейшему дару человеческого духа — грамоте… И если самовлюбившаяся цивилизованная душонка спросит меня теперь ехидно, знаю ли я грамоте, я, русский замухрастый мужичишко, возьму уверенно перо в свою руку и отомщу за все невежественное, дикое, безграмотное прошлое, освобождение вздохнув и начертав на бумаге свое имя».

Гордость за уже проделанное в невероятно трудных условиях звучит в очерке «Жажда (На выставке народного образования)». Вместе с тем публицист подмечает и негативные явления. Интересен сатирический очерк «О. том, как Васька-ходок букварь достал (Сон фельетониста)» («Петроградская правда», 1921, 16 января). Действие происходит в деревне, для которой автор выбирает характерное название — Несветаевка. Разбуженное в народе движение надо щедрей и обильней поддерживать — подготовкой учителей, выпуском учебников, открытием изб-читален и т. д. — такова мысль публициста.

Свой очерк «Великое таинство» и статью на ту же тему «Научится!» («Петроградская правда», 1920, 18 июня) Федин через короткое время объединил в брошюру, которой дал широкое, утверждающее название — «Светает». Иллюстрировал брошюру талантливый художник Владимир Конашевич. В 1921 году она вышла в петроградском Госиздате. Эта тонкая, но боевая публицистическая книжечка в четырнадцать страниц и явилась первой книгой Константина Федина.

В Петрограде постепенно налаживался неприхотливый быт, развертывалась литературно-художественная жизнь. Мысли о завтрашнем дне, о своем писательском призвании все настойчивей возникали и у Федина.

Вчерашний провинциальный журналист чувствовал себя неуверенно в большой невской столице литературы и искусства. За пределами армейской газеты его почти никто не знал. А ведь ему было уже 28 лет, без малого три десятка. И что ждало впереди? Полная неопределенность, бездомность,

неприкаянность. С какой стороны ни посмотри.

От Ханни давно уже не приходили письма. Где она? Жива ли? Да и удастся ли когда-нибудь свидеться? После подавления революции в Германии, если не обманывать себя, Ханни отрезана от него, осталась в прошлой жизни, шансов встретиться с ней почти что нет. А он устал, измотался за прошедшие годы, пожелтел, исхудал, оголодал, обносился, стал на себя не похож. Нажил уже и язву желудка.

Да и вообще, кто он такой? Писатель? Но где тогда его труды? Почти десять лет он только и делает, что пишет, пишет и пишет, а где подтверждения верности избранной дороги? Читатели, книги, признание? Кто, в конце концов, сказал, что у него есть художественный дар, крупный талант? Нельзя же полагаться на мнения горстки уездных ценителей, которые, по простоте сердечной, восторгались его рассказами в «Откликах»? Как мизерны эти прозаические опыты в городе Пушкина, Гоголя и Достоевского! Вот если бы можно было получить оценку настоящего крупного художника, услышать решающее слово большого мастера литературы, тогда… Тогда можно было бы с открытыми глазами строить дальнейшую жизнь. А вдруг он только журналист, газетчик? Но нет! О, если бы теперь, после всего виденного и пережитого, ему дали бы только один год, избавленный от повседневной служебной лямки, от отвлекающих помех, от добывания куска хлеба! Один только год спокойной работы за письменным столом! Он бы себя показал! Но откуда взять этот год, как его выкроить и обеспечить? Он не хочет ведь отстраниться и от общественной жизни, от своих обязанностей перед тем, что происходит вокруг.

«Как скромны мои желания! — писал Федин сестре 1 февраля 1920 года. — Мне нужно только один год спокойного существования… Только часть богатства, накопившегося в воображении, должен я занести на бумагу. Только часть! И тогда все покатится без особых усилий, толчков, крушений. Правда, для этого нужно еще одно условие — нормальная общественная жизнь. И трудно сказать, что важнее — моя личная жизнь, с такими небольшими требованиями, как покой, или общественная, в которой только и возможно для меня найти осуществление надежд, которыми живу.

Какая трагедия!.. Но неужели еще долго, долго придется биться об лед, как рыбе?»

К тому моменту, когда писались эти строки, Федин уже дал ход другому письму, в которое вкладывал надежду обрести внутреннее равновесие. К письму были приложены оттиски рассказа «Дядя Кисель», большой журнальной статьи «И на земле

мир», печатавшихся в Сызрани, и рукопись нового рассказа «Прискорбие».

Пакет был адресован А.М. Горькому и передан в приемную петроградского издательства Гржебина, где имел постоянный рабочий кабинет писатель.

В этом исполненном доверия письме от 28 января 1920 года Федин просил о «решающей оценке» своих литературных усилий. «…Вся моя жизнь слагалась до сих пор так, — писал он, — что я ни разу не встретил оценки моих способностей, оценки, которой я мог бы поверить… О такой решающей оценке я и прошу вас.

Воспитав себя в мысли, что я — беллетрист, я иду ощупью, то отчаиваясь, то загораясь уверенностью… У меня нет и не было живого учителя, который сказал бы: вот это дрянь, а это — хорошо.

Мне кажется иногда, что мои рассказы — публицистика… и, может быть, я должен искать себя в ней?

В дни отчаяния чувствую я, как вот-вот готова рухнуть вера моя в себя-писателя… То, что я посылаю вам, — не лучшее, но и не худшее из моих работ — мое обычное… О том, что они скажут вам, прошу вас дать знать мне письменно или как найдете удобнее».

О развернувшихся затем событиях Федин извещал сестру большим письмом от 2 марта 1920 года. Молодой литератор парит на крыльях радости. С высоты этого полета он уже не помнит о тех «пропастях», в которые падал всего месяц назад. Он так рассказывает о происходившем: «Через две недели я получил приглашение от Горького прийти к нему. Однако это свидание, вследствие отъезда Г[орького] в Москву, не состоялось. И только 25 февраля (представь, это был день моего рождения!) я встретился и познакомился с Алексеем Максимовичем. Родная моя! Я верил в себя, знал, что я — не рядовой борзописец, надеялся на хороший прием. Но то, что я пережил, превзошло *все* мои ожидания. М. Горький принял меня как друга, больше того — как писателя. То, что я услышал от него о моих работах, захлестнуло меня неожиданностью. Это была критика, с какою подходит мастер к мастеру, разбор, который, при всей его нещадности, говорит исключительно за, и ничего против. „Вы можете писать… можете. И я боюсь сказать… но все зависит всецело от вас…“ Но, Шура, разве можно передать словами то, что было сказано взором, улыбками, лицом, движениями?! Когда я вышел из его кабинета, у меня закружилась голова. Это был не просто „успех“, „удача“. Это был триумф…

Уже на следующий день Горький передал мне приглашение прийти в издательство „Всемирная литература“ и познакомиться

с критиком К.И. Чуковским. Вечером я читал Чуковскому и писателю А.Н. Тихонову свой последний фельетон и „Дядю Киселя“…»

В книге «Горький среди нас» запечатлен внешний облик великого писателя, каким увидел его Федин в тот промозглый, совершенно петербургский день конца февраля 1920 года: «Горький пришел с улицы, закутанный, в меховой шапке, с поднятым высоким воротником долгополой шубы. Я видел его первый раз в жизни. Он был очень большой. Все, кто находился в комнате, когда он пришел, как-то укоротились и стихли. Я мельком увидел его бледное лицо, вылезший из-под воротника мокрый от дыхания светлый ус. Вся его стать — походка и сложенье, то, как он сделал несколько шагов по комнате, пожимая руки служащим, — напомнило мне что-то знакомое по Волге, простонародное, пожалуй — мещанское, — очень сильное, складное и в то же время отягощенное давнишней усталостью… Он прошел к себе в комнату».

Среди издательских служащих, находившихся в приемной, с кем обменивался рукопожатиями Горький, возможно, был и тот человек, который остался «за кадром» в позднейших мемуарах. Этот посредник вручал Горькому рукописи и письмо. «С месяц тому назад, — сообщал Федин сестре 2 марта 1920 года, — через одну знакомую мне удалось передать письмо, рукопись рассказа… и оттиски двух вещей… Максиму Горькому».

Что означала эта скромная услуга для неприкаянного, неуверенного в себе, полуголодного, исхудалого, как жердь, дошедшего уже до отчаяния, безвестного провинциала — говорить излишне. Он передавал через посредника мольбу о решении своей литературной судьбы.

Не исключено, конечно, что вручить рукописи и письмо для этого человека было обычной служебной обязанностью. Но, возможно, здесь с самого начала было замешено и чувство. Может, с симпатией и состраданием скользнул по лицу посетителя, по его старой, обвислой шинели улыбчивый взгляд спокойных черных глаз и встала из-за своего стола ему навстречу эта невысокого роста смуглая привлекательная женщина. Еще больше обласкала взглядом, взяла бумаги, успокоила. Да, да, не волнуйтесь, все будет сделано! И, может, нашла сказать Горькому еще какие-то нужные слова.

Этим милым доброжелательным человеком была двадцатипятилетняя машинистка книгоиздательства Гржебиина Дора Сергеевна Александер, знакомство с которой быстро переходило в увлечение и нежную дружбу.

В голодном обледенелом Петрограде Горький собирал и

поддерживал живые силы художественной культуры, особенно заботясь о молодых работниках искусств, чье творчество было одухотворено идеями революции. Он основывал новые книжные издания, печатные органы, оказывал разнообразную материальную и бытовую помощь бедствовавшим писателям, художникам и ученым. Встреча с безвестным армейским журналистом была эпизодом в его широкой деятельности по строительству новой советской культуры.

Играя выдающуюся роль в сплочении интеллигенции на платформе Советской власти, Горький к тому времени, как известно, еще не окончательно преодолел некоторые противоречия и ошибки в оценке движущих сил революции. Великий писатель преувеличивал напор частнособственнической стихии и опасности крестьянского анархизма в такой стране, как Россия, склонен был умалять способность рабочего класса возглавить союз с крестьянством и повести его за собой, нередко с позиций отвлеченного гуманизма судил об интеллигенции. Эти ошибки и колебания Горького решительно критиковал Ленин, заботливо и тактично помогая писателю найти пути к их исправлению в самой революционной действительности.

Не прекращая теоретических споров вокруг имевшихся расхождений, вождь партии стремился прочнее привлечь Горького к практике строительства социалистического общества, сосредоточить его усилия на потребностях и нуждах живой действительности, открыть все возможности его гению для служения народу. Многообразные начинания и кипучая энергия Горького по развитию новой, социалистической культуры неизменно встречали внимание и поддержку руководства партии и государства. С чуткой уважительностью относился Ленин к труду писателя, к особенностям психологии и специфике художественного творчества, дружескую заботу проявлял о здоровье великого художника. Именно по настоянию Ленина, когда в 1921 году опасно обострился туберкулезный процесс, Горький уехал на длительное лечение за границу.

Дружба Ленина и Горького — образец отношений политика и художника нового типа. Благодаря принципиальности, взыскательности и чуткости Ленина Горький в дальнейшем освободился от своих общественно-политических заблуждений. О высокой идейной правоте и человечности Ленина Горький впоследствии с признательностью неоднократно писал сам. Эти же ленинские качества помогали великому писателю уже с первых лет Советской власти стать соратником Ленина в строительстве новой культуры.

В конце 1919 года в особняке бежавшего за границу купца

Елисеева, на углу Мойки, Невского и Морской, по инициативе Горького возник Дом искусств. Совет дома возглавлял он сам. В колоритную компанию здешних обитателей и завсегдатаев Горький и постарался в первую очередь ввести нового своего питомца — Федина.

Подвальный этаж дома, как здесь его шутливо именовали — «обезьянник», — был обращен в общежитие для писателей и критиков, не имевших собственного угла в городе. Литераторов, старых и молодых, свело вместе бескорыстное желание служить своим пером революции. Здесь жили О. Форш, А. Грин, Аким Волынский, Шагинян, Зощенко, Шкловский… «Комнаты», — воспроизводит обстановку мемуарист Е. Полонская, — это были бывшие людские — не отапливались. Единственным теплым местом… была большая барская кухня, когда-то сверкавшая белыми кафельными плитками, никелированными крючками, медной посудой и тазами, большим котлом, вмазанным в плиту. Сюда прибегали утром и вечером за кипятком, здесь отогревались и возвращались обратно в свои холодные берлоги.

Железная койка, деревянный столик и стул — вот вся обстановка комнаты: кто приходил, тот садился на кровать или приносил стул с собою. Федин часто бывал здесь, а жил он где-то на стороне, снимая комнату у квартирной хозяйки.

Но зато неотапливаемые комнатушки были творческими мастерскими, коллективными студиями, а просторная барская кухня — подлинным дискуссионным клубом, где не смолкали споры на острые политические и литературные темы.

В Доме искусств регулярно проводились «понедельники», когда большой его зал бывал переполнен. Здесь гремел голос Маяковского, читавшего поэму «150 000 000», здесь Александр Грин мечтал вслух, читая только законченные «Алые паруса»; старый юрист Кони с трудом взбирался на трибуну, чтобы вспомнить о своих дружеских встречах с Толстым, Тургеневым, Достоевским; здесь бушевали дискуссии у развернутых выставок Бенуа, Добужинского, Кустодиева, Петрова-Водкина…

Пожалуй, наиболее сильные впечатления оставили у Федина личность и выступления Александра Блока. В Доме искусств Блок появлялся и выступал неоднократно. «Не художественные, а жизненные черты сближали Блока с Горьким, — вспоминал позже Федин. — Основной из них была страстность блоковского отношения к революции. Как великий поэт Блок был терзаем мыслями о счастье человечества… И так же, как Горький, работал в тех формах, какие создавались временем. Он был одним из основателей Большого драматического театра, много сил отдавая его новому классическому репертуару; он посещал нескончаемые

заседания в Доме искусств, в Союзе поэтов, в Театральном отделе… Он был повседневно на людях, но каждое его выступление становилось событием…» И далее Федин так передает свои ощущения — слушателя произведений Блока:

«Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске.

Я вышел после чтения на улицу, как после концерта, как после Бетховена, и позже, слушая Блока, всегда переживал бетховенское состояние трагедийных смен счастья и отчаяния, ликования молодой крови и обреченной любви и тьмы небытия.

Такое чувство я переживал и тогда, когда слушал грозную речь Блока „О назначении поэта“, и особенно — когда Блок читал „Возмездие“ в Доме искусств…»

В этом клубе-общежитии Федин не только обрел близкую и необходимую ему атмосферу революционного искусства. Здесь он встретил людей, одержимых теми же стремлениями, которые волновали его, немало единомышленников, десятки новых друзей. Осваиваясь в среде Дома искусств, недавний провинциальный журналист стал развиваться еще стремительней и интенсивней. Ощущение литературного чужака в северной столице скоро забылось навсегда.

Но Горький уже на первых порах озаботился не только этим. Он сам находил способы для поддержания связей, для встреч, бесед и сотрудничества. Сразу же вызвался он устранять и внешние трудности — помогал подыскать такую службу, чтобы род занятий был приближен к литературе и оставлял больше времени для самостоятельного творчества. Испробовано было несколько должностей. Федин работал и секретарем отдела печати Петроградского Совета, и фельетонистом, референтом и заведующим отделом «Петроградской правды», пока наконец в феврале 1921 года не отыскалось, кажется, наилучшее место. Горький создал новый критико-библиографический журнал «Книга и революция». Фактическим редактором этого журнала назначили Федина.

Расширяется кругозор молодого литератора, он становится свидетелем новых исторических событий. Энергии и гражданской страсти ему не занимать. Только за 1920 год на страницах петроградских газет напечатано около 50 статей, очерков, фельетонов, рецензий за его подписью. Все глубже становится анализ, красочный слог, разнообразней и шире обобщения.

19 июля 1920 года в качестве корреспондента «Петроградской правды» из ложи прессы Таврического дворца, большого зала, где в царские времена заседала Государственная

дума, Федин смотрит открытие II конгресса Коминтерна, слушает доклад В.И. Ленина. Затем он присутствует на выступлениях вождя революции на Марсовом поле и на Дворцовой площади. Впечатления западают глубоко. Двумя днями позже Федин печатает в «Петроградской правде» очерк «Крупицы солнца».

Из-под пера корреспондента выходит не обычный газетный отчет. Автор ищет художественные краски, чтобы запечатлеть облик вождя революции. Это не всегда удается; патетика чувств преобладает над пластикой изображения. Образ Ленина воссоздается еще романтическими средствами, о чем говорит и название — «Крупицы солнца». По позднейшему признанию автора, ему удалось дать лишь «несколько штрихов о выступлении Ленина». Однако уже в этой газетной зарисовке встречаются детали и эпизоды, которые десятилетия спустя Федин развернет в зримые картины своей «малой Ленинианы» — в сценах книги «Горький среди нас», в очерке «Живой Ленин» и рассказе «Рисунок с Ленина».

«Пионер рождающегося нового» — вождь партии и пролетарской революции в «Крупицах солнца» представлен прежде всего как выразитель народных интересов, доступный и понятный трудящемуся люду. Вот Ильич появляется в зале заседаний конгресса, «заходит в самую глубь поднявшейся толпы, — записывает корреспондент, — протягивает кому-то руки. Кто этот старик, который так чинно, по-крестьянски поздоровался с Лениным? Может быть, старый товарищ, добрый знакомый из мужиков».

Алексей Дорохов, который тоже в качестве газетного корреспондента наблюдал с Фединым открытие II конгресса Коминтерна, вспоминает: «…Мне тогда повезло невероятно. Пробравшись постепенно вперед и усевшись на широкую ступеньку возле трибуны, я оказался соседом присевшего через несколько минут рядом Ленина и мог наблюдать, как он еще раз просматривает и правит тезисы своего доклада… Но у меня осталась на всю жизнь лишь память об этих минутах. А Константин Александрович увидел в огромном парламентском зале так много, что после очерка в газете „Крупицы солнца“, почти через двадцать лет, в 1939 году, он написал замечательный рассказ „Рисунок с Ленина“…»

«Новый этап начинается в моей Жизни. Этап творчества и восхождения», — написал Федин сестре, сообщая о первой встрече с Горьким, о своих художественных интересах и ходе писательских занятий. Так оно и получилось.

«…Когда по возвращении на родину я начал профессионально работать журналистом (Сызрань, 1919), —

подытоживал позже Федин, — мои вкусы все еще подчинялись прошлому с его провинциальной любовью к красивости… Полный переворот в моем эстетическом сознании произвел Петроград 1919–1921 годов. Вряд ли я, как писатель, испытал нечто более бурное, нежели в эти годы. Требования времени обступили меня со всех сторон. Но, требуя, время давало мне неизмеримо много. Я слушал Александра Блока, я познакомился с Максимом Горьким, я вошел в литературное общество „Серапионовы братья“… Главенствующим во всех этих событиях было, конечно, знакомство в 1920 году с Горьким. Он оказался моим первоначальным советчиком и другом в литературе и жизни — самым расположенным и внимательным…»

Уже в первую встречу в издательстве Гржебина Горький обратился к Федину с творческим предложением:

«— …У нас в издательстве „Всемирная литература“ образована секция исторических картин. Возник, видите ли, план: создать большую серию драматических картин и инсценировок для кинематографа из истории культур всех народов и веков. Да-с, не менее…

Он присматривался ко мне…

— Так вот, я хочу вам предложить: возьмите любого героя истории, которого вы очень любите или же — очень ненавидите, и напишите хотя бы одноактное драматическое произведение… Вы писали когда-нибудь драмы?

— Нет.

— Попытайтесь. Попробуйте. Вы с историей культуры знакомы?.. Ну-с, так вот. Возьмите что хотите: Аввакума — так Аввакума, Наполеона — так Наполеона…»

Федин после раздумий остановил выбор на Бакунине, на том эпизоде его биографии, когда русский революционер играл видную роль в дрезденском восстании в мае 1849 года. Тема интернационализма, взаимной революционной поддержки передовых людей двух народов, русских и немцев, была близка Федину. Саксония, Дрезден, вся обстановка действия, быт и нравы Германии, разнообразные местные типажи памятны по недавним переживаниям.

Историческими, биографическими и мемуарными источниками, позволявшими глубже понять личность Бакунина и его эпоху, щедро снабжал начинающего драматурга из своей библиотеки Горький. Среди изученной Фединым литературы на русском и немецком языках была, в частности, «Исповедь» М. Бакунина, тогда еще не опубликованная и мало кому известная. Горький не жалел времени для обсуждения с автором его замысла и готовых частей рукописи. «Святой бунтарь» — таково было одно

из первоначальных названий пьесы.

Ход работы над произведением отражен в переписке Федина второй половины 1920-го — начала 1921 года с Дорой Сергеевной Александер. Письма показывают и нарастание доверительности и близости в отношениях молодых людей.

«Я кончил первую сцену „Бакунина“ и принимаюсь за вторую. Хочу к твоему приезду кончить эту часть», — писал Федин 22 июля.

«Бакунина» писал на днях, — сообщал он ей же 30 июля. — Развернул начало второй сцены. Первую часть читал третьего дня Лебеденке (А.Г. Лебеденко — товарищ по редакции газеты «Боевая правда». — *Ю.О.)*… Он восторженно отозвался о моей драме и назвал меня «настоящим талантом»… Хочу докончить работу над «Бакуниным», которой много и которая трудна.

«Только что поставил точку на втором акте „Бакунина“, — писал Федин в два часа ночи 13 января 1921 года. — Подумай, дорогая, 13-го числа! Приезжай слушать! Не знаю, но я так рад, что кончил пьесу, что меня даже волненье охватило, когда я писал, приближаясь к концу. Чувствую, как крепко ты целуешь меня — ведь ты разделяешь мою радость?»

Драматические сцены «Бакунин в Дрездене», одобренные Горьким, были напечатаны в альманахе «Наши дни» (1922, № 1). Почти одновременно Госиздат выпустил произведение отдельной книгой. Один из первых авторских экземпляров Федин послал в Саратов тяжело хворавшему Александру Ерофеевичу, сделав надпись: «Дорогому отцу от Константина…»

Как-то, придя на квартиру к Горькому, жившему на Кронверкском проспекте, Федин застал там молодого человека лет двадцати пяти, которого хозяин отрекомендовал как писателя Всеволода Иванова, только что прибывшего из Сибири по его вызову. «Спиною к печке стоит человек, — описывал позже Федин, — в потрепанной полувоенной одежде, в обмотках на ногах. Это наскучившее обмундирование давно обрело на нем измятую бесцветность, которая приобретается в походах. Лицо и руки его землисто-пепельны…

— Ужас, что рассказывает! — вздыхает Горький.

И правда, он рассказывает ужасное… Видения колчаковщины еще стоят у него в узких глазах, за маленькими стеклами пенсне, не идущего к широкоскулому лицу. Он был два года в кипени гражданской войны…»

С того дня началась дружба Федина и Вс. Иванова, продолжавшаяся четыре с лишним десятилетия… Многие из недавних переживаний уже через год-другой Вс. Иванов воплотил в повестях «Партизаны» (1921) и «Бронепоезд 14–69» (1922). Его

героическая и суровая проза, ярко запечатлевшая стихию крестьянской войны против власти помещиков и иностранной интервенции, стала крупным явлением нарождающейся советской литературы.

Весной 1921 года было объявлено о замене продразверстки продналогом, о новой экономической политике (нэпе). Эпоха военного коммунизма кончилась. Наступали новые времена в истории страны. Залечивались раны войны и разрухи, восстанавливалось народное хозяйство, постепенно улучшались материальные условия жизни.

G началом мирного строительства к мастерам старшего поколения, чей голос сразу после Октябрьской революции определил развитие нарождающейся и формирующейся советской литературы, таким, как М. Горький, А. Серафимович, Д. Бедный, А. Блок, В. Брюсов, В. Маяковский, С. Есенин, присоединялось новое молодое пополнение. Приток свежих сил нарастал — среди тех, кто избрал дорогу писательства, было немало вернувшихся с фронтов гражданской войны. Более 150 молодых писателей обрели широкую известность за период с 1920 по 1926 год.

В 1921 году начинает литературную работу в Москве Дмитрий Фурманов, бывший комиссар 25-й Чапаевской дивизии, начальник политотделов Туркестанского фронта и 9-й Кубанской армии. А уже в 1923 году публикуется его роман «Чапаев». Это произведение явилось принципиальным достижением советской литературы. В новых условиях получили развитие традиции горьковского романа «Мать», кстати говоря, без цензурных искажений ставшего достоянием читателей только в первые годы Советской власти. Вместе с эпопеей А. Серафимовича «Железный поток» (1924), стихами В. Маяковского и его поэмой «Владимир Ильич Ленин» (1924) произведения Фурманова показали сознательное участие народа в революции, они содержат яркие образы большевиков — организаторов масс.

Делегатом X съезда партии прибывает весной 1921 года в Москву двадцатилетний А. Фадеев. Его роман «Разгром» (1927) вобрал богатый опыт личных переживаний автора поры партизанского движения и боев с интервентами на Дальнем Востоке. Изображая формирование сознательных борцов революции в гражданскую войну, автор «Разгрома» достиг большой психологической глубины и тщательности в обрисовке характеров на пути, начатом Фурмановым и Серафимовичем.

Семнадцатилетним юношей М. Шолохов «гонялся за бандами, долго был продработником». В 1926 году он приступает к работе над «Тихим Доном». Автора этой художественной эпопеи, употребляя выражение Федина, можно назвать «Львом Толстым

гражданской войны».

Имена многих и многих десятков молодых авторов, еще вчера безвестные, за короткое время после гражданской войны, по выражению Федина, вдруг будто прянули из-под земли, «действительно, как грибы в грибное лето».

«Как начала создаваться советская литература?.. — обобщал позже Александр Фадеев. — Когда по окончании гражданской войны мы начали сходиться из разных концов нашей необъятной Родины — партийные, а еще больше беспартийные молодые люди, — мы поражались, сколь общи наши биографии при разности индивидуальных судеб… Мы входили в литературу волна за волной, нас было много… Главой советской литературы был и остался великий Горький. Выходец из глубоких социальных низов России, друг Ленина, он был первым и лучшим нашим художественным воспитателем… Среди писателей моего поколения нет ни одного, кто, входя в литературу, не был бы им благословлен».

Широта и размах отношений Горького с советскими писателями после Октябрьской революции, его воздействие на творческие и жизненные судьбы литераторов действительно не знают себе равных. С кем только не общался, не переписывался, кому только не помогал выдающийся строитель советской художественной культуры, каким разнообразным людям! Имея в виду это редкостное свойство Горького, В. Боровский даже шутливо восклицал в одном из писем к нему 1921 года: «Понеже вы являетесь наседкой современной русской литературы…»

«Решительное, огромное влияние…» на себя отмечал автор романа «Цемент» Федор Гладков. «Великую веру в себя дала мне наша встреча, веру и силу», — признавался Горькому Леонид Леонов. «Большая зарядка, бодрость и желание работать… — передавал свои ощущения после получения письма Горького Михаил Шолохов. — Если вы сочтете необходимым поговорить со мной по поводу прочитанного, то… я с большой радостью примчусь на день в Москву».

Характерной чертой литературного процесса 20-х годов, отобразившей противоречия переходного периода, сложности формирования новой, социалистической художественной культуры и различия творческих позиций писателей, было возникновение многих литературных групп и объединений. В 1920 году поэты и прозаики, выделившиеся из Пролеткульта, образовали группу «Кузница». В 1923 году организовалась Московская ассоциация пролетарских писателей — МАПП, затем Российская ассоциация пролетарских писателей — РАПП (1925) и, наконец, Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских

писателей — ВОАПП (1928). Численность последней доходила до четырех тысяч членов.

Параллельно возникали и другие литературные группировки, относительно малочисленные — «Серапионовы братья» (1921), «Молодая гвардия» (1922), Левый фронт искусств — ЛЕФ (1923), Литературный центр конструктивистов (1924), «Перевал» (1924) … Некоторые писатели не входили ни в какие группы (Горький, А. Толстой, Л. Леонов и др.).

Отношение партии к литературным группировкам определялось общими принципами ее политики в сфере художественной культуры, основанными на ленинской теории культурной революции. Важнейшие установки были подытожены в резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года. Партия звала к борьбе с буржуазной идеологией, выступала против аполитизма и нейтрализма в искусстве, отвергала безыдейность, ложное новаторство и нигилистическое отношение к культурному наследию прошлого.

Резолюция предостерегала от попыток чисто оранжерейного выращивания «пролетарской» литературы. Созидать действительную новую литературу можно лишь общими усилиями всех здоровых и талантливых сил, которые действуют в разных ее отрядах и подразделениях в настоящее время. Сектантство и комчванство со стороны организаций РАПП по отношению к писателям, которых именуют «попутчиками», наносит вред. Советская литература возникнет лишь в напряженных поисках новых художественных форм. В этом отношении партия не может связывать себя приверженностью к какому-либо одному художественному направлению. ЦК РКП (б), как отмечалось в резолюции, высказывался «за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области».

В феврале 1921 года в Доме искусств сложился кружок литературной молодежи, получивший название «Серапионовы братья». После того как состав постоянных участников определился окончательно, в кружок входила прозаики М. Слонимский, М. Зощенко, Вс. Иванов, К. Федин, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, поэты Е. Полонская, В. Тихонов и критик И. Груздев. Первоначально группировались вокруг Михаила Слонимского, который постоянно жил в Доме искусств и раньше многих других молодых сотоварищей был знаком с Горьким. Возвратившись после четырехлетнего участия в войне, он одно время работал его секретарем. На фронт Слонимский ушел в семнадцать лет добровольцем, был ранен, контужен.

В безымянный тогда еще кружок, собиравшийся в комнате Слонимского, Горький и ввел почти одновременно Федина и Вс. Иванова, волжанина и сибиряка… Самому старшему из десяти молодых людей (Федину) было 29 лет, младшим (Каверину, Лунцу) — 19–20. Тут находились и совершенные юноши, чей опыт черпался пока в основном в родительском доме и в университетских аудиториях. Но ядро группы составляли люди, вернувшиеся из рядов Красной Армии (Слонимский, Вс. Иванов, Зощенко, Никитин, Тихонов, Федин). На долю «старших» выпадали порой редкостные жизненные испытания. Кого ни ваять… Отравленный газами в годы империалистической войны и получивший тогда же четыре ордена за храбрость штабс-капитан Зощенко, доброволец Красной Армии. Многое повидали и пережили и красный кавалерист Николай Тихонов, оборонявший Петроград от Ц полчищ Юденича, и врач Елизавета Полонская…

Собирались по субботам, с завидным постоянством. Дверь комнаты держали в таких случаях полуоткрытой, чтобы не задохнуться от табачного дыма. Иногда приходили гости — послушать и высказаться. Чаще других — критик Виктор Шкловский, один из молодых лидеров «формальной школы» в литературе. До глубокой ночи читались и обсуждались произведения, написанные кем-либо из постоянных участников.

«…Нужны были незаурядная дисциплина ж ангельские характеры, чтобы в течение многих лет выдерживать эти сидения в банке консервированного табачного перегара, — вспоминал Федин, — если бы не страсть к литературе, заменившая нам… все мыслимые добродетели… Можно было бы спросить: кто из „серапионов“ был главный? Никто… Каждый из нас пришел со своим вкусом, более или менее выраженным и затем формировавшимся под воздействием противоречий. Мы были *разные*. Наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы».

Лев Лунц и Вениамин Каверин, однокашники по Петроградскому университету и ученики известного литературоведа профессора Бориса Эйхенбаума, в общем-то, склонялись к «формальной школе». Лунц, проявлявший особенный интерес к западноевропейской культуре, ставил занимательность и фабулу в искусстве выше идеи.

Его горячо поддерживал юный студент восточного отделения — арабист Вениамин Зильбер, ставший затем Кавериным; он считал, что «искусство должно строиться на формулах точных наук» (девиз, под которым он послал в 1921 году на литературный конкурс свой рассказ «Одиннадцатая аксиома»). Такой взгляд на искусство как на «сумму формально-стилевых

приемов» в основном был чужд некоторым старшим «серапионам».

«Мой приход к „серапионам“, — передает события в книге „Горький среди нас“ Федин, — сопровождался ссорой. Я встретил в мрачной комнате изобилие иронии… Тут шутили с литературой, вели с ней игры. Я понимал, что это манера. Что здесь любят Пушкина и чтут Толстого не меньше, чем я. Но манера эта казалась мне странной. Здесь говорилось о произведениях как о „вещах“. Вещи „делались“. Они могли быть сделаны хорошо или сделаны плохо… Для приемов имелось множество названий… На третьем собрании я излил отстоявшийся протест против „игры“ в защиту „серьезности“. Удар принял Лев Лунц… Стычка была жестокой».

В своих апологиях самоценности художественной формы Лунц не останавливался перед выводом, что истинное искусство чурается идеологических схваток и противостоит политической злобе дня. Шумную известность снискали его статьи «Почему мы серапионовы братья?» и «О публицистике и идеологии».

Федин во многом не соглашался с содержанием статей и не считал их программными декларациями группы. Однако эстетизму и формальным изыскам, на свой лад, отдал дань тоже. По собственному признанию, он «долго жил с ошибочным представлением о „специфической“ в искусстве…».

Наиболее сгущенно проявилось это в сборнике «Пустырь». Но и не только там. В течение нескольких лет после 1922–1923 годов ослабевает, например, работа писателя в публицистике. Откликаясь на события из мира литературы, театра, кино, Федин теперь сравнительно редко выступает на страницах газет и журналов с очерками и статьями, поднимающими темы широкого жизненного звучания.

Главной причиной было, конечно, увлечение работой над художественной прозой, долгожданная возможность окунуться в мир искусства, тяга к овладению мастерством. Обилие жизненных впечатлений, в обретении которых неоценимую роль сыграла и прежняя публицистическая активность, Федин стремится внутренне освоить обобщить в художественных образах. Однако на ослаблении публицистической активности писателя сказались и причины иного рода. Аполитичные и эстетские взгляды, развивавшиеся, например, в статье Л. Лунца «О публицистике и идеологии», или им родственные, под воздействием которых оказывался и Федин, неизбежно влекли за собой и предубеждение в отношении публицистики как якобы низшего жанра литературы. «Истинное искусство», беллетристика в этой шкале ценностей занимала место якобы более высокое и достойное

миссии художника, нежели злободневная публицистика.

Привести в согласие жизнь и теорию, «увидеть формы в их развитии и признать их нераздельными с общественным содержанием искусства», дать собственным творчеством ответы на хитросплетения эстетики немало помог Горький, который, по свидетельству Федина, «поиски нужных писателю решений… облегчал… со всею щедростью своей великой души». На свое место встала и публицистика. Не ослабляя увлеченности художественной прозой, писатель, на рубеже 30-х годов возобновил самую активную работу в публицистике. «Мастер всегда должен быть мастером, — обобщал позже Федин. — Нельзя писать для ежемесячного журнала хорошо, а для еженедельника похуже. Нельзя вкладывать в роман весь талант, а в очерк — немного таланта, а в статью для газеты не вкладывать ничего… Нет „низких жанров“, но существует низкое отношение к жанрам».

Горький был долголетним читателем чуть ли не всего, что выходило из-под пера Федина, Вс. Иванова, Зощенко, Каверина^, Слонимского, включая нередко рукописи. Он звал молодых писателей глубже вглядываться в действительность, осмысливать опыт пережитого, отыскивая в новом содержании подобающие художественные формы. Горький будил энергию гражданской активности, общественный темперамент, он настраивал молодых художников на отображение характера человека, рожденного революцией.

Рассматривая в целом как интересное явление готовившийся «серапионами» литературный альманах «1921», Горький критиковал представленные в нем рассказы «за умаление героя, за невнимание к человеку». Он указывал, что и «при коллективизме роль личности огромна — например, Ленин… А у вас герой затаскан. В каждом данном рассказе невнимание к человеку…». В связи с работой Федина над совместно выбранной темой «Бакунин в Дрездене» Горький выдвигал задачу — «изобразить роль личности в создании культуры, творческое начало личности, дух созидания». Горький чутко отмечал сильные и слабые стороны каждого из подопечных, тактично, но неуступчиво критиковал литературную переимчивость, подражательство, формалистические выверты.

Требовалось найти стиль, отвечающий новой революционной эпохе, открыть и уловить происходящие при этом сложные взаимопревращения формы и содержания в искусстве. Этим были заняты многие советские художники, разнообразные отряды молодой литературы. С ошибками, односторонними увлечениями, крайностями полемических деклараций — нередко

каждый по-своему — это делали и «серапионы». Но главная цель, как оказалось в итоге, была одна.

«Мы были разные, — подытоживал Федин. — Шутя и пародируя друг друга, мы разделяли „серапионов“ на веселых „левых“ во главе с Лунцем и серьезных „правых“ — под усмешливым вождением Всеволода Иванова. В постоянных схватках нащупывалась цель нашего совместного плавания, и в конце концов внутренне все признали, что она у нас одна: создание новой литературы эпохи войны и революции. Это понимание историчности задачи, приходившее медленно, делало нас *одинаковыми,* несмотря на все наше различие».

Именно это, пусть не всегда осознанное, ощущение «историчности задачи» определяло всю атмосферу творческих и личных отношений внутри группы, когда мелкими и неуместными становились оскорбленное самолюбие, тщеславие, зависть, порождало на свет ту небывалую и неповторимую ситуацию, которую Федин назвал «непрерывной борьбой в условиях дружбы».

Совместная сосредоточенность столь многих, разных и ярких дарований на поисках стиля и обращала среди прочего заполночные дружеские сидения и дискуссии в серьезную школу художественного мастерства, в «литературный лицей».

Уже вскоре после своего образования этот «лицей» громко заявил о себе в литературе. Причем одну из заглавных ролей сыграл рассказ Федина «Сад».

Елизавета Полонская вспоминает, как рукопись обсуждалась первоначально на одном из субботних собраний: «…Федин в тот день, когда я впервые пришла сюда, прочел рассказ „Сад“, только что написанный им. Мне этот рассказ очень понравился. Я была поражена, как строго его разбирали… не щадя самолюбия автора. Было не очень светло, так как свешивавшаяся с потолка лампочка светила вполнакала, это был обычный в то время в Петрограде режим экономии электричества… Однако я ясно видела, как бледное глазастое лицо Федина то вспыхивало румянцем, то бледнело. Несколько раз он пытался возражать, но Груздев, который вел собрание, спокойно остановил его:

— Подожди, Костя, ты скажешь после всех».

Прошло несколько месяцев. В конце 1921 года проводился литературный конкурс на лучший небольшой рассказ на современную тему. В обстоятельствах, сопровождавших конкурс, был любопытный штрих. Проводил его на остатки не израсходованных за год средств давний антипод Дома искусств — Дом литераторов, помещавшийся на Бассейной улице. Вокруг Дома литераторов группировалась по преимуществу старая

интеллигенция, писателя и журналисты, настроенные выжидающе или даже оппозиционно по отношению к новым революционным переменам в России. Это и объясняло постоянное соперничество и даже неприязнь двух «домов».

Конкурс был закрытым, рассказы представлялись под девизами. После вскрытия конвертов оказалось, что пять премий из шести, присужденных жюри Дома литераторов, получили молодые приверженцы Дома искусств — «серапионы». Первой премии за рассказ «Сад» был удостоен Федин, взявший девизом строку из Дантова «Ада»: «Взгляни и пройди». Вторую премию получил Н. Никитин за рассказ «Подвал», третью — В. Зильбер (Каверин) за рассказ «Одиннадцатая аксиома»… Успех был полный!

Одним из первых итогов стилевых поисков этих лет у Федина явился сборник прозы «Пустырь». Сборник состоит из крупной повести «Анна Тимофевна», пяти рассказов и двух аллегорических сказок. Книга вышла в издательстве «Круг» весной 1923 года.

Бросающейся в глаза особенностью «Пустыря» было то, что, за редкими исключениями, произведения, его составляющие, обращены к прошлому. Герои в основном — мелкий и средний городской люд уездной дореволюционной провинции.

Для такого тематического состава сборника имелись, конечно, известные основания в предшествующей творческой биографии писателя. «Тематический состав „Пустыря“, — объяснял позже Федин одному из своих корреспондентов, — вас не должен удивлять. Маленький человек — герой „Пустыря“ — был предметом моего пристрастия на протяжении долгих лет. Не забывайте, что я начал свои поиски с 1910 года, а получил возможность печататься лишь в 20-х годах. Я должен был свалить с себя груз, тяготивший меня целое десятилетие. Это был плод моей жизни в старой литературе, моей замкнутой, отшельнической школы, моей скрытой мечты. Я должен был *разродиться,* иначе плод умер бы во мне и отравил меня… я *должен* был увидеть результаты всего предшествующего периода, ни в чем не реализованного, длительного, тяжкого, *как бы* бесплодного: должен был увидеть *свое прошлое в книге.* „Пустырь“ — это книга, которая могла и должна была выйти во время войны (то есть в 1914–1918 годах. — *Ю.О.),* но роковым образом задержалась». За писателем тянулся накопленный до войны старый материал. «Пустырем», — отмечал в другой раз Федин, — я ставил точку на своих несбывшихся ожиданиях со времен первого рассказа, возвращенного мне редакцией, до первого романа, уничтоженного мной самим.

Однако имелись и другие причины, которые определили сам момент обращения творческой мысли Федина к прошлому.

Вся публицистика молодого писателя, а также некоторые рассказы, написанные к тому времени для газет и журналов, вызывались революционной действительностью новой России. Таков, например, и вошедший в сборник «Пустырь» рассказ «Сад». А уже с лета 1922 года художник начал работать над романом «Города и годы», целиком сосредоточенным на событиях империалистической войны и революции. Между двумя пиками гражданской активности творчества Федина — его публицистикой 1919–1920 годов и работой над романом «Города и годы» — и пролегает относительно небольшой, двухлетний «период воспоминаний».

Мастера советской литературы старшего поколения в один голос отмечают, какие огромные трудности влекло за собой художественное проникновение в новую действительность, освоение ее развивающегося, еще не устоявшегося «материала». «Освоить политически еще не значит освоить художнически», — подчеркивал позже Алексей Толстой. Нечто подобное ощущал и Федин. «Каждый революционный лозунг, — писал он о начале 20-х годов, — десятки раз повторял я пером публициста и фельетониста, а перо писателя все еще с любовью возвращалось к материалу, давно изученному и жившему только в воображении».

Несомненно, приобщение прозы молодого художника к революционной современности сдерживали и ошибочные эстетские умонастроения — о «специфическом в искусстве», о независимой значимости искусства от общественной жизни, которым отдал дань Федин. С этой точки зрения, не только тематическая направленность произведения, но и глубина его содержания нередко отступали на задний план перед тем, «как сделана вещь».

Отчетливая ясность в том, что происходило с ним, пришла к Федину значительно позже. А тогда… Тогда казалось, что «прошлое» неотступно и настойчиво вторгается в сегодняшний день художника, застит происходящее перед глазами. С поразительной после всего пережитого за последние годы неожиданностью давно, казалось бы, отлетевшие темы, замыслы, видения заново возвращались к молодому писателю. Что бы это могло значить? Почему они имеют над ним такую навязчивую власть? Федин поделился своими переживаниями с Горьким. «Набросайте их на бумагу, запишите. Тогда они сразу отвяжутся», — посоветовал тот. Просто «набросать», однако, не получилось — вылилось почти в два года напряженного труда. Так появился сборник «Пустырь».

Первоначальная часть работы «по поискам стиля» была проделана, таким образом, Фединым на материале прошлого… 7 апреля 1923 года, отсылая Горькому только что вышедшую книгу, Федин спрашивал: «Что из этого получилось, каков „Пустырь“?»

При живой натуральности фигур, яркости и своеобразии художественных красок произведения сборника не избежали книжной подражательности. Причем молодой автор совмещает иногда в себе противоречивые эстетические симпатии. Его увлекают и образцы русской классики (Достоевский, Гоголь, Чехов), и некоторые художники, отдавшие сильную дань декадентству (Л. Андреев, А. Ремизов, Б. Пильняк). Самостоятельный и точный реалистический анализ душевного мира героев сочетается порой в произведениях сборника с самоцельным живописанием психических странностей, «чудинок» и физических уродств; молодой писатель явно не освободился еще от плена в основном чуждых для него влияний. К тому же неискушенный беллетрист невольно перенимает подчас не только строй чувствований очередного мастера, под обаяние которого попадает, но и сбивается иногда на копирование внешних интонаций, вплоть до подражания конкретным произведениям.

Имея в виду подражательские метания в своем сборнике «Пустырь», столь частые у начинающих художников, Федин впоследствии метко и точно окрестил их как «литературную корь».

Лучшее, что есть в сборнике, — это повесть «Анна Тимофевна», рассказ «Сад» и «сказочка» «Еж»…

Слегка стилизованной под старинное сказание, ритмизованной прозой, которую в 20-е годы называли «орнаментальной», написана повесть «Анна Тимофевна». Изображению реальных тягот семейно-бытовой жизни трудовой женщины в дореволюционной уездной провинции автор склонен порою придавать вневременные черты. Иногда молодой писатель явно копирует страдалиц Достоевского со свойственной им философией жертвенности; на ритмической стилистике заметно влияние Ремизова. Однако в целом характер главной героини повести, без сомнения, разработан Фединым достаточно самостоятельно и психологически многогранно. «Анна Тимофевна» — история о женщине, наделенной способностью, а можно сказать, и даром всепоглощающей жалостливой любви.

Вся жизнь Анны Тимофевны — героическое, хотя и неприметное единоборство с мутной и жестокой окружающей повседневностью уездной дореволюционной России, в попытках одухотворить окружающую семейно-бытовую среду, облагородить, придать ей нормальные человеческие черты.

Условия житейского существования, в которых находится героиня, таковы, что даже и сверхъестественным напряжением нельзя их переменить и подобные усилия не могут принести ей ничего, кроме столь же медленно тянущихся повседневных страданий, кроме невольно накликаемых на себя новых нравственно-бытовых испытаний и мук, притом исходящих чаще всего от самых близких для нее людей.

Что она видела, что знала в жизни хорошего? Сначала — грубый хмельной скоморох муж, церковный псаломщик Роман Яковлев (Иаковлев, как он себя называл), нередко являвшийся затемно и сотрясавший дом пьяными дебошами. Рождение неполноценного, слабоумного ребенка. Потом, после смерти мужа, чей труп она едва отыскала в алкогольном сборном приюте, вытягивающая жилы работа и отчаянные, безрезультатные попытки исцелить и приспособить к жизни слабоумную, припадочную дочь. Все только ради нее одной, ради дочери. Наконец в пожилой поре — новая кабала: замужество от жалости и одиночества с Антоном Ивановичем, некогда дерзким красавцем, обманувшим ее в девичьи годы, а ныне вдовцом, пузатым лысым безработным инженером, опустившимся, выброшенным за борт жизни, на шее которого висит к тому же великовозрастный сын-балбес. Добровольное услужение обоим, неунывающая гонка безостановочного труда, чтобы обогреть, обласкать, украсить существование отца и сына, напитать и обиходить двух дармоедов, к которым успела привязаться душой и сердцем. Усилия, встречаемые высокомерно, а подчас даже с недоумением и насмешкой. И так до тех пор, пока несчастливая случайность, безотчетный жертвенный поступок, опять-таки ради блага двух своих захребетных чад, не приводит Анну Тимофевну к преждевременной гибели…

Вот, кажется, и вся ее жизнь…

Мало кто способен выдержать такое. Но как часто, добавим, многие русские женщины выдерживали и худшее. Об этом свойстве «женского сердца» и написана повесть Федина.

Самое удивительное, что в этом диком кошмаре, в этой сплошной тьме, которая заволакивает собой дни Анны Тимофевны, она умеет находить отраду. Хотя, по-видимому, в этом-то и состоит тоже особый ее дар.

Жизнь Анны Тимофевны — повседневный незаметный подвиг.

Эта мысль даже и прямо выражена в повести Федина — проскальзывает невольным сопоставлением двух героев — Анны Тимофевны и покойного основателя колонии для безнадежных больных доктора Штраля, который даже свой предсмертный недуг

стремился использовать для служения науке, на благо людям. Не о себе, а о других, о неприспособленном к жизни муже думает в последние минуты и Анна Тимофевна. «Как ты… без меня… милый», — шепчет она уже немеющими губами.

Произведениями сборника «Пустырь» Федин продолжил горьковскую традицию разоблачения дореволюционного городского «окуровского» быта, темной мещанской обыденщины. В этой среде Анна Тимофевна из тех людей, каких передовая отечественная критика называла когда-то «лучом света в темном царстве». В своей сфере героиня умеет жить безоглядно, на всю полноту своего материнского по природе, сострадательного и жалостливого сердца. «Без женщины, без сердца женского пусто… Пусто, Анна Тимофевна» — так устами одного из персонажей выражена идея повести.

Образ русской женщины из народа близко списан Фединым с «натуры». Прототипом была подруга юности Анны Павловны, матери писателя, пережившая сходную трагическую судьбу. Да и облик самой Анны Павловны, надо полагать, не раз вставал перед мысленным взором сочинителя.

Повесть «Анна Тимофевна» была и литературным венком на могилу матери.

Впервые обратившись к серьезному исследованию характера русской женщины из народа, Федин до конца своего творческого пути старался постичь новые его грани и особенности.

Нравственно-этический призыв «Пустыря», пожалуй, наиболее концентрированно выражен в сказочке «Еж». Человек не должен «ежиться», сидеть в себе, обратив иглы на окружающих. Ему надо распрямиться, только тогда он увидит скрытую для него радость жизни и красоту мира…

Однако большинство персонажей сборника — именно «ежи».

Даже Анна Тимофевна, раздаривая близким всю свою доброту и жалость, вне семьи обрела к концу жизни навыки «стервенеть, ругаться, пробивать кулаками дорогу». Что же сказать о прочих? Они перестают «ежиться», внутренне распрямляются лишь временами, да и то в какой-нибудь узкой, облюбованной сфере — привязанности к своей профессии, как корабельный артиллерист Потап («Старший комендор»), или садовник Силантий («Сад»); в плотских радостях («Блинки»), а то и в порочных наклонностях и чудачествах («Рассказ об одном утре», «Конец мира»).

Молодой писатель не только вслед за русской классикой (Гоголь, Достоевский) выражает традиционное сострадание к «маленькому человеку». Он предъявляет к нему и социально-нравственные требования, продиктованные возрастающей активностью гуманизма и революционными переменами, которые

произошли в самой действительности.

Непримиримо, как и до него Горький, изобличает молодой прозаик различные проявления провинциальной мещанской «окуровщины». Садовник Силантий способен не только годами трудолюбиво возделывать прекрасный сад, но и, палимый темной безрассудной злобой, — совершать отвратительные поступки против новых его владельцев. Холопская преданность недавно бежавшим от революции хозяевам и прежним порядкам оказывается в нем сильнее иных чувств и соображений («Сад»)… Многие населяющие сборник персонажи так или иначе обделены человечностью, душевностью. И жизнь оттого течет вокруг ущербная, безрадостная, «пустырная». Название сборника отражает именно этот его смысл.

Своеобразным эстетическим антиподом понятия «пустырь» в книге Федина является — «сад». В зачине одноименного рассказа, ближе других придвинутого к современности, вчитавшись внимательно, мы встретим уже и дважды, как бы мимоходом, оброненное слово «пустырь».

Замысел рассказа возник летом 1919 года, когда о названии будущего сборника Федин не думал. Но в истории о том, как «пустырь» неотвратимо съедает «сад», и состоял смысл произведения. Так что сложилось это не намеренно. Но антитеза «пустырь» — «сад» получилась в чем-то чеховская. Вспоминается «вишневый сад» — символ красоты, которой пренебрегают, которую вырубают.

«Пустырь» — это то, что окружает «сад», из чего он вырвался. И именно в пустырь постепенно обращается сохнущий, гибнущий сад в рассказе Федина — из-за того, что безразлично, не по-хозяйски и варварски обращаются с ним новые владельцы, хотя стал он теперь вроде бы общенародным достоянием.

А красота требует ухода, ее надо беречь и лелеять. Революция должна растить красоту — призыв, прозвучавший в этом фединском рассказе, впоследствии будет усилен и повторен во многих произведениях писателя.

В начале 1922 года Федин женился на Доре Сергеевне Александер и переехал на квартиру тещи на Литейном проспекте. 21 сентября родилась дочь Нина.

Роман «Города и годы» писался уже в маленькой комнатке этой тихой старинной семейной квартиры с окнами во двор.

Действие в эпизодах, завершающих книгу, происходит в 1922 году, когда она начата. Произведение создавалось по горячим следам событий. Роман как бы подытоживал пройденный писателем путь.

«Эпоха — война и революция. Место действия — Германия и Россия… Сюжет в двух параллельных плоскостях: романической и историко-бытовой» — так определял признаки рабочего замысла сам автор в одном из писем конца 1922 года.

Действительно, отблески войны и народные возмущения — это не только фон, на котором развертываются сложные личные отношения персонажей. Переживания и опыт империалистической войны, а затем революций в России и Германии меняют самый строй чувствований и мыслей героев, их представления о добре и зле, о пределах любви и ненависти, о достижимости счастья, о мире и о себе. Разворот этих событий диктует главные поступки персонажей, каждого ставит перед решающим выбором. История правит судьбами людей. Вот почему эпоха, «города и годы», движущийся «образ времени», по позднейшему выражению Федина, является важнейшим действующим лицом романа.

В биографии молодого русского интеллигента Андрея Старцова — центрального героя произведения — нетрудно узнать иные факты, некогда пережитые самим писателем. Застигнутый начавшейся войной в Нюрнберге, Старцов четыре года проводит на положении гражданского пленного в Германии. В картинах жизни саксонского городка Бишофсберга, куда выслан интернированный Старцов, близко к реальности переданы черты быта и нравов города Циттау. Многое из собственных отношений с Ханни Мрва вложил автор и в историю любви Мари Урбах и русского пленного. Облик провинциального городка Семидола, где вместе с Семеном Голосовым и другими местными большевиками участвует в революции вернувшийся на родину Старцов, навеян воспоминаниями о Сызрани и ее окрестностях 1919 года…

Однако если Федин и питает образ Старцова фактами собственной биографии, то духовная эволюция, которую он заставляет проделать своего героя, оказывается во многом прямо противоположной тому пути развития, который в действительности совершил сам автор. В романе как бы сделано художественное допущение, примерно такое: что бы было, если бы тот заезжий молодой человек, Добрый и милый, полный веры в отвлеченное человеколюбие и справедливость, который в 1914 году был застигнут войной в Германии, не извлек глубоких социально-политических уроков из происходившего, не сделал решительного выбора, не принял сторону революции, а остался при своих общегуманитарных, расплывчато-либеральных воззрениях, лишь с одной жаждой личного счастья? Как бы повернулась его жизнь тогда?

В романе создан яркий образ интеллигента, не сумевшего воспринять опыта войны и революции, стремившегося «встать в центр круга», остаться «над схваткой». В начале 20-х годов партия вела борьбу за сердца и умы интеллигенции, сформировавшейся и воспитанной еще при старом режиме. Эта интеллигенция составляла подавляющее большинство работников умственного труда. Без ее общественной активности и сознательного энтузиазма в строительстве социализма невозможно было успешное проведение культурной революции в стране. Требовалось извлечь уроки из опыта вчерашнего дня, художественно их осмыслить. В психологически убедительном и правдивом изображении жизненной драмы одного из представителей старой интеллигенции, не нашедшей себя, подавленной историческими потрясениями, и состояло современное звучание образа Старцова.

На дорогах, по которым Федин проводит своего героя, Старцову недостает то смелости и бескомпромиссности мысли, чтобы, поднявшись над личными пристрастиями, до конца постичь смысл происходящего, то мужества, выдержки и воли, чтобы, верно чувствуя и понимая, идти по намеченному пути. Старцов — человек слабого характера, не самой глубокой и отважной мысли, в этом его беда. Слабоволие, нерешительность, внутренняя бесхребетность через цепь компромиссов ведут Старцова к предательству. Он изменяет Мари, которую любит, предает память повешенного инвалида Лепендина, которому сочувствует, и, наконец, предает дело революции, которой вызвался служить…

Конечно, слабость натуры — такая мотивировка — несколько облегчает молодому беллетристу его задачу: развенчание внеклассовой нравственности, которой привержен герой. Значительным образ Старцова делает присущее ему богатство душевной жизни, полнота, глубина и свежесть переживаний.

Старцов — человек сердца. Он тонко чувствует хорошее в окружающих, любит людей, искренне верит в плодотворность людского содружества, в право человека на личное счастье, какие бы исторические потрясения ни происходили вокруг. Во время кровавой бойни мировой войны он живет любовью и хочет жить ею дальше. Даже роковые для него поступки Старцов совершает потому, что не может равнодушно видеть чужую боль, не в состоянии подавить чувство жалости или сострадания, отвергнуть претензию другого человека на счастье, превозмочь обращенную к нему мольбу.

Робкая мысль притупляет и нравственную разборчивость чувства, делает Старцова аморфным, беззащитным перед

посторонним натиском, перед напором окружающей жизни. Внутренне чуждая женщина, по случайности оказавшаяся рядом и домогающаяся его, занимает место горячо любимой Мари, с которой разлучили обстоятельства. С презрением и гадливостью относится он к «другу мордовской свободы» вешателю маркграфу Шенау и идет на беспринципный компромисс — позволяет тому разжалобить себя, заворожить клятвами и обещаниями, помогает ему бежать от справедливого возмездия… Совесть Старцова запутывается в непримиримых противоречиях. Он сознает итог, к которому пришел. Еще прежде, чем Старцов падет от пули друга, терзания больной совести доводят его до умопомрачения…

В фигуре Старцова передана и высокая трагедия гуманистического чувства, которому «трудно смириться с болью, если даже она неизбежна». Эта идея романа, выраженная через переживания центрального персонажа, наложила печать и на художественную композицию, с как будто беспорядочно переставленными главами, хронологической вольностью повествования. «Смятение духа Андрея Старцова», по выражению Федина, нашло отражение в «смятенной» композиции романа.

Интеллигенция и революция, интеллигенция и народ — таков главный пафос произведения, которым определяются так или иначе остальные его темы. Не случайно первые проблески в рождающемся образном замысле романа содержали вначале намек на судьбы лишь двух фигур — на глубокий упадок личности Андрея Старцова и на активную жизнедеятельность деревенского мужика Федора Лепендина. Мысленному взору художника рисовалась картина обывательского прозябания духовного калеки Старцова и образ поведения безногого инвалида войны Лепендина.

Интересное свидетельство о возникновении замысла Романа «Города и годы» оставила художница Н.К. Шведе-Радлова, записав его в дневнике со слов Федина. Настойчивое видение городской «утробы» — многоэтажного внутреннего двора-«колодца», куда одинаково смотрятся 85 окон, просушиваются на подоконниках с утра перины и свершает весь свой дневной круг обывательская жизнь (это и есть последнее пристанище опустившегося, впавшего в глубокую апатию Старцова), и образ неунывающего ни при каких обстоятельствах деревенского мужика-«обрубка», которому без ног «удобней» ковыряться в грядках, — вот что вызвало первичный замысел этого во многом трагического по духу произведения.

«Потом он (Федин. — *Ю.О.)* рассказывал, — читаем в дневниковой записи Шведе-Радловой (25 февраля 1929 года), — что было толчком, или, вернее, первоначальной концепцией

„Городов и годов“:…в „Гор. и год.“ — Федор Лепендин. Человек без ног, который „близок к земле“, „ковыряется в земле, сажает репу“.

„И потом вот этот колодец, где 85 окон и пахнет следами котов“.

Когда Лепендин находился в германском плену, некий немецкий врач, проделывая свои бесчеловечные опыты по проверке анестезирующих средств на русских военнопленных, отпилил ему ноги. Однако даже и тут Лепендин не пал духом. „Он сплел себе лукошко, вроде того, какое кладут под наседку, устлал дно тряпочками и сел на них, привязав лукошко ремешками за пояс. Потом вырезал из березы уключины… Вдел руки в дужки уключин, оперся ими о землю, приподнял на руках туловище и, раскачав его, пересел на добрый шаг вперед. Умаявшись, он отер лоб и сказал солдату, наблюдавшему, как он тужился:

— Во, паря, хоть в Киев валяй!..

Засмеялся и начал жить лагерной жизнью“.

Только дважды судьба сталкивает Старцова с ручьевским мужиком Лепендиным. Но недаром не только автор, а и читатель романа — Горький придавали особое значение этой фигуре произведения. „Пускай скажет Федор!.. Федор!.. Шпарь как давеча!..“ — своего вожака, лучшего выразителя интересов крестьянского мира видит в этом инвалиде войны родная деревня. Лепендин стихийно близок к большевикам. Он воплощает собой стремление народа к новой жизни, ту неуклонную верность делу революции, которую так и не умеет постичь Андрей Старцов.

Народ — подлинный творец истории — эту мысль художественными средствами стремится утвердить Федин. Любые поиски особых путей для интеллигенции в отрыве от народа способны лишь завести в безнадежный тупик. Такова образная концепция романа. Впоследствии идея эта будет широко и всесторонне развита в советской литературе вплоть до таких эпических полотен, как „Жизнь Клима Самгина“ М. Горького, „Хождение по мукам“ А. Толстого и трилогия самого К. Федина. Наиболее ярким и сильным художественным зачином темы — интеллигенция и революция — в литературе первой половины 20-х годов стал роман „Города и годы“.

Федин неоднократно говорил, что Германия „является как бы одним из главных действующих лиц“ книги. Это действительно так. Разнообразные фигуры, обрисованные в произведении, представляют чуть ли не все социальные слои и группы городской немецкой провинции. Тут и юнкерско-буржуазная среда от

маркграфа Шенау до семейства Урбах, и монархопослушный социал-демократ Пауль Генинг, и ремесленник Майер, отважившийся протестовать против войны и брошенный за тюремную решетку, и т. д. Перед читателем возникает картина развития самосознания германского общества на протяжении империалистической войны, вплоть до ноябрьской революции 1918 года.

Немало помог в работе художнику и его „иллюстрированный“ дневник, вывезенный на родину. Роман тоже документирован. В сюжетное повествование вклиниваются и, сочетаясь с авторскими лирическими отступлениями, по ходу действия мелькают извлечения из тогдашней германской периодики, официальные воззвания и пр., дающие представления об атмосфере времени, об его „образе“. „Собранные мной в плену газетные вырезки… — писал Федин, — выполнили свою службу, помогая воссоздать картину пресловутого прусского филистерства, национальной нетерпимости, опьянения кровью… С приходом к власти Гитлера немецкий перевод этого романа был сожжен в Германии…“

В „Городах и годах“ писатель впервые обращается к образному исследованию темы, которая займет исключительное место во всем его творчестве, станет одной из ярких отличительных черт Федина в литературе. Тема эта — художник и общество, искусство в революции. Основные эпизоды представлены в „германских“ главах романа. Изображая способность человека к подлинному восприятию искусства, разнообразные социально-нравственные стороны таких отношений, автор изобличает германский национализм, филистерство и милитаризм; он лепит характеры, в которых иногда с прозорливой точностью угаданы предтечи и духовные родичи гитлеровского фашизма. Те самые, от чьих рук в пламени общего книжного костра суждено погибнуть впоследствии и первому немецкому переводу „Города и годы“.

…Жестокий договор еще в мирные времена заключает меценат маркграф фон цур Мюлен-Шенау с молодым безвестным художником Куртом Ваном. Он дает тому деньги, много денег, чтобы безбедно жить, спокойно тратиться на краски и холсты и писать все, что заблагорассудится. Условия сделки беспощадны. Курт Ван по своей воле не вправе даже показывать готовые произведения посторонним. Полотна, этюды, рисунки, наброски — все, что создаст талантливый художник, все без изъятий, должно поступать в одни руки, в полную собственность маркграфа, в его запасники и храниться там, на полках или за шторками, до тех пор, пока меценат сам не решит, что час пробил. И настала пора явить миру новое живописное чудо,

восходящее светило.

Играя судьбами людей, аристократ Шенау не прочь таким способом, если явится возможность, прославиться сам. Пока же талантливому художнику неопределенную череду лет предоставляется писать в безвестность, в немоту. Меценат присваивает себе право быть единственным распорядителем судьбы таланта. Он покупает душу художника.

Разборчивого потребителя культуры, гурмана от искусства, фон цур Мюлен-Шенау снедают завистливое тщеславие и мания самовозвеличивания. Его гложут корысть, злоба, и он начисто лишен тех нравственных качеств и свойств, ради которых существует художественная культура, — добра, человеколюбия, творчества.

Свою внутреннюю пустоту Шенау и стремится поначалу любыми способами скрыть от окружающих. Пока обстоятельства не кладут конец вынужденному маскараду и не дают выхода подлинным страстям и побуждениям. В сумятице грянувшей мировой войны, став офицером кайзеровской армии, затем главарем контрреволюционной банды, Шенау может безгранично властвовать над людьми, давить, разрушать, убивать и вешать, оставаясь в то же время вроде бы даже блюстителем кодекса дворянской чести. Наконец он становится самим собой,

Вначале маркграф предназначал себе роль радетеля и благодетеля искусства. Но вот настала полоса социальных потрясений. Курт Ван свернул не на ту дорогу, которую готовил ему Шенау. Стал революционером, идейным противником.

Узнав об этом, едва ли не первое, что делает по возвращении с войны Шенау, — отдает распоряжение извлечь из запасников родового замка и собрать у него в кабинете все полотна и рисунки непокорного художника, все его детища.

Вот они лежат, сваленные в одну груду, в общую кучу, всё, что наработал, всё, что успел создать, сотворил талантливый живописец. Без этой бесформенно сваленной посреди комнаты на полу кучи раскрашенных и перевернутых холстов, деревяшек подрамников и бумажных листов нет художника, или, по крайней мере, нет прошлого у художника.

И, сидя над этой беспорядочной грудой незащищенных творений искусства, маркграф фон цур Мюлен-Шенау свершает свою изощренную месть. Один за другим он кромсает ножом и режет в куски холсты и рисунки. И делает это с тем сладострастием, как будто полосует живую душу мятежного художника.

При этом он испытывает острое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Это наслаждение скопца, наслаждение Герострата,

тщеславно поджигающего творение зодчества, и это наслаждение фашиста, беспощадного ко всему, что мешает обратить жизнь в однообразную казарму, где наилучшим образом исполняются самые бредовые теории о господстве избранных.

Да, по своему отношению к культуре, к искусству отпрыск старинной дворянской фамилии фон цур Мюлен-Шенау — предтеча фашизма. Не забудем ведь, что среди его духовных преемников тоже попадались впоследствии не совсем обычные собиратели произведений живописи.

Очень многие из них коллекционировали награбленные сокровища изобразительного искусства. Что ничуть не препятствовало им, как известно, обходиться с неугодными шедеврами точно так же, как с другими их собратьями по художественной культуре, — при помощи костров, кувалд и резательных машин… Достаточно вспомнить хотя бы так называемые выставки „выродившегося искусства“, на которые нацисты издевательски стаскивали многие выдающиеся творения новаторской живописи и скульптуры XX века. Часть еще не уничтоженных произведений, отмеченных неприемлемой смелостью мысли и формы, выставлялась здесь на публичное позорище.

На духовную общность иных своих персонажей с предтечами германского фашизма указывал Федин. „Бывает, что воображение поражают явления, которые еще не развились и не закрепились в названиях, — отмечал писатель. — Маркграф фон цур Мюлен-Шенау в романе „Города и годы“ — типичный фашист. В прусском милитаризме я уже видел зародыши фашизма тогда, во время своего четырехлетнего пребывания в Германии… и мог бы, при надобности, часть этих впечатлений перенести по времени действия…“

Это было долголетнее ощущение. Вскоре после вероломного нападения фашистской Германии на нашу страну Федин писал одному из читателей-друзей 3 сентября 1941 года: „…Спасибо за хорошее чувство ко мне… Стоит сейчас перечитать „Города и годы“ — там все о нас и наших днях… Как все повторилось ужасно!“

…В разгаре была как раз работа над одной из „германских“ глав романа, когда автора захватило новое увлечение…

ПОБРАТИМЫ

Федин и Соколов-Микитов познакомились в конце июля — начале августа 1922 года. И почти сразу подружились. Встреча произошла в Петроградском Доме книги, напротив Казанского собора, где помещался новый критико-библиографический журнал «Книга и революция». Федин уже давно освоился с обязанностями редактора.

В комнатку журнала Ивана Сергеевича привела рекомендация Горького. Тот еще в 1917 году, в редакции петроградской газеты «Новая жизнь», заприметил автора, рассказы которого из деревенской жизни были написаны чистейшим самородным языком.

Наибольшим литературным авторитетом для Соколова-Микитова был Бунин. «В далекой юности, — пишет Соколов-Микитов в своих воспоминаниях, — впервые прочитал я книгу бунинских рассказов. Мне запомнилась эта книга, синяя ее обложка. Что-то родное и близкое было в рассказах, изображавших жизнь русской деревни… Всю свою долгую жизнь я не расстаюсь с книгами Бунина».

В Бунине Соколова-Микитова привлекали не только сокровища русской речи, но и проникновение в психологию деревенского существования, в извечные тайны единения и родства человека и природы, питающие его книги ощущения поэзии и прозы традиционной жизни российской деревни, дошедшей до крайней черты обнищания и жестоких контрастов в дореволюционную пору. А это означало вместе с тем, что он учился у этого мастера реалистическому мужеству, искусству всегда оставаться верным истине, писать правду о деревне.

В тех же воспоминаниях Соколов-Микитов рассказывает о личных встречах с И.А. Буниным времен гражданской войны в Одессе, находившейся в руках белогвардейцев. Как Бунин в качестве заведующего литературным отделом газетной редакции принял к печати деревенский рассказ Соколова-Микитова, плававшего в тот момент матросом на торговом судне но Черному морю, сразу предложив «фиксу» — ежемесячную плату за постоянное сотрудничество; о тогдашних беседах между ними; о последующей переписке. Сохранилась книга Бунина «Господин из Сан-Франциско» с надписью, датированной 4 июля 1921 года: «Дорогой Иван Сергеевич, от души желаю всяческих успехов Вашему таланту! Ив. Бунин».

Все это стоит поиметь в виду уже теперь, потому что Бунин, как безмолвный свидетель и авторитетнейший спутник, пройдет

так или иначе через всю долгую историю отношений двух друзей, двух писателей — Федина и Соколова-Микитова.

После Черного моря Соколов-Микитов матросом и судовым рабочим бороздил моря вокруг Европы, повидал страны Африки и Азии. Только в первой половине 1922 года возвратился домой, на обновленную Родину. По дороге, в Германии, завернул к Горькому, находившемуся в Берлине. Тот дал адрес, назвал надежного человека, на которого можно опереться на первых порах: журнал «Книга и революция», Федин…

Так определилась их встреча. «Хорошо помню, — обращаясь к Федину, писал впоследствии Соколов-Микитов, — как 40 лет назад я пришел в редакцию „Книги и революции“ с приветом от Горького. В моей жизни это был незабываемый, решающий судьбу год… После долгих заморских скитаний, на чистеньком немецком пароходе я вернулся в родную Россию… Ты был первым русским советским писателем, с которым свела меня на родной земле судьба. Первая встреча положила начало дружбе».

Федин переживал тогда особый момент в своем развитии. Новообращенный петербуржец, он жадно впитывал книжную культуру и вместе с тем начинал противиться завораживающим ритмам внутрилитературнои жизни большого города. Его уже слегка тяготили бесконечные ночные споры о путях искусства, композиции, «словесной фактуре», сюжетосложении, формальном методе.

Встреча с необычным человеком, каким был И.С. Соколов-Микитов, отвечала потребностям натуры Федина. Она была как желанная встряска, как отклик на внутренний зов: «Очнись! Осмотрись! Есть и другая жизнь!..» Та самая жизнь, которая в крови, наверное, еще от поколений мужичьих предков отца, которая то так, то этак вела свой бег в тебе, прорываясь в образах и картинах твоих писаний. Мир земных щедрот, красот природы, необъятных далей и просторов России, вольницы и лихого раздолья. Ради всего этого ты еще мальчишкой, вместе с другом Колькой, совершал побеги на Волгу, таскать из воды сазанов…

Теперь перед желтым фанерным столом редакции «Книги и революции», испятнанным фиолетовыми кляксами и следами курильных ожогов, неуклюже избоченясь, сидел человек, чем-то сразу вдруг всколыхнувший забытые детские воспоминания. Очень скоро выяснилось, что они ровесники. Федин лишь на три месяца старше. Соколов-Микитов зато был, может, на четверть вершка выше ростом — «верста коломенская», как позже звал его Федин. Да и плечами пошире и мускулами покрепче сотрудника «Книги и революции» выдался гость. Схватись, допустим, шутки ради бороться — с такими плечищами, грудью и клещами

пальцев сразу положит на лопатки. А по нраву, чувствуется, неторопыга, добряк.

Удивительно только, как к тридцати годам Иван Сергеевич сумел совсем полысеть, до лоска брил череп. Но это только еще больше подчеркивало молодую свежесть загорелого, обветренного лица, отороченного татарской, клинышком, темной бородкой. Из-под крутой лепки необъятного лба жарко глядели глубоко посаженные светло-серые глаза. Когда он задумывался, они становились прозрачными, взгляд неуловимым, как будто ему дано было уследить пролетающие мгновения.

Неторопливо посасывая папироску и удовлетворенно хмыкая, рассказывал Иван Сергеевич о поэзии дальних странствий, о закатах на океане, о красках Африки и о богатых рыбой темноводных лесных реках родной Смоленщины, а также о самых сложных переплетах, в которые, случалось, ставила его судьба. О каторжном труде матроса, о страшных морских штормах, о полуголодных заграничных скитаниях.

Много нашлось и общих литературных тем. Соколов-Микитов интересно говорил о Берлине, о группирующихся там литераторах-эмигрантах, часть которых обдумывает пути возвращения на Родину, об активно действующих в Германии прогрессивных русских издательствах и журналах. Дополнительные перемены в этот климат, по словам Соколова-Микитова, внес приезд в Берлин Горького, который прибыл туда весной после лечения в Шварцвальде. В последние месяцы Горький особенно сблизился и сдружился с Алексеем Николаевичем Толстым, самым значительным и ярким из писателей-эмигрантов. Толстой еще не во всем разделяет политическую платформу большевиков, но считает их единственной реальной властью в России, признанной народом, и, как он выразился, хочет хоть гвоздик собственный вбить в истрепанный бурями русский корабль. Каждый истинный патриот, по его мнению, должен теперь сотрудничать с Советской властью. В Берлин Толстой перебрался прошлой осенью из Парижа. Говорит, что тут ближе к России, да и получил подходящее деловое приглашение. За полгода с небольшим, что он редактирует «Литературные приложения» к газете «Накануне», в этом органе эмигрантов-«возвращенцев» происходят заметные изменения. Толстой напечатал там многих советских писателей — Горького, Есенина, Вс. Иванова, Чуковского, Булгакова, Катаева, Лидина…

— Кстати, и я занес Толстому несколько мелочей, — сказал Иван Сергеевич. — Он поручил вам… тебе кланяться, интересовался — дошло ли его письмо? Твою повесть и рассказ

«Сад» Толстой считает литературными событиями и ждет новых вещей…

Федин потянулся к ящику стола, отыскал голубенький конверт со свежим почтовым штемпелем — жирно оттиснутыми немецкими буквами: «заказное». Это было недавнее письмо от А. Толстого, в котором тот развивал планы дальнейшего делового сотрудничества.

Заочное знакомство затеялось с рассказа «Сад». После сообщения в печати о присуждении «Саду» первой конкурсной премии А. Толстой запросил рассказ для «Литературных приложений». Там он и был впервые напечатан 18 июня 1922 года. В редакции у А. Толстого лежал уже и отрывок из повести «Анна Тимофевна», который, под названием «Чудо», тоже увидел свет на страницах «Приложений»…

Даже строки нынешнего короткого письма показывали размах деятельности А. Толстого в пользу советской культуры. Он был причастен и к выпуску в берлинском издательстве «Русское творчество» первого литературно-художественного альманаха «Серапионовы братья» и хлопотал уже о подготовке второго номера. Толстой ждал от Федина статью об Александре Блоке, умершем в августе 1921 года. Рассчитывал на присылку через Чуковского рассказа Федина «Конец мира». При его содействии хотел получить новые произведения советских авторов…

Федин быстро пробежал глазами письмо, внутренне сверяясь, не ускользнула ли какая-нибудь нужная для разговора подробность.

— И где теперь Алексей Николаевич? — поинтересовался он.

— Может, в этот час вместе с Горьким прогуливается по песчаному взморью, на германском Балтийском побережье. Обосновались там по соседству с семьями на летний отпуск. Думаю, что Горький еще постарается его оболыпевичить… Толстой для этого созрел, сам этого хочет. Скоро, наверное, будем встречать его здесь.

15 октября 1922 года в «Литературном приложении» к газете «Накануне» было напечатано письмо И.С. Соколова-Микитова к А.Н. Толстому. Оно начиналось словами: «Я теперь счастлив тем, что я в России…» Содержание письма, возможно, предварительно обсуждалось с Фединым.

Предсказание Ивана Сергеевича относительно А.Н. Толстого сбылось уже через год. 1 августа 1923 года Алексей Николаевич вместе с семьей сошел с парохода на петроградскую пристань. На родную землю Толстой вернулся уже советским писателем, автором революционного романа «Аэлита».

После прибытия А. Толстого в Петроград заочное знакомство

с Фединым стало переходить в короткие отношения, а затем в дружбу. Душевную склонность к Алексею Николаевичу питал и Соколов-Микитов. Так что в недалеком будущем Толстому суждено было стать новым лицом, которое как бы дополнительно связывало друзей.

…Летом 1922 года Соколов-Микитов немалое время гостил в Петрограде. Он успел перезнакомиться со всеми «серапионами», посещал их субботние заседания. После устройства собственных литературных дел выехал к родителям в глухую деревеньку Кочаны Дорогобужского уезда Смоленской губернии, где решил постоянно обосноваться.

«Вот о „серапионах“, — подытоживал Иван Сергеевич свои питерские впечатления в письмах Федину осени 1922 года, — в них для меня есть чужое… Очень *инженеры* (о младших говорю) — уж очень учены, очень способны, очень без задоринки, приват-доценты в двадцать лет, даже страшно… Вот люблю тебя и Иванова… „стариков“. Вы оба *искренние.* Собственно, и волнует-то человека лишь искренность, вот когда веришь, что истинно Душу кладет… (…твой „Сад“ берет искренностью, которая есть любовь…)».

«Я не умею писать, Костя, — признается Соколов-Микитов в другой раз. — Если бы ты был тут, мы говорили бы вечерами — есть в нас что-то общее: человек человеку отвечает, как гитара гитаре, на которых струны натянуты на один лад, хотя бы одна струна. Из всех „серапионов“ я полюбил больше всего тебя (человек — не гитара — струн больше; и у нас с тобой нашлись созвучия…)».

Вскоре после возвращения из Петрограда в родительский дом, уже с осени 1922 года, Соколов-Микитов начинает зазывать Федина к себе в деревню. Зачастили письма.

Судя по содержащимся в них описаниям, места эти были и впрямь благословенные. Нетронутые, первозданные, мужицкие, куда сквозь защитные дебри лесов и болотные топи, за редким исключением, еще не проложила себе неизбежных троп обутая в железо городская цивилизация. Но зато и жизнь здесь во многом была как будто застывшая, патриархальная. Нелегкая даже для такого повидавшего виды тамошнего обитателя, как Иван Сергеевич.

В межсезонье развозило дороги, и добраться сюда нельзя было «ни пехом, ни лазом». Даже телеграммы не пробивались неделями. Но зато какая красотища воцарялась, когда природа обретала равновесие, когда, скажем, ложился снег. «Милый Костя — *обязательно, непременно, решительно приезжай!* — нетерпеливо подчеркивал эти слова Соколов-Микитов. — У нас

снега. Вчера я прошел со станции 20 верст пехом, за лошадью и пил глазами белизну… Здесь у нас тишина, и снегири, и синицы».

Однако выбраться из тенет повседневных дел и обязанностей для находившегося на штатной работе Федина было непросто. Это удалось без малого лишь через год. В первых числах сентября 1923 года Федин прибыл трясучим почтовым ночным поездом на смоленскую станцию Семлёво. А уж оттуда — по неторопливо петлявшим проселкам через пестро сидевшие на взгорках деревушки, желтевшие свежим жнитвом поля, песчано-каменистые пустоши и сумрачно дремавшие леса долго тащился лошадьми до Кочанов.

Тут, в доме родителей Ивана Сергеевича, Федин провел около трех недель, свой редакционный отпуск. Отдыхал, бродил по здешней округе, вдосталь насыщался тишиной, вел разговоры с мужиками, ловил голавлей с пастухом Прокопом в речке Невестнице, ночевал у костра в лесу, в избе фельдшера в соседней деревне, стрелял дробью белок, тетерок и рябчиков, парился в маленькой бане, с тусклым, как рыбья чешуя, оконцем, бросая в бочку с водой раскаленные докрасна булыжники. А помимо всего этого, свежим натиском сил старался исполнить заданный «урок» — закончить намеченные главы романа «Города и годы».

В этот-то приезд, когда гость передавал Соколову-Микитову свои впечатления от здешней хуторской крестьянской жизни, когда в бесконечных беседах и спорах друзья обсуждали «мировые проблемы», дальнейшие пути развития революции в стране, и возникла идея совместного публицистического произведения — «очерка с продолжениями». На тему взаимоотношений, или, как тогда говорили, — «смычки» города и деревни.

Очерки предполагалось давать в форме «переписки», два письма враз: «деревню» должен был представлять Соколов-Микитов, «город» — Федин. Публиковать очерковый цикл намечалось в журнале.

В десятых числах ноября 1923 года первое очерковое «письмо», сочиненное Фединым, было готово и отослано смоленскому напарнику. В личных письмах петроградский соавтор высказывал замечания, касающиеся содержания цикла «Кочаны — Петроград».

«Нельзя сказать, чтобы я очень остался доволен своим первым „письмом“, — размышлял Федин. — Как найдешь его ты? Но в нем много такого, что вызовет твои возражения… или послужит тебе трамплином для каких-нибудь рассуждений. Я думаю, что ты сумеешь в своем „письме“ уязвить чувства „городского человека“, и мне нетрудно будет во втором „письме“ разговориться с городом. Но, как я уже писал тебе, темой нашей

должна остаться современная, теперешняя деревня. Говорить о ней будут два разных (допустим — разных) умозрения — городское и деревенское… Надо непременно в 1-й номер…»

«Письмо» твое («Кочаны — Петербург») получил, — сообщал, в свою очередь, И.С. Соколов-Микитов, — и сижу за ответом… Чувствую главную трудность в выборе *тона:* интимно, документально или беллетристично? Твое «письмо» главным образом беллетристично. — Я должен писать *не так, как ты*… и я пытаюсь писать *документально*… у нас ведь разные краски…

Совместный замысел не был доведен до конца, и очерковый цикл «Кочаны — Петроград» не появился на журнальных страницах. Но тогдашнее погружение Федина в смоленскую сельщину имело непредвиденные последствия.

Еще за два месяца до сентябрьского знакомства с Кочанами, готовясь к поездке, Федин сообщал своему смоленскому адресату: «Ничего, кроме романа, писать не могу. А работаю над ним второй год и за это время не написал ни единого даже малюсенького рассказа».

Проходит десяток дней после того, как истовый романист обосновался на новом месте, — и настроение его меняется. Уже есть тема и даже название рассказа. «Дорик, — сообщает Федин жене, — я все равно не смогу написать тебе подробно о здешней жизни. Она так разнообразна в своем однообразии, что рассказать о ней можно только в рассказе. У меня есть уже тема — „Тишина“, рассказ, который может быть лучше и классичиее „Сада“. Если я исполню свой урок — закончу в Кочанах первую часть романа, то по приезде домой мы возьмемся с тобой за „Тишину“.

Дав себе положенный роздых, осмотревшись в новых деревенских местах, романист прочно усаживается за „письменный стол“. Так называет он могучее тесовое сооружение на двух крестовинах, от которого веет прохладой, тишиной и запахами свежемытой скобленой древесины. В светлом застывшем раздолье большого крестьянского дома так ясно встают внутренние картины, так просто являются точные искомые слова!.. А надо торопиться. Роман уже „зафрахтован“ журналом „Красная новь“. И сразу по приезде надо отдавать в печать первую половину.

Работается славно. Как вдруг… Он начинает примечать, будто включился внутренний стопор. Почему-то слабеет прежний запал, вянет настроение, глохнет интерес. Прежнее куда-то отодвинулось, ушло… Пока не настает черед сообщить жене: „… просидел над рукописью с восьми утра, сейчас шесть часов вечера, и не написал ни одной строчки… Тот „урок“, который я

поставил себе… не будет выполнен даже наполовину…“

А происходит вот что: писатель весь уже во власти новых впечатлений, в плену деревни…

По возвращении в Петроград перед глазами продолжают всплывать картины сельской Смоленщины, все резче выступают фигуры будущих героев. Не только „Тишины“, но уже и следующих новелл. И среди прочего — образы людей, жизненные судьбы и характеры которых дадут материал для обрисовки персонажей трех рассказов: Прокопа, он же „дядя Ремонт“, и его приемной дочери Проски…

Эту самую Проску, красавицу и плясунью, как и пастуха Прокопа, Федин заприметил почти сразу же по приезде в Кочаны. Проска, русоголовая, пышная, румяная, в цветастом ситцевом платье, — „прямо-таки гоголевская девка“, по отзыву Федина, весело запрягала стоявшую на дворе в оглоблях кобылу.

Оба они, отец и дочь, за которой по деревне ходила слава, если так можно сказать, „роковой женщины“, к тому же не без „подачи“ Соколова-Микитова, начиненного тьмой красочных историй о своих односельчанах, поразили воображение Федина.

В первые зимние месяцы 1924 года рассказ „Тишина“ завершен. К началу марта его успевают обсудить на собрании „серапионов“, где своей неожиданностью он произвел фурор. „А мне захотелось тем временем, — сообщая об этом, прибавляет Федин многозначительно, — написать новые „заметки“ о твоей деревне, в каком-нибудь новом преломлении…“

Рассказ „Тишина“, по размеру один из самых крупных в творчестве Федина-новеллиста, уступающий в этом смысле разве лишь постепенно созревавшему рассказу „Мужики“ („Пастух“), был уже первым произведением будущего сборника „Трансвааль“.

…Говорят, что люди незнакомые, никогда прежде не встречавшиеся, порой будто узнают друг друга, точно они росли вместе с самого детства. Так и они — „узнали“. Уже с того первого появления Ивана Сергеевича в редакции „Книги и революции“. Дружба постепенно перешла в чувство почти родственное.

Писатель И.С. Соколов-Микитов был крестьянин по духу, охотник, рыболов, моряк, землепроходец. Этому соответствовали реликвии, хранившиеся в середине 20-х годов на приметном месте в квартире его ленинградского друга. У меня „…на письменном столе, — напоминал Федин в одном из писем, — стоят твой портрет, лапоток из вязового лыка единственного Прокопа (пара того, что на столе у тебя в Вяжном); табакерка работы Сергея Никитича, да лежит гордый хвост глухаря,

забитого в Бездони. Я помню о тебе всегда“.

Они были душевно неразлучны… Вот что они хотели этим сказать! А „единственный Прокоп“, их общий приятель, пастух, спроворивший своим ловким кочедыгом эти игрушечные лапотки, тот самый, кто столь явно послужил прототипом персонажей в деревенских рассказах Федина, как бы самой фигурой своей скреплял их литературное соратничество. Точно так же, как оба они чтили добрый нрав и умелость рук изготовителя табакерки Сергея Никитича, отца Ивана Сергеевича…

Самые близкие и многосторонние отношения объединяли Федина и Соколова-Микитова в течение более чем полувека. С памятной петроградской встречи до смерти Ивана Сергеевича… Причем это была не просто житейская дружба, бережно пронесенная через гряду лет, но и обоюдное духовное и литературное воздействие, значение которого отмечали оба писателя.

Конечно, интенсивность дружеских и творческих связей, их содержание и преимущественный вес в ту или иную сторону, как и все живое, менялись и не были одинаковы в разную пору. Но так или иначе, если даже принять во внимание одну только протяженность во времени, перед нами случай, быть может, уникальный в летописи литературы.

Произведения Соколова-Микитова всегда дивили Федина. Сочинения эти представляли собой то словно бы „кузовки“ народных сказок, прибауток, неповторимых собраний живого фольклора, то полные тонкой лирики и мастерски отточенные очерки, рассказы и повести о деревне, о слиянии человека с природой, о море, лесах, охоте, дальних и близких странствиях, поэтических открытиях вроде бы привычной округи. И все это, как выразился позже Федин в итоговой статье о творчестве писателя, составляло „песнь о русском человеке и его земле“.

„И. Соколов-Микитов стоит не одиноко в нашей литературе, — писал Федин уже в 1975 году. — Из его первых друзей-наставников он сам называет в давнем прошлом Аксакова, в недавнем — Бунина, Горького. Хочется сказать, что он чем-то близок Михаилу Пришвину, Владимиру Арсеньеву… С первым его сближает философско-поэтический взгляд на явления. Последних объединяет с ним беспокойный зов к движению, к открытиям нового в жизни“.

В свою очередь, Соколов-Микитов ценил в Федине дарованную тому способность „объясняться с историей“, воплощать в картинах психологию людей во времени, движение эпохи, склонность того к социальной прозе, к многосложному искусству романа. А с человеческой стороны — нежность души,

исповедальную искренность, основательность натуры, надежность и верность в дружбе, ученость и книжную премудрость, которой самому в такой степени превзойти не удалось, разносторонность и масштабы художественного творчества.

Словом, дружба этого городского человека и деревенского, эпика и лирика, вольного чувства и сфокусированной мысли, сердца и разума, если иметь в виду сравнительное преобладание того и другого в каждом случае, отчасти держалась и на взаимных различиях, даже на контрастах, — не только на сходстве. Однако она была всегдашней.

„На речке Невестнице, где я некогда писал свои шуточные „Былицы“, в лесной деревеньке Кочаны… — обращаясь к Федину, вспоминал в 1962 году Соколов-Микитов, — ты дописывал свой первый роман „Города и годы“, там же зачиналась твоя книга „Трансвааль“… В твоих прежних писаниях, в новом романе, я с радостью встречаю знакомые мужицкие имена. Прообразы „деревенских“ героев рождались и жили на знакомых нам лесных скромных речках, воды которых извечно питают родную тебе великую русскую реку матушку-Волгу…“

Наделенный крупным самобытным талантом, без всякой суетности и грызущей ревности тщеславия, довольствующийся чем бог послал, лишь бы оставаться в согласии со своей совестью, более всего на свете ценящий простые радости бытия, доступные каждому человеку, обладающий ясным умом и народной сметкой, нравом стойким и неунывающим, Соколов-Микитов был для Федина образцом писателя и человека, связанного с корневыми началами народной жизни. Даже своего рода нравственным эталоном русского человека вообще.

„У меня такое чувство, — замечал Федин в одном из писем к нему 1926 года, — что Кочаны, Кислово — настоящая моя родина, и когда я думаю о тебе (ты в моем воображении всегда окружен мужиками, липами, своей семьей, Дорогобужскими человеками — Россией) — мне как-то грустно и сладко вместе. Единственный ты у меня брат на этой земле“.

Федин был своим человеком в доме Соколова-Микитова. Сначала — в деревнях Кочаны и Кислово на Смоленщине, куда приезжал в 1923, 1925 и 1926 годах. Потом — в Гатчине, под Ленинградом, куда с конца 20-х годов перебралось это семейство на постоянное жительство.

К нему благоволила заводная, статная, красивая русской красотой Лидия Ивановна и ластились три малолетних дочки Соколовых-Микитовых. Отмечая семейственность взаимных отношений, оба писателя иногда награждали друг друга в письмах ласковым титулом „куманек“.

…Исполненные поэзии деревенской жизни ранние рассказы Федина в сборнике „Трансвааль“ обнаруживают родство содержания с создававшимся одновременно романом „Города и годы“. Иначе, конечно, и быть не могло. Это естественное кровообращение внутри единого организма — между жанром романа и произведениями иных жанров в творчестве писателя.

В романе „Города и годы“ настойчиво развита идея единства человека и природы (в описаниях проходившего в лесистых горах необузданного и безнадзорного детства Мари, в фигуре безногого инвалида войны мужика Лепендина и т. п.). Да и сам замысел произведения, возникший задолго до знакомства со Смоленщиной, вырос из первоначальных образных противопоставлений глубокого обывательского тупика, на который обрек себя интеллигент Андрей Старцов, и любования созидательной жизнедеятельностью выразителя народных интересов мужика Лепендина; родился как бы на сопряжении двух художественных полюсов — стихии подлинных чувств и обывательской потребы, натурального и деланного, природного и суетного, в какой-то степени, можно сказать, — лучших сторон „деревни“ и худших уродств „города“.

Роман „Города и годы“ и рассказ „Тишина“, например, роднят общие темы „предательства в любви“ и очистительной схватки с „житейской потребой“, которая грязнит и паскудит красоту мира… Грачи, плотно заселившие своими многоярусными гнездами некогда красивый парк, отравившие его, загадившие, сделавшие непрохожим для человека, обратившие парк в подобие „громадного заброшенного курятника“, — это, если угодно, художественный аналог многоэтажному двору-„колодцу“ с выставленными в окнах для утренней просушки перинами. С описаний этого двора-„колодца“ начинается роман. Ожесточенная схватка, которую затевает с „грачиной рощей“, „грязной птицей, вороньей породой“, старик Александр Антонович, сам в былые годы не устоявший перед „житейской потребой“, тоже по-своему перекликается с полубезумными метаниями „предателя в любви“ Андрея Старцова…

Рассказ „Тишина“, таким образом, выдвигая новый мотив, развивает прежние… Вместе с тем дальнейшее погружение в поэзию деревенской жизни требовало уже иной, „классичной“, по выражению автора, формы.

Обсуждение „Тишины“ было шумным. Автор сообщал об этом Соколову-Микитову 4 марта 1924 года: „Серапионы“ были сбиты с толку: не могут себе уяснить *теоретически* — отход ли это к окостеневающей форме Бунина, измена — стало быть — роману, или только этап, веха на пути к новой форме. Разговору было

много». И добавлял тут же: «Все это к тому, что надо кончить роман, отдать ему все, что у меня есть экспериментаторского, неспокойного, пусть всосет, возьмет, пусть оставит меня запахам дня».

Ко второй половине 1924 года роман о войне и революции «Города и годы» был завершен. В середине ноября издательство Ленгиз выпустило его из печати.

Хорошо потрудившийся и на сей раз внутренне удовлетворенный писатель едва ли не впервые за многие годы позволил себе поблажку — заправский курортный отпуск, выезд на Черноморское побережье Кавказа в бархатный сезон, беззаботное житье в Гудаутах. Однако мысль, точно заведенная, не хотела отдыхать. С Кавказа Федин привез сюжеты двух «абхазских рассказов» о патриархальном быте здешних маленьких городков — «Бочка» и «Суук-су», — которые позже тоже вошли в сборник «Трансвааль».

Летом 1925 года Федин снова побывал на Смоленщине. Три месяца, по собственным словам в письме к Горькому, он «прожил в Дорогобужских дебрях, изъездил на лошадях верст тысячу, исходил сотни верст пешком… Пожил у доброго десятка мужиков…». Писатель завел дружбу также с приметными в округе людьми из интеллигенции, например, с археологом и краеведом М.И. Погодиным (внуком известного историка и писателя М.П. Погодина). Много впечатлений дала охота. «С ружьем постоянно передвигаешься, — сообщал Федин Горькому, — подолгу не засиживаешься… Новое, новое без конца. Сама охота — прекрасная штука! Кончилась она у меня волчьей облавой, на которой убили 4-х волков, один из них — мой!.. Облава была в Бездоне (каково название?) — это волчий *город,* с площадями, проспектами, канализацией (вырытые на болоте колодцы)…»

К моменту возвращения в Ленинград у писателя уже обрисовываются замыслы почти всех произведений сборника «Трансвааль».

Для иллюстрации внутреннего осмысления деревни, которое происходит при этом, характерен такой эпизод.

В июле 1926 года Федин третий раз приехал в родные места Ивана Сергеевича. Там, после примерно десятидневной побывки в Кислово-Вяжном, друзья начали снаряжаться в задуманный лодочный поход по Оке на моторке. Проплыть предполагалось несколько сот верст — от Калуги, где готовилась лодка, через Серпухов, Каширу, Коломну до Нижнего Новгорода. Третьим участником команды новоявленных «робинзонов» на роль машиниста и кока был взят разбитной местный мужик, рыболов и охотник Василий Аниконыч.

25 июля лодка с приметным названием «Засупонь» с двумя писателями и мотористом на борту стартовала из Калуги. Факт этот не был скрыт от читательского внимания. Если не считать краткого сообщения агентства РОСТА, заранее появившегося в «Известиях», очерковые корреспонденции о плавании, не без юмора сочинявшиеся Фединым, печатались в трех вечерних выпусках «Красной газеты».

Впрочем, планы, мечты и фантазии оказались богаче реальности. Путешественники пробыли на Оке только неделю, проделав около 250 верст. К началу августа сломалась погода, дожди и ветры мешали плыть. Не столь приятным стало постоянное пребывание под открытым небом.

Однако дурную погоду они бы еще перенесли. Проблема была в другом. Обострились прежние расхождения между двумя «капитанами» о дальнейших целях и назначении маршрута. Они выявились уже при предварительном обсуждении летних планов. Суть возможного выбора мест отдыха и работы Федин формулировал в одном из тогдашних писем: «Так вот — где? На первой или второй родине? На Волге или у тебя?»

Вопрос остался открытым.

Непоседливого Ивана Сергеевича тянуло в долгие странствия, в новые края, на Север. Во время плавания по Оке (что называется — по «срединной линии») каждый из «капитанов» надеялся склонить другого в пользу собственного дальнейшего маршрута. Федин звал плыть вниз по Волге, «на первую родину»; Соколов-Микитов — в неизведанные дали, на Север.

Начавшаяся непогода положила конец долгой тяжбе. В Коломне путешествие было прервано. Каждый остался при своем. Федин уехал в Хвалынск, под Саратов. Соколов-Микитов, тоже покинув лодку, взял курс путешествия по Северу.

«Милый кум, — писал Федин из Хвалынска своему недавнему спутнику, — не знаю, какие радости предстоят тебе на Севере, но когда я думаю, что ты отказался от Волги, — мне немного жалко тебя. Хвалынск совсем допотопен… Таких садов, как здесь, не видывал даже я. Есть сады по 28 десятин! Урожай нынче небывалый! Все засыпано яблоками. Охота здесь черт знает какая! Против города лежит громадный остров, весь в озерах… Вид на Волгу, на горы (в соснах и орешнике), на сады — чудесный… Право, дружище, ты много потерял, не повидал такой Волги — в пышности, изобилии и прямо-таки древнем благочестии!»

И напоследок автор письма мстительно живописует, преподнося раскрашенный буйством фантазии букет: «На десятки верст — цветущие подсолнухи такой неслыханной вышины, что надо подставить лестницу, чтобы достать цветок! Просо густо так,

что можно ходить по нему, а оно чуть подгибается, как деревянные мостки. В садах собирают с десятины до 3000 пудов яблок! Слива размером в огурец! Огурец в арбуз! Арбуз в дом! То-то!»

Внутреннее ощущение и сопоставительный образ «первой родины» — природных раздолий и нравственно-бытового уклада уездно-деревенского степного Поволжья, сызмальства знакомого Федину, неизменно участвовали в формировании и выработке собственных представлений писателя о деревенской жизни.

Идиллии сельской природы, тишины, охоты и рыбной ловли не мешали художнику зорко видеть реальные жизненные драмы и общественные конфликты действительности… В деревне периода нэпа происходили процессы социально-экономического расслоения крестьянства. Наряду с ростом благосостояния и значительным «осереднячиванием» деревни процент бедноты, в особенности в губерниях с неплодородными землями, оставался еще высоким. Оживились кулацкие элементы. Расширение сферы действия товарно-денежных отношений, которые Советское государство использовало для восстановления и развития народного хозяйства, повлекло за собой известное усиление частнособственнической идеологии и отсталых настроений.

Подъем классового самосознания бедняцко-середняцкой массы и борьба с кулачеством были важнейшими предпосылками дальнейшего укрепления союза рабочего класса и трудового крестьянства, подготовки решающих социалистических преобразований в стране — индустриализации и коллективизации. Изобличение всех видов частнособственнической идеологии и духовной темноты прошлого, которые задерживали вовлечение основных масс крестьянства в социалистическое строительство, обретало особую актуальность.

Многообразные процессы, происходившие в жизни многомиллионного крестьянства 20-х годов, получили достоверное художественное отображение в советской литературе — в произведениях А. Неверова, Л. Сейфуллиной, С. Подъячева, а несколько позже — Ф. Панферова. Свое место занял в этом ряду и сборник Федина «Трансвааль».

Деревни Смоленщины, которые наблюдал Федин, из-за своих болотистых почв и глухих лесов издавна принадлежали к наиболее бедным и отсталым. Это были, по выражению писателя, «лесные глубокие заповедники старого быта». Попытки вырваться из традиционной бедности в первые годы Советской власти повели к тому, что Смоленщина, согласно отчетам Наркомзема, относилась к числу губерний, где «обнаружилось сильное

стремление крестьян снова перейти к хуторскому и отрубному землепользованию». Формы социального расслоения, классовой борьбы и политической маскировки, к которой прибегало кулачество, принимали здесь иной раз причудливый характер.

«Дом моего друга Соколова-Микитова был населен аксаковским духом обожания природы… — вспоминал Федин. — По контрасту с окружающей тишиной мы заводили разговоры о пережитом… Смоленщину в те годы обуревала жгучая горячка: с настойчивостью воды, рассочившей плотину, крестьяне уползали из деревень на хутора. Получив иной раз самый захудалый участок на болоте или в лесном сплошняке, отрубник бежал к себе в глушь и яростно, не щадя пота, копал канавы, чтобы осушить землишку, или корчевал лес, заваливая чем попало всякие следы дорог, которые могли привести стороннего человека на обособившееся хозяйство. Мысли об устройстве своей жизни особливо от общества лежали подколодным пластом в сознании хуторян. Повернуть эти мысли, разворошить так, чтобы хуторянин взглянул на себя обновленным глазом, казалось, было нельзя».

«Повернуть эти мысли, разворошить так», чтобы читатель взглянул на здешнюю жизнь «обновленным глазом» — такую задачу во многом и исполняет художник в сборнике «Трансвааль».

О патриархальной отсталости здешних мест, где, по позднейшему определению Федина, «лишь медленно назревали события, которым предстояло вырасти до размеров социального переворота во всем крестьянстве»; об их кажущейся выключенное™ из процессов, происходящих в соседнем мире больших городов; о лесной глуши и тишине; о словно бы законсервировавшемся здесь вековом крестьянском укладе; и вместе с тем ярко выступающих чертах самобытного русского национального характера; о притягательной нравственной силе коллективизма, человечности, красоте и гримасах царящих здесь наивно-патриархальных порядков и обычаев; о радостях и поэзии близкого общения и полной растворенности человека в природе — вот о каких основных признаках здешней жизни пишет автор сборника «Трансвааль». В таком духе запечатлены картины мужичьего мира и крупно выделенные крестьянские характеры на страницах книги.

Причем иные из персонажей рассказов «Тишина», «Мужики», «Утро в Важном» (пастух Прокоп- «дядя Ремонт», Проска, Ларион и т. д.) даже с фактической достоверностью воссозданы с «натуры». Звенья сюжета нередко отвечают канве реальных событий, происходивших в действительности. Так что мы найдем в рассказах и застреленного в лесу из ружья очередного

Проскиного ухажера, и многие приманчивые для местных парней бесчинства «порченного» городом Лариона, и подробности немудрящей судьбы деревенского бессребреника «дяди Ремонта», и жуткое по безразличию окружающих описание смерти одинокого старика — отца Прокопа, и многое другое. А главное — в этих сохранивших всю силу художественного звучания произведениях — и не потому ли именно сохранивших? — психологически правдиво, без малейших прикрас и иллюзорных оглядок, сурово и светло, воссозданы характеры людей русской деревни, какой она была, какой ее узнал и увидел художник.

В автохарактеристике середины 1947 года, представляющей письменный перечень излюбленного круга чтения и возможных литературных воздействий на себя в разные периоды творческого развития, — в том, что касается прежде всего 20-х годов, Федин сам выделяет три имени русских художников:

> «Достоевский;
> Горький (поздний); Бунин Иван…»

Весьма характерно, что Горький и Бунин поставлены здесь рядом, в одну строку!

Словом, среди литературных авторитетов, объединявших обоих друзей, Федина и Соколова-Микитова, в середине 20-х годов на видном месте стоял Бунин. И способствовала этому среди прочего сама отображаемая действительность — жизненные обстоятельства и окружающие типажи деревенских «глубоких заповедников старого быта»…

Дух горьковской литературно-эстетической программы, и прежде всего ее жизнедеятельная, оптимистическая, революционно-преобразующая действительность, устремленность, органически воспринимались Фединым. Яркое воплощение получило это в романе «Города и годы». Отобразилось и в сборнике «Трансвааль». Любованием человеческой энергией, жизнедеятельностью, оптимистическими началами бытия полнятся многие картины и образы сборника. Хотя и выражено, разумеется, это по-своему, по-федински, отвечая характеру запечатленной действительности.

На переднем плане и в центре внимания большинства произведений сборника — люди крупные, яркие, так или иначе «выламывающиеся» из окружающей среды, азартно вверяющиеся игре жизненных сил и зову натуры, по-своему вступающие в непримиримый бой со здешней неподвижностью, дремотным существованием и заскорузлой обыденщиной. Нередко они вместе с тем вобрали в себя лучшие качества здешней среды, это лучшие люди из народа. Таковы, в сущности, и поэтическая,

протестующая Проска из рассказа «Пастух», которая любит по-настоящему одного беспутного Лариона (и близкая ей по характеру и судьбе Христя — «Утро в Вяжном»), и местный «эпикуреец» пастух Прокоп, и его отец — неугомонный старый бродяга Аверя…

Однако зарядом активной жизнедеятельности и другими привлекательными творческими качествами наделены подчас и персонажи, которые отнюдь не воплощают в себе народных начал и во всех прочих отношениях никак не являются носителями добра.

Таково главное лицо повести «Трансвааль», давшей название сборнику.

«Я сейчас кончаю… „Трансвааль“, — сообщал Федин Горькому 11 февраля 1926 года, — в нем выведен настоящий крепыш, человек, очень любопытный, характер замечательный. Но ведь мой герой негодяй! Редчайший, восхитительный, очень потешный негодяй».

История, о которой пойдет речь, имеет, собственно говоря, два совершенно самостоятельных, хотя и пересекающихся «сюжета». Первый связан с житейской судьбой Юлиуса Андресовича Саарека, воспоминания о котором даже и через сорок лет после его исчезновения из здешних мест, не без воздействия повести Федина, еще передавали и записывали очевидцы.

Второй «сюжет», не менее занимательный и острый, — историко-литературная судьба Вильяма Сваакера.

Действие повести «Трансвааль» развертывается в таких глухих местах Смоленщины, куда даже весть о начавшейся революции 1917 года приходит с большим опозданием. На скудной земле, среди лесов, болот и камней, крестьянствуют самые темные и забитые люди. (Стоит подчеркнуть это, потому что именно с нежелания считаться с особенностями изображенной мужицкой массы начинались во второй половине 20-х годов многие огульные обвинения «рапповцев» в адрес повести.)

«Вильям Сваакер появился в уезде незадолго до революции. Никто толком не знал, откуда он пришел и что понадобилось ему в этой не очень пышной округе, среди остатков помещичьих лесов и в деревнях, упрямо и дико отвоевывавших землю у бесконечных болот. Слух о странном человеке, говорившем смешно по-русски, обширно и легко распространился. Сказывали, что примечательный человек знает какой-то секрет жизни и вознамерился раскрыть его в этом уезде, нигде больше… В то

время калеки начали приползать с далекого фронта к отцам и женам. Все более неясно и хмуро ожидали какого-то пришествия, и, пожалуй, ничего мудреного не было в том, что толки о нем в нелепых головах перепутались с чудесными россказнями о Вильяме Сваакере».

Сваакер и в самом деле владел некоторыми «секретами жизни». Он был прирожденным и образованным хозяином, умел «жить смешно и без усилия», «работал радостно и азартно». Но самое главное — Вильям Сваакер хорошо разбирался в людях, знал психологию крестьянской массы и умел подчинять ее своей воле и целям.

Повесть создавалась в 1925–1926 годах, но действие намеренно отнесено автором к первой послереволюционной поре — к 1920–1921 годам. За сравнительно недолгий срок на страницах произведения, окрашенного в сатирические тона, происходит чудодейственное преображение Вильяма Сваакера. Никогда и ничего вроде бы этот человек не затевает всерьез — он паясничает, кривляется, ломает комедию. А в результате? Этот гаер, ёрник, шут гороховый становится первым авторитетом для крестьян, владельцем мельницы, потом завода по производству мельничных жерновов, его уважают власти, любят лучшие женщины.

«Трансвааль» — одна из самых фантастических, озорных и злых вещей Федина. В повести иногда почти самостоятельно, иногда сливаясь на глазах читателя в единое целое, действуют как бы два Сваакера — безжалостный и наглый хищник, деревенский нэпман нового, «европейского» склада и другой Сваакер — фантастический кумир темной крестьянской округи. Секрет этого психологического совмещения — не писательский трюк, придуманный в кабинетной тиши.

У Сваакера несколько биографий. По одной — он эстонец с прибалтийского хутора, по другой — бур из Трансвааля, жертва иноземных завоевателей, на лице которого оставили злодейские отметины немцы либо англичане. Эти и подобные им небылицы, в лад времени и обстановке, Сваакер сочиняет о себе сам. Но загадка состоит в том, чтобы понять, как возникает такой «выдуманный человек», почему ему верят и передают легенды о нем из уст в уста.

Мелкий крестьянин не только труженик, но и частный собственник. Ореол тайны и могущества, который сопутствует делам и поступкам Сваакера, порожден отнюдь не только его собственными усилиями. Это и естественный продукт психики окружающих. Отсталая крестьянская масса находится еще во власти вековых предрассудков. А частнособственническая

психология по-своему проявляет затаенные страхи и мечты; она относит к нелюдям слабых и столь же легко выдумывает для себя сверхчеловеков из среды самых удачливых и богатых. В своем воображении она до неузнаваемости преувеличивает их копеечные доблести, раздувая мелкое до размеров фантастических, приписывает им едва ли не чудодейственные свойства, укрупняет саму их корысть, измышляет для них некие легендарные жития. Словом, подменяя реального эксплуататора мифом, она творит культ удачливого дельца. Так ловкий предприниматель и лицедей Вильям Сваакер в коллективной крестьянской фантазии, питаемой молвой и слухами, разрастается в фигуру почти надреальную. И рядом с подлинным возникает другой — мифический Сваакер.

Если говорить о ближайшем прицеле повести, то автор «Трансвааля» изобличал одну из разновидностей ожившего в период нэпа кулачества, показывал социальные и психологические истоки легенд вокруг новоявленных «культуртрегеров» в деревне.

Федина привлекали в первую очередь не накопительские махинации «красного заводчика», хотя и о них не раз идет речь в повести, а особенности натуры Сваакера в соотнесении с психологией хуторских крестьян, причины, которые делали его уездным «маяком культуры» и кумиром здешней округи. Частнособственнические устремления, темнота, политическая незрелость, косность, патриархальная доверчивость хуторян, как показывает художник, создают условия для демагогии, ловких ухищрений, показных благодеяний, с помощью которых обделывает свои делишки и процветает Сваакер. И это притом, что те же мужики близки к разгадке Сваакера, когда называют его «каменной просвирой» или пускают о нем липкое словцо, произносимое, правда, «с восхищением и с завистью»: «Устервился жить, подлец!»

«Меня интересовала не социальная сторона явлений, а биологическая, интимная сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидание сказки, родом своим вышедшей из лесной глуши и манившей человека назад, в глушь, — пояснял позже Федин свой замысел. — Среди хуторских чаяний возникали дикие, почти величественные уродства, пройти мимо них не мог бы ни один художник, и повестью „Трансвааль“ я отдал им должное в своей книге о деревне». С особенностями места действия, содержания и сатирического жанра «Трансвааля» и ие считалась вульгарно-социологическая критика, не находя в повести расхожих плакатных изображений кулака с винтовочным обрезом и положительных героев передового лагеря.

Такие критики упрекали автора «Трансвааля» в «искажении перспектив развития деревни», в пессимизме, в растерянности перед кулачеством. А повесть тем временем жила и действовала.

Живое подобие Сваакера — Юлиус Саарек — после выхода отдельного издания ездил по магазинам Смоленской губернии и скупал «Трансвааль» Федина, чтобы скрыть от людей, уничтожить книгу…

Между тем сам Федин никогда не видел этого человека в глаза. Лишь в 1962 году, в канун Нового года, краевед М.И. Погодин подарил ему старинную фотографию 1914–1915 годов. Юлиус Андресович стоит на ней, молодцеватый, в черной широкополой шляпе и сюртуке, со стеком в руках. На обороте портрета Федин сделал пометку, подтверждающую, что личных встреч с этим человеком у него не было: «Изображен на портрете небезызвестный г-н Саарек, заочно, — т. е. по рассказам знавших Саарека, — послуживший мне прототипом Вильяма Сваакера, героя рассказа „Трансвааль“.

Федин писал повесть, отталкиваясь от устных рассказов. Возникновению художественного замысла способствовали два случая.

„Захудалый и несчастный мужичонко из деревни Вититнево, пережидая со мной дождь в лесу, около „самогонного завода“, — вспоминал позже Федин, — с упоением рассказал мне восхитительные приключения „из жизни бедного мельника Саарека“. После этого я начал пристально расспрашивать в деревнях о „Трансваале“…“

Окончательное решение писать возникло после рассказов неизвестного попутчика во время возвращения со Смоленщины осенью 1925 года. „Я встретил случайно одного человека, — сообщал в конце октября Федин Соколову-Микитову, — оказавшегося соседом М.И. Погодина по имению. Сразу нашлась общая тема. Саарек! Я такого наслышался, что решил непременно писать о Саареке. Хорош, черт его взял! Это не совсем „деревня“, поэтому должно получиться хорошо, как ты думаешь?“

„Не совсем деревня“ означает вот что: Саарек живет в здешней глухомани, но принадлежит к кругу новой уездной городской буржуазии, хорошо известной Федину, поворот темы — о взаимоотношениях „города“ и „деревни“ — отчетливо различим для художника.

Реального Саарека Федин не видел в глаза точно так же, между прочим, как никогда не бывал в заштатном городке Наровчате (Пензенская область), родине своей матери, избранном местом действия другого крупного произведения сборника — повести „Наровчатовская хроника“.

Если иметь в виду, как близко знал Федин в жизни Прокопа или Проску, с каким интересом встречал каждую новую подробность о них в письмах И. Соколова-Микитова, с какой почти очерковой документальностью (нередко даже под собственными именами) запечатлел их в рассказах, то такое вроде бы небрежение к прототипам на сей раз, в повестях, может показаться, по видимости, нелогичным.

Дело заключается в художественной природе обеих повестей, близкой и родственной по духу.

Развивающие сюжет персонажи (в „Наровчатовской хронике“ — ряженый двойник А.С. Пушкина — Афанасий Сергеевич Пушкин, волнующий умы обывательского уездного захолустья первых послереволюционных лет) в обоих произведениях — „люди выдуманные“, полумифические, сами сочиняющие свои „жития“, причудливо преображаемые коллективной фантазией, молвой и слухами, так или иначе наделенные элементами чудодейственной магии в сознании окружающей среды. По самому жанру это отчасти сатирические фантасмагории. Поэтому строгая документальность не только в воплощении, но и в предварительном накоплении материала тут заведомо неуместна. Окрестная молва и слухи об этих людях для писателя, может быть, даже более интересны, чем они сами.

Известная ориентация на „легенду“ вместе с тем вовсе не означала, что автора мало занимали реальные облики типажей. Напротив, можно только дивиться, насколько в вымышленной фигуре Вильяма Сваакера многообразно и точно переданы основные события биографии Юлиуса Саарека.

Для представлений о том, что мог знать о Сааре ке Федин, когда принимался за повесть, имеются почти исчерпывающие документальные источники, хотя и позднейшего происхождения. В них-то и заключен параллельный жизненный „сюжет“, порой не менее занимательный, чем литературные деяния Вильяма Сваакера.

В апреле 1968 года два подробных письма прислал Федину известный советский поэт М.В. Исаковский, уроженец Смоленщины. В 1918–1921 годах он редактировал газету в Ельне. Оба письма, по словам автора, касались „человека, которого Вы так хорошо описали в своей знаменитой повести „Трансвааль“. Повесть эту я читал еще в молодые годы и очень люблю ее…“. К письму от 17 апреля М.В. Исаковский приложил номер журнала „Рабоче-крестьянский корреспондент“ (1968, №' 4) с отрывком из воспоминаний „Два года в Ельне“. „В номере, который я вам посылаю, — сообщал Михаил Васильевич, — есть и мой рассказ о Сааре ке…“

Имеются письменные свидетельства и других очевидцев. Множество фактических данных о Саареке содержит статья Ан. Гая в одном из сентябрьских номеров смоленской газеты „Рабочий путь“ за 1928 год. Статья так и называется „Юлиус Саарек“.

Из статьи и других материалов видно, что Федин имел основания наделить своего персонажа не только отталкивающими чертами, но и объективно обрисовать его роль в качестве „культуртрегера“ здешних мест, в том числе отдавал должное его уму, трудолюбию, богатству фантазии, беззаветной энергии, жизнестойкости и сметке.

Те же факты подтверждают и главную оценку писателя, что его герой — „негодяй“. Расчетливый и безжалостный хищник, исповедующий одну мораль — выгоду.

В этом отношении при изображении разновидности буржуазного дельца новейшей „американской формации“ в его столкновении с дедовскими установлениями и патриархальными нравами Федин продолжил и развил горь-ковские традиции. Он делал это на усложнившемся материале послереволюционной действительности. И показал Сваакера во взаимодействиях с отсталой деревенско-патриархальной средой в той же жизненной объемности и полноте красок, как некогда изображал своих „варваров“ — Железновых, Достигаевых и „Других“ Горький.

Жизненная правдивость характеров обеспечила широкий успех повести, несмотря на предвзятые оценки критики. Имя Сваакера сделалось нарицательным в публицистике 20-х годов.

„Комсомольская правда“ 16 декабря 1928 года поместила статью чуть ли не на полосу — „Лицо классового врага“, анализирующую затронутые автором „Трансвааля“ жизненные факты. „Ласковый враг (Свёкор и Сваакер)“ — так назван очерк в журнале „Октябрь“ (1929, № 3). Интересен также большой очерк „Сваакеры из Палласовки“, опубликованный в саратовской газете „Поволжская правда“ 18 апреля 1929 года. Речь идет о сходных жизненных явлениях на территории тогдашнего Нижне-Волжского края. „Обвиняли Федина в том, — пишет автор, — что он… нарочно выдумал это „чудище обло, озорно, стозевно и лаяй…“. История обогащения Сваакера… оказывается, была передана Фединым почти протокольно… Увы, Сваакеры существуют не только в художественной литературе“.

Читательский успех сборника „Трансвааль“ стал для писателя прорывом к новой массовой аудитории… На только что вышедшей книге Федин сделал надпись, обращенную к тому, с кем в совместных переживаниях возникал и копился прозаический цикл. Она искрится ощущениями духовного

родства: „Брату моему Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову. Большой частью этой книги я обязан тебе, и если я в ней крошечку вырос, то и ростом этим тоже обязан тебе, мой единственный друг. *Константин. 15.1.1927“.*

* * *

Однако, как мы знаем уже, был и еще один художественный авторитет, несомненный в глазах обоих литературных побратимов. Этим писателем был Бунин.

Безгласный и как бы исключительно книжный образец и посредник творческого общения в 20-е годы — так, к счастью, иногда случается, — Иван Алексеевич вдруг вживе является и напоминает о себе в середине 40-х годов.

Сам Федин передает этот сюрприз так: „В марте месяце 1948 года почтой доставлена была мне книга, какой я не мог ожидать… Это был том первый „Собрания сочинений“ И.А. Бунина в берлинском издательстве „Петрополис“ с дарственной надписью автора.

Было от чего взволноваться: в автографе Бунин называл себя моим „давним усердным читателем“… Спустя несколько дней от Бунина прибыла другая книга — „рассказ "Речной трактир", также с сердечной авторской надписью. Оба автографа заканчивались одинаковой датой: "1.3.1946. Париж".

В течение долгих лет для Федина оставалось загадкой: почему «именно теперь прислан… дорогой дар… „давним“ читателем»? Объяснения могли быть разные.

Находясь на чужбине, Бунин выделял лучшие книги советских писателей. Известен, например, близкий по времени (10 сентября 1947 года) отзыв Бунина о поэме А. Твардовского «Василий Теркин», который он в письме давнему литературному другу Н.Д. Телешову адресовал автору: «…Прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, — писал тогда И.А. Бунин, — передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом…»

Дарственные автографы на книгах Федину (вместе с письмом, которое было тогда же написано, но не отправлено Буниным) выражают его читательское отношение к творчеству советского писателя. И возможно, также к «деревенской» прозе Федина 20-х годов.

Само письмо, ему адресованное, Федин прочитал лишь четверть века спустя, когда оно поступило в Москву в числе

прочих архивных материалов для готовившегося двухтомного выпуска «Литературного наследства» — «Иван Бунин».

Письмо деловое, посвященное предполагавшемуся в 1946 году изданию сборника произведений Бунина в СССР. (Заметим, что в 1946 году Федин не занимал руководящих официальных постов; Бунин обращался к нему просто как к авторитетному мастеру русской литературы, вкусу которого доверял.) И неотправленное, по словам Федина в той же заметке, сопровождавшей публикацию письма, «вероятно, потому, что на родине Бунина тогда еще не возобновили печатание его книг».

8 сентября 1953 года И.А. Бунин умер. «О смерти Бунина, — вспоминает Соколов-Микитов, — я узнал, живя в деревне под Москвой. Ночью по радио я слушал печальную весть о его смерти, чтение незнакомых мне бунинских рассказов».

Возобновлению широкой и активной публикации книг Бунина в СССР, как пишет далее Соколов-Микитов, в немалой степени способствовал Федин: «Имя его на одном из съездов советских писателей произнес Константин Федин. После этого книги Бунина начали издаваться…»

Было так… В декабре 1954 года в Москве собрался Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Выразить назревшую потребность — сказать с трибуны съезда о необходимости возвращения на родину книг Бунина — «русского классика», по его определению, взял на себя Федин. Он развивал свои давние сокровенные убеждения.

Касаясь судеб литературной эмиграции послеоктябрьской поры, Федин говорил: «В массе своей литературная эмиграция быстро перестала существовать даже как плохонькое искусство… Но, конечно, в среде писателей-эмигрантов были и тяжелые драмы, и тяжесть их, наверное, прямо соответствовала глубине и значению дарований.

Возвратился, чтобы освободиться от невыносимой тоски по родной земле, Куприн — писатель яркой окраски реалистического таланта, широко у нас читаемый.

Недостало сил, уже будучи советским гражданином, вернуться домой Ивану Бунину — русскому классику рубежа двух столетий, который оставался реалистом и в прозе и в поэзии той поры., когда господствовала мода на декаданс. Не следует, по моему мнению, отчуждать Бунина от истории русской литературы, и все ценное из его творчества должно принадлежать читателю так, как принадлежит лучшее из наследия Куприна».

В 1958 году вдова Бунина В.Н. Муромцева-Бунина издала во Франции свою биографическую книгу «Жизнь Бунина (1870–1906)». Одним из первых адресатов в СССР, кому она послала ее,

был Федин. «Многоуважаемому Константину Александровичу Федину на добрую память. В. Муромцева-Бунина. Париж 10/Ш-59», — гласит надпись.

В 1965 году Гослитиздат начал выпуск девятитомного Собрания сочинений И.А. Бунина, впервые после долгого перерыва широко и полно представившего его произведения читателям.

…Впрочем, рассказанное происходило значительно позже. А в 1926 году, когда завершался сборник «Трансвааль», где так многое значил пример этого мастера, Федин был молод. Полон замыслов, энергии. Он торопился.

Едва только обрисовались в воображении, обозначились основные произведения сборника, а он уже мечтает в письмах к Соколову-Микитову «освободиться от деревни и начать роман. Это моя мечта — роман, совсем непохожий на „Г[орода] и г[оды]“ (3 октября 1925 г.). Еще в увлечении изливаются из-под его пера рассказ, другой, повесть. Опять рассказ, еще повесть… Если, конечно, можно так сказать — „изливаются“ — про „каторжную работу с утра до вечера“. А он уже ждет не дождется часа, когда можно будет засесть за роман. „Думаю о романе. Отравился: теперь ничего не хочется, кроме романа…“ (7 декабря 1925 г.).

Только бы поскорей передать бумаге то, что заняло воображение, пока не отгорело, не обуглилось, не поблекло. Только бы во всей целости и полноте заставить жить от себя отдельно эти настойчивые картины — деревню. Только бы до последнего штриха и слова, до чистоты совести, до свободного вздоха сделать задуманное. Закончить рассказы и повести. Составить сборник, исполнить договор. Отнести рукопись в издательство. А там… За роман! Он уже „отравлен романом“. Он даже позволяет себе жаловаться: дескать, хочется писать роман, а он, мол, вынужден тачать рассказы…

Тем более что роман этот неожиданный, непохожий, совсем из другой жизни. Главный герой его — композитор. Необычная в русской литературе вещь. Она уже поет и звучит в ушах, не дает покоя. Там уже все ясно. И пойдет на сей раз, конечно, почти без усилий, легко и просто, как по маслу. О, как свободно тогда вздохнетея, как славно и радостно заживется! Роман, роман!..

И срок этот своим чередом, конечно, настал. Но крупное полотно о судьбах культуры и назначении художника — роман „Братья“ — само обернулось тяжким испытанием в жизни писателя…

ХУДОЖНИК И ОТЧИЗНА

…Алексей Николаевич Толстой редко обсуждал свои творческие дела в дружеском кругу, не любил, как он выражался, «литературознайства». Много должно было сойтись самых разных причин, чтобы он нарушил правило. Поэтому, вероятно, и запомнился Федину этот разговор, относящийся скорей всего к декабрю 1927 года. Затронутым в нем оказался и роман «Братья», тогда уже почти законченный.

В тот момент Алексей Николаевич продолжал писать вторую книгу «Хождения по мукам» — роман «Восемнадцатый год» — и пытался еще работать над пьесой о Петре Первом. Возможно, из-за разноплановости и внутренней сложности задач писание подвигалось туго. К тому же Толстой был слегка нездоров, простужен, вообще находился в меланхолическом состоянии, «киснул», по собственному выражению.

Ближе к вечеру Федин заехал проведать друга на его квартире.

В ожидании позднего обеда коротали время вдвоем в кабинете.

Если правильно говорят, что вещи являются продолжением их владельцев, то это был именно тот случай. Весь кабинет был такой же приветливый, неохватный и избыточный, как сам его щедро одаренный от природы хозяин. Грузный жизнелюбивый человек сорока пяти лет, Алексей Толстой полнился игрой сил, пестрым разнообразием вкусов, интересов и привязанностей.

Окна в кабинете были большие, дававшие много света. Паркетный пол покрыт мягкими ковровыми дорожками. Мебель, старинная, павловских времен, включая необъятных размеров письменный стол и того же гарнитура мягкие кресла. На стене — пейзаж кого-то из «барбизонцев», представлявший сельскую идиллию. Стадо пятнисто-рыжих и черно-белых коров, которые, стоя в ручье в летний вечер, жуют задумчиво.

Вдоль левой стены кабинета — застекленный стеллаж с аккуратными рядами книг, а в переднем углу — несколько этажерок и полок, на которых выстроились тома в коричневых кожаных переплетах, иногда с растрепанными, почти картонной толщины страницами. Это были книжные раритеты петровских и допетровских времен, которые повсюду добывал и собирал Алексей Николаевич. И как напоминание о вечном тут же висела белая гипсовая маска, посмертно снятая с Петра Первого…

Вместе с тем в кабинете было много музейного, декоративного. На письменном столе рядом с бронзовым

чернильным прибором, массивным настолько, что им едва ли когда пользовался хозяин, громоздился медный морской компас с корабля петровской флотилии, порасставлены были старинные табакерки, искусной работы, замысловатые эмалевые с глазурью безделушки. Да и сам письменный стол стоял скорее для порядка и вида. Толстой за ним почти не работал.

В отдалении, у стены, скромно притулилась небольшая конторка из красного дерева, доставшаяся еще задолго до революции от покойной матери Александры Леонтьевны, тоже писательницы, и с тех пор неизменно возимая за собой по разным землям и городам, куда бы ни бросала судьба. Она-то и была подлинным местом трудов Толстого. К этой старенькой, обшарпанной конторке, как работник к станку, он вставал обычно спозаранку и, примостившись за нею, трудился иногда дни и недели, можно сказать, безвылазно. Именно здесь, стоя, он и создал многие свои ярко талантливые, завидные произведения.

Алексей Николаевич, подавшись вперед, восседал на краю своего богатырского письменного стола, отделанного зеленым сукном, покачивая правой ногой в домашней туфле. В руке у него дымилась трубка.

Федин расположился рядом, в кожаном темно-вишневом кресле с высокой резной спинкой, курил папиросу. Болтали о всяких разностях.

Толстой уже в который раз «искушал» и склонял Федина перейти на трубку, доказывая, что трубку курить приятней и безвредней, чем папиросы. А для творческого процесса — даже ловчей и полезней. Во-первых, можно смешивать табаки, добиваться особенно ароматных консистенций, во-вторых, трубку необязательно палить до конца, она часто гаснет, никотина глотаешь меньше, а иллюзия курения абсолютно та же.

— Когда начинаешь печатать роман о музыканте? — вдруг без перехода спросил Толстой. — Свои «Братья»?

— Скоро… — помедлил с ответом Федин. — А что?

— Где пойдет? В «Новом мире»?

— Нет, в «Звезде», наверное… — произнес Федин. — «Новый мир», Полонский, правда, заманивал договором. Но договорчик черствый, требует больших сокращений текста. Да и вообще сотрудники в этой редакции… В прошлом году послал рассказ «Мужики», открываю номер — перекрестили в «Пастух»… У меня, нетрудно смекнуть, мысль была более широкая, не пастораль… «Звезда» же — свой дом, ленинградцы…

— Да, самовольничают… У меня с Полонским не то что стычка, сражение из-за текста развернулось. Я ему в мае целый меморандум по поводу «Восемнадцатого года» послал. Весь смысл

моего романа в постепенном развертывании революции, в ее непомерных трудностях, в героизме горстки пролетариата, большевиков, передовых людей во главе с Лениным, которые преобразили и организовали страну. Октябрьская революция — самое великое, патриотическое, но и самое трудное событие в истории России — вот моя идея. А ему достаточно — конца, одной победы. Требует агитромана, этакой благостной картиночки. Впереди — рабочий с красным знаменем, за ним — просветленные мужички, рядом интеллигенты, с книжкой под мышкой, и на фоне — заводские трубы и встающее солнце!.. Хорошо, что меня редактор «Известий» старый большевик Скворцов-Степанов поддержал. На этом кончилось… Ну, ладно. Главное ведь не в редакторах, а в нас самих…

Разговор вывело на тему, которой Толстой обычно избегал. При всей своей знаменитой общительности Алексей Николаевич редко делился с кем-либо творческими затруднениями. Это была область сокровенная, и многочисленным друзьям и знакомым предоставлялось думать, что он сочиняет чуть ли не мимоходом и так же легко, как выуживает в подвальчиках и закутках Невского и Литейного проспектов нужных для себя антикваров, букинистов, краснодеревщиков. И вдруг…

— Петровские реформы, о которых в пьесе пишу, — продолжал Толстой, — тоже ведь в истории России переворот немалый. Но куда ему до нынешнего! Октябрьскую революцию Россия всей своей прежней судьбой выстрадала. Я в петровских временах как бы разбег беру, чтобы зорче смотреть в современность… Почти неподъемная часто задача… Да-а…

Толстой встал, тяжело прошелся по комнате, вертя взятые за дужку очки. Потом снова водрузился на стол.

Федин молчал, не решаясь вспугнуть доверительность старшего друга.

— А веду я этот разговор и к тому, — Толстой окинул собеседника быстрым взглядом, — что в литературе тебя сделали «Города», твоя первая книга… Все знают: Федин — это «Города и годы». Конечно, не приведи господь… но допустим… Не можешь же ты поручиться, что твой новый роман обязательно будет лучше прежнего, а не хуже?

— Нет, не могу.

— Вот так… Мы, художники, — скалолазы, — вздохнул Толстой, — без права возвращения… Всю жизнь можем лезть вверх, вверх и вверх. А вниз — только срываться и падать… Бывает у тебя такое ощущение — неуверенности, что ли? Мол, вот этот добрый молодец с портрета на вчерашней книжке, пожалуй, побойчей да и посмышленей тебя, нынешнего?

Федин медлил с ответом. Он питал к Толстому почтительную влюбленность. Тот был уже прославленным писателем, когда Федин еще сидел на школьной скамье в Козлове.

— Не робел, когда передал в редакцию первые главы «Братьев»? — продолжал допытываться Толстой. — Ни разу даже мыслишка трусливая не мелькнула? Экий ты ерш, Костя, закрытый человек, право! Все щетинишься!

— Мелькнула… — неожиданно для себя, густо порозовев, сознался Федин. — Это бывает…

— То-то же оно, братец! — сочувственно, как ветеран новобранца, оглядел Федина Толстой. — И нечего стесняться. Это нормально.

— Понимаешь, Алеша, — заговорил Федин, — дело не только в успехе… После «Городов» и деревенских рассказов я в лицо увидел своего читателя. Он, как и твой, ищет ответы на главные вопросы. После революции в жи.5-ни многое переменилось — и надо заново передумать, в чем смысл бытия, что такое Родина, Отчизна, преемственность поколений, призвание, место в общем порыве… Одному моему герою в романе, ученому, лектору, звонят по телефону из рабочего кружка. «Извините, — говорят, — что вас побеспокоили. У нас один только короткий вопрос: есть душа или нет?» Многие сейчас жаждут готовых ответов! Только раньше их давали попы, а теперь пусть, мол, дают ученые или писатели. Но, ты прав, от романов-плакатов проку мало. Мой герой композитор Никита Карев пишет симфонии и не собирается упрощать своего искусства. А хочет поднимать за собой слушателя, как у нас на Волге говорят, — «на взвозы». Только так, мне кажется, можно не отстать от читателя…

— Все твердишь: роман, роман… А почитал бы чего-нибудь оттуда? — вставил Толстой.

— А тебе хочется? — напрягся Федин.

— Зря бы не просил…

— Тогда, может быть, и почитаю… Как раз везу кусок от машинистки…

После обеда, за которым было немало съедено и набалагурено, Толстой, метнув неожиданно твердый взгляд, напомнил:

— Так ты обещал из романа почитать? Пора, Костя!

Федин потянулся к портфелю, долго шелестел бумагами, раскладывая и подбирая страницы. Все-таки прежде читать наедине Толстому ему не приходилось. И кто знает, как это могло повлиять на их установившиеся отношения.

— Ну вот, если угодно, отсюда… — нерешительно предложил он. — Эта часть называется «На взвозах». Пожалуй, и к

сегодняшнему разговору кое-какое касательство имеет. Речь идет о трудностях выбора и осуществления призвания. Каждый из героев проходит тут свои «взвозы», свою дорогу испытаний, напряжения и мук, — объяснил он. — Молодой революционер, большевик Родион Чорбов попадает под первый арест и отныне «пошел гулять по острогам», как предрекает ему товарищ по камере. Никита Карев, будущий композитор, с ужасом обнаруживает новые трудности в избранной профессии, тащится сквозь тяготы и отчаяния пожизненного своего «послуха» в искусстве. А Варвара Шерстобитова, купеческая дочь, красавица, она женщина, и для нее ее «взвозы» — чувство, любовь…

— Приступай, Костя, не томи! — подогнал Толстой.

Откашлявшись, Федин принялся читать. Постепенно он забывался, одухотворялся. Это было в нем актерское: он словно бы переставал помнить, что текст его собственный, а, произнося, следил только, как он звучит. Он читал звучно, немного нараспев, будто в комнате был не единственный слушатель.

Сначала о том, что Никита Карев живет в Дрездене, учится своей профессии… Как мучительно трудно сделать выбор, найти и занять свое место в музыке… Затем — о самоубийстве музыканта-неудачника Верта. О спасительной для Никиты встрече с Анной, которая помогла ему в трудный момент на чужбине не потерять самого себя. О первой каникулярной поездке из Германии на родину, о разгульном и красочном зимнем багрении осетров на реке Урал, о неожиданном, чуть не прилюдном признании в любви, которое делает ему долголетняя их соседка, волевая и своенравная Варвара Шерстобитова…

Федин кончил читать. Поднял от листа отуманенные глаза, разгоряченное лицо.

Помолчали. Федин выжидал.

— В последней сцене есть, пожалуй, излишняя символика. Отвергнутая Варвара убегает вверх по прибрежному откосу — и ее «взвозом» была любовь… — произнес Толстой. — Удары медных тарелок назойливы. Но в целом в точку! Время культурной революции… А серьезных книг на эту тему не так уж много. Ты одним из первых говоришь о чертовской сложности процессов. Это и есть, пожалуй, ответ — превзойдешь ли ты «Братьями» «Города»… Получается!.. Молодец! — подумав, закончил он.

Карие глаза Толстого светились увлажненной теплотой. Он, кажется, даже помолодел с лица, весь подобрался, ласков стал, будто уважили в главном:

— Долгих лет твоим «Братьям», Костя, всем вместе и каждому в отдельности!..

— Люблю, понимаешь, когда сочно написано, с мясом и вкусом, когда жизнь переливается всеми красками и блестками, — говорил он чуть погодя. — А то иногда суют тебе книжицу, серую, как засушенная вобла, зубы скорей поломаешь, чем разгрызешь… И какое у тебя это слово хорошее — «взвозы» — наше, волжское! Речной свежестью пахнет и конским потом…

— Десять уже! — взглянув на часы, сообщил Федин.

— Неужто набежало? — удивился Толстой. — Впрочем, десять — что за час? Самое время поговорить…

— Нет, мне пора! — Федин встал и начал собираться.

— А чайку! — взметнулся Толстой. — Какой у меня чай! Английский, по оказии добыл. С Цейлона везли на шхуне, в деревянных коробках и ящиках. Кругом одно дерево и чтобы по соседству никакого железа. Такой чай, знаешь, портится от железного запаха. Это даже и на этикетке написано. Нежный, как роза, и тропиками шибает. Соловьиная песня! Потроха прополощем, в облака взвинтимся и души сольем! А?..

— Нет… — берясь за портфель, возразил Федин. — Завтра работать надо!

— А трубочку, папироску, одну только! — простонал Толстой. — Выкурим на дорогу, колечки попускаем, в потолок полюбуемся — и поедешь…

— Нет! — решительно объявил Федин.

— Экий ты бессердечный человек, Костя! Классный надзиратель, сухарь! Приехал навестить больного товарища и вмиг улетаешь! Что ж, ладно… Добивай, коли не жалко!

На пороге своей квартиры Толстой вдруг посерьезнел. Расставаться сразу было не в его правилах. Они еще постояли в прихожей с четверть часа, перебрасываясь с одной темы на другую. Толстой все порывался проводить друга. Но Федин наотрез не пустил.

В енотовой шубе и круглой шапке-«боярышнице» с темно-синим бархатным верхом, в которые Алексей Николаевич уже облачился, с большим тяжелым лицом и умным, проницательным взглядом сквозь стекла роговых очков, он на какое-то мгновение напомнил Федину портретного Толстого, классика, каким его представляла широко распространенная фотография…

…В 1926 году, тридцати четырех лет от роду, Федин решился наконец осуществить давнюю заветную мечту. Он оставил последнее короткое место службы (заведующего редакцией художественной литературы Ленгосиздата), чтобы целиком вверить судьбу семейства и свою собственную переменчивой фортуне писательского труда.

До этого, даже после шумного успеха «Городов» и вызванных им переизданий, он все еще колебался. Писал он медленно, трудно. Уступать же чужим требованиям и вкусам, сочинять «по случаю», для «рынка», что легко бы обеспечило высокие гонорары, не мог. Литературное ремесленничество для него было отделено запретной чертой от той делянки, на которой трудится настоящее искусство.

Вместе с тем мыслил трезво, понимал, что немало уже упущено, время бежит и другой жизни не дадут. Рисковать легко в юности, когда один, да и хорошенько не представляешь последствий.

Его иждивение обеспечивало еще троих — жену, четырехлетнюю дочь Ниночку и тещу Розу Михайловну. Была ленинградская пятикомнатная квартира, почти в самом центре города, на последнем этаже кирпичного облупленного дома, с окнами во двор. Квартира была старинная, родительская, не своя, в укладе которой еще многое продолжалось так, как повелось при покойном тесте. Зато самая маленькая комнатка в ней безраздельно принадлежала Федину. С полками любимых книг, письменным столом, тетрадями, заготовками, рукописями. Его кабинет.

В соседней гостиной (она же столовая) стояло пианино Доры Сергеевны. Там же собирались многочисленные ленинградские друзья-приятели, которых весело и интересно принимали в доме. В Саратове жила больная туберкулезом сестра Шура с преданным и мотавшимся между тремя службами мужем Николаем Петровичем Солониным. Оба они старались вывести в люди, дать образование взрослевшим сыновьям Шуры. Федин по мере сил помогал.

Словом, существовал быт. И он не имел никакого права переиначивать образ жизни близких ему людей, рисковать их надеждами, скромным благополучием, навязывать им новые тревоги и тяготы.

Обед в доме бывал поздним. Со службы удавалось выбраться никак не раньше пяти. Возвращался утомленный, терзаясь, что лучшая для писательской работы часть дня растрачена. Занят был каждый час, а часто даже в уме не прикинешь — чем, А время мчит, его не остановишь. Эта мысль не покидала, постоянно горела в мозгу.

— Бросай ты, Костя! — твердила Дора Сергеевна. — Я пойду работать, проживем…

Между тем она обходительно и неслышно подавала на стол.

Он отмалчивался. Ел, только чаще обычного задевал ложкой дно тарелки. Насупленность была у него наследственная,

отцовская. Жена была машинистка — растила дочь, перепечатывала рукописи, да и много ли могло принести ее жалованье?

После обеда спал, отлеживался на широком диване. Отпускал в вольный полет фантазию, настраивался душой на работу. Потом садился к столу, медленно погружаясь в рукопись.

В гостиной Дора Сергеевна играла на фортепиано. Грига, Рахманинова, Шопена, Чайковского… Он любил начинать работать под ее игру.

Потом отключался, забывал обо всем на свете. Курил. Расхаживал по комнате. Набрасывал на бумагу фразы, писал взахлеб… И так до слепого утреннего рассвета, тяжело ложившегося на плечи.

После позднего завтрака, с крепким кофе, исчезал на службу.

Двойную лямку — дневной и ночной работы — тянул он не месяц, не год, а, считай, уже семь лет, как сделал писательство постоянной второй профессией. Он стал уставать. Обострилась язвенная болезнь, сдавали нервы… Недовольство и жалобы, рассыпанные в письмах к друзьям, постепенно нарастают.

«Очень мешает, конечно, служба, — пишет Федин Соколову-Микитову. — Потому что нет покою, пестро, многолюдно кругом. И я очень устал». «Писать некогда, а писать хочется мучительно, — сообщает он ему же в другой раз. — Больше, чем когда-нибудь прежде. Тут еще Горький в каждом письме напоминает „пишите больше, писать нужно каждый день“ (от него целая куча писем — хороших…). Но как же писать, когда у меня нет *покоя,* когда весь я опустошен суетой? Ведь писание — это такое сосредоточение, такое единство — как фокус лучей в окуляре. Я же в рассеяньи».

1926 год вместе с замыслами сборника «Трансвааль» и особенно романа «Братья», вместе с новой грудой ожидающих чтения рукописей Ленгосиздата поставил вопрос с окончательной остротой. Работа крупная, решающая. Сейчас или никогда?

Учтем деятельную натуру и гражданственный темперамент Федина. Общественных трудов и обязанностей он не чурался, заслуженным постам, продвижениям и отличиям отдавал должное. Но как же быть?.. Он мог долго раздумывать, осторожничать, медлить. Но в таких случаях выбор был заведомо ясен. Душа его принадлежала искусству.

Решившись, он в один миг перевернул все. Оставил завидное место, хорошую зарплату, открывавшиеся перспективы. На долгий срок исключил для себя ту сферу жизни, которая была связана с постоянной службой.

Так разрешена была по виду вроде бы очередная житейская

проблема, а на самом деле в который раз сделан выбор, принесена жертва своему призванию.

С того момента жизнь писателя потекла как бы но двойному руслу.

По такому, где постороннему, неосведомленному взгляду открыто больше всего течение вроде бы вольное, журчливо беспечное, искрящееся беззаботностью, как катится где-нибудь поодаль загородная река в золотистых лучах ленивого солнца. Это естественный мир кажущейся предоставленности самому себе, не стесненного вроде бы душевного комфорта, повседневно не регламентированных трудов и вольготностей досуга, общественного внимания и любопытства ко всему окружающему. Словом, достаточно показная и обманчивая сторона жизни художника.

И другому, теневому руслу, главному, однако, «рукаву» всего жизненного потока, без которого сразу бы обмелел первый. Это почти никому не известный, надрывный, одинокий, изнурительный труд за письменным столом.

Сначала — о налюдной, открытой множеству взоров жизни автора романа «Братья».

Освобождение от докучливых тягот и повседневных мелочей службы дало возможность взяться за осуществление идей крупных, давно задуманных и назревших. Они касались того, что Федину было всего ближе, — культурного строительства в стране и забот литературного товарищества.

Прежде всего надо было заняться созданием нового издательства в Ленинграде. С 1923 года Федин стал выборным членом правления и доверенным ленинградским представителем писательского товарищества «Круг», его издательства и альманаха, действовавших в Москве. Теперь накопленные навыки и опыт требовалось применить в городе на Неве.

«Группе здешних писателей, — сообщал Федин Горькому 4 марта 1927 года, — после долгих стараний удалось получить разрешение на создание в Ленинграде товарищеского (кооперативного) „Издательства писателей“. Инициаторами дела были Семенов, Груздев, Слонимский, я и др. Хлопоты о разрешении были начаты в сентябре прошлого года. К концу февраля разрешение оформлено». Федин просит Горького оказать содействие новорожденному издательству, да и самому пополнить его редакционный портфель.

Книговыпускающему объединению, первоначальная программа которого развернута в письме Горькому, суждено было стать вошедшим в историю советского книгопечатания «Издательством писателей в Ленинграде» (1927 — 1934). И

председателем его общественного правления с самого начала в течение шести лет был Федин. Впоследствии его издательская база составила одну из основ нынешнего издательства «Советский писатель» (Ленинградское отделение).

В 1929 году Федин привлек на должность штатного заведующего издателя и друга А. Блока, основателя издательства «Алконост» С.М. Алянского, имевшего широкие литературные связи. Общественный председатель правления и штатный заведующий хорошо дополняли друг друга.

«В Ленинграде, на Невском, — вспоминает В. Шкловский, — в старом дворе двухэтажного широкого Гостиного двора, во внутреннем помещении, Федин создал „Издательство ленинградских писателей“… Издательство делало оборот в 600 тысяч и на четверть обрастало прибылью. В этом издательстве было четыре работника. Их хорошо знают, помнят… Издавали книги, которые приносили ленинградские писатели… Вот в этом самом помещении… начали организовывать и издавать „Библиотеку поэта“. Серию, как мне кажется, не имеющую себе в мире равной».

Подопечное издательство было не единственной общественной заботой Федина. С 1926 года он являлся заместителем председателя ленинградского правления Всероссийского Союза писателей. Эту довольно неоднородную по составу творческую организацию, председателем которой до своей смерти в декабре 1927 года был поэт-символист Федор Сологуб, Федин стремился сплотить конкретными делами. Хлопотливый пост секретаря правления одно время занимал единомышленник Федина Н.С. Тихонов. Бурные собрания Союза ленинградских писателей проходили в Доме книги.

Свое влияние Федин использовал для поддержки крупных явлений развивающейся советской литературы.

В 1925 — 1926 годах в разных журналах и газетах публиковались отдельные главы романа А. Фадеева «Разгром». Произведение было новаторским по содержанию и форме. Молодой автор правдиво живописал героические подвиги и трагедии гражданской войны. Почти весь партизанский отряд, руководимый большевиками, в финале романа погибал.

Уже газетно-журнальные публикации возбудили противоречивые толки. Приверженцев плакатного изображения гражданской войны смущало слишком точное и неприкрашенное воспроизведение трудностей борьбы за революцию; «левую» эстетствующую критику не устраивала традиционность авторского письма, «оглядка на классику», стремление развивать в современных условиях художественное наследие Льва Толстого.

«Разгром Фадеева» — так называлась статья О. Брика, которой он отозвался на выход романа отдельной книгой (первое слово в названии статьи намеренно употреблялось без кавычек).

Рукопись романа автор представил в ленинградское издательство «Прибой». На отзыв ее дали Федину.

Федин решительно поддержал рукопись. Смысл отзыва состоял в том, что произведение принадлежит таланту многообещающему, писателю, отчетливо сознающему, «насколько велико значение традиции русской литературной классики для воплощения в художественный образ человека социалистической эпохи, борца за народный советский строй».

Завязалось и личное знакомство Федина с 25-летним автором «Разгрома». «Он был романтичен, когда мечтал о будущем своих героев, реально изображая тяжесть их жертв ради победы революции, — вспоминал Федин в 1956 году. — Трезвость и восторг — приметы писательского голоса Александра Фадеева… Я помню, как — тоже около тридцати лет назад — он смело развертывал мне свой замысел дальневосточного романа, который затем извилистыми путями превращался в эпопею „Последний из Удэге“…»

Отзыв Федина на рукопись «Разгрома» много значил для Фадеева. Даже четверть века спустя писатель не забыл этого эпизода и встреч с Фединым, относящихся к поре, когда в журналах печатался роман «Братья». «Теперь уже десять лет разницы наших возрастов не имеют того значения, какое они имели двадцать пять лет назад, — писал Фадеев Федину в марте 1952 года. — Тогда ты был для меня писателем старшего поколения. И я никогда не забуду, что ты был первым, кто заметил и поддержал рукопись „Разгрома“.

С того момента, когда я прочел „Города и годы“, и с первых дней нашего знакомства я почувствовал в тебе ту предельную писательскую честность, которая является одной из главных черт… русской литературы. Глубоко национальные истоки „Братьев“ только укрепили во мне это чувство».

При любой возможности Федин встречался с читателями. В феврале 1928 года газета «Саратовские известия» поместила сообщение о приезде в город писателя-земляка: «2 февраля Константин Федин выступил на литературном вечере, устроенном в Доме работников просвещения. На вечере присутствовало около 200 человек. Федин прочел присутствующим первые три главы из своего нового романа „Братья“… Во втором отделении вечера писатель рассказал, как он писал повесть „Трансвааль“… прочитал вторую главу из „Трансвааля“.

Хотя в те годы Федин еще не полностью освободился от ошибочных представлений о „специфическом“ в искусстве, что сдерживало его участие в публицистике, при случае писатель тотчас обращается в темпераментного газетно-журнального корреспондента. Таковы путевые очерки для „Красной газеты“, возникшие во время плавания по Угре и Оке летом 1926 года, — „В лодке“. Это веселые репортажи об общественно-политических переменах, наблюдаемых в городах и деревнях по пути следования — от смоленского захолустного Юхнова, который поголовно слушает московскую радиостанцию имени Коминтерна, до торгово-ярмарочной Калуги.

Отзывается писатель и на события культурной жизни страны („О Пушкине. К 90-летию со дня смерти“, „О „социальном заказе“), следит за международной обстановкой („Омраченный Рейн“)… Осенью 1927 года, напряженно работая над завершающими главами романа „Братья“, который „продолжениями“ печатался в журнале „Звезда“, Федин позволил себе краткую передышку. 12 сентября в Ялте он стал очевидцем страшного стихийного бедствия. Немедленным публицистическим откликом явился очерк „Землетрясение в Ялте“. Напечатанное в газете яркое описание трагического несчастья стало одним из лучших очерков в сборнике — издании Комитета содействия борьбе с последствиями землетрясения в Крыму при Наркомздраве РСФСР — „Писатели в Крыму“ (М., 1928).

На какие бы стороны тогдашней общественно-культурной жизни, в которой участвовал Федин, ни посмотреть, было не только трудно, хлопотно. Было молодо, весело…

26 декабря 1927 года приверженцы и почитателя А.М. Горького в Ленинграде устроили к 35-летию его литературной деятельности, как бы сказали теперь, спектакль в концертном исполнении по пьесе „На дне“. Со сценической декламацией „в лицах“ на вечере в Доме работников просвещения выступали: А. Толстой (Лука), К. Федин (Васька Пепел), Н. Тихонов (Татарин), А, Чапыгин (Костылев), В. Каверин (Бубнов), С. Маршак (Сатин)…

Одна из зрительниц, сидевших в зале, старая писательница Е.П. Леткова-Султанова, на следующий день так передавала свои впечатления в письме юбиляру: „Вчера был незабываемый вечер… Когда на эстраду вышли Федин…, Толстой, Н. Тихонов и др. — по залу прошел какой-то особый гул, какой бывает в редкие, *особенные* минуты в толпе. Читали очень хорошо. Вернее, играли, чем читали, потому что в книги не смотрели, но играли только на интонациях, без движений, сидя вразброс, по ходу разговора… Так подают Чехова художественники…“

Н.С. Тихонов вспоминает другой эпизод, правда, более ранний, но характерный для духа времени; как один из клубных литературных вечеров в городе на Неве был открыт „живым фильмом“ под названием „Фамильные бриллианты Всеволода Иванова“.

Вс. Иванов, недавний рабочий, жил даже беднее многих литераторов, и всякому было заведомо ясно, что никаких бриллиантов у него отродясь не водилось. Однако по характеру был непрост, лукав, человек нездешний, сибирский. Этим и вызвана была сценическая шутка. „В этом фильме, — рассказывает Н. Тихонов, — играли все присутствующие писатели. Он был талантливой пародией на заграничные фильмы. Все веселились до слез… После фильма Константин Федин читал новые главы… романа "Города и годы". Потом читали стихи. Потом был суд, шуточный, конечно, над присутствующими в зале…"

Затеи возникали предерзостные, озорные. Все казалось возможным. В 1926 году по инициативе неугомонного журналиста и редактора периодических изданий М.Е. Кольцова двадцать пять наиболее известных писателей Ленинграда и Москвы включились в сочинение коллективного авантюрного романа «Большие пожары». Соавторами были А. Толстой, А. Грин, В. Инбер, В. Каверин, Б. Лавренев, Ю. Лебединский, В. Лидин, Л. Никулин, А. Новиков-Прибой, М. Слонимский… Главу пятнадцатую новоявленного детектива («Огонек», 1927, № 15) написал Федин. Названа она с пародийной тяжеловесностью «Итоги и перспективы»… Иллюстрированный журнал «Огонек», где с продолжениями печатался роман, рвали из рук.

Было шумно.

Причем шум не всегда походил на гул одобрения или плеск аплодисментов. Федин ходил в «попутчиках». То есть, по классификации рапповской критики, был фигурой достаточно сомнительной. Основные его произведения почти все подвергались то критическим проработкам, то уничтожающим разносам. Рапповские оценки были авторитетными для многих идеологических учреждений, школ, рабфаков, вузов.

Отзвуки настороженного гула части провинциальной аудитории тех лет передают воспоминания очевидца — литературоведа П. Бугаенко, студента-филолога Саратовского университета конца 20-х годов. Касаясь выступления Федина в местном Доме просвещения 2 февраля 1928 года, П. Бугаенко рассказывает, что многие тогдашние литфаковские комсомольцы далеко не сразу преодолели в себе предубеждение, которое у них складывалось «вокруг имени и творчества Федина. Его тогда

дружно и громко ругала почитаемая нами рапповская критика как „попутчика“ да еще „нестойкого“… А ведь все это происходило в родном для Федина волжском городе, с которым у писателя, разумеется, были более близкие отношения, чем с каким-либо другим провинциальным центром.

Уже на склоне лет, собираясь засесть за мемуары, Федин не раз говорил, что в смысле композиционном сравнил бы оставленные позади годы с продвижением по железной дороге, на которой бывают крупные узлы, пересадочные станции, полустанки и краткие разъезды…

В первой половине 20-х годов таким „узлом“ судеб, в который вплетена и биография Федина, было товарищество „серапионов“. Личную дружбу с большинством из них писатель сохранил и в дальнейшем. Но „серапионы“ были слишком разные. Пути их разошлись. К концу 1926 года кружок как место творческих встреч и обсуждений уже не существовал.

Ко второй половине 20-х годов в литературно-художественных общениях Федина все большее значение начинает приобретать „круг Детского Села“, куда он, впрочем, бывал вхож и ранее.

Детское Село (ныне город Пушкин), расположенное в каких-нибудь сорока минутах езды от Ленинграда, местечко с нетронутой природой поблизости и невдалеке от шума городского, избрали в качестве пристанища деятели художественной культуры и ученые. Там постоянно жили А.Н. Толстой, В.Я. Шишков, художник К.С. Петров-Водкин, композитор Г.Н. Попов и другие.

В открытом и гостеприимном доме Вяч. Шишкова устраивались „пятницы“, на которые, помимо пишущей братии, собирались служители всех смежных муз и граций из Питера, из Москвы, а также приезжие из иных городов и весей. Другим всеобщим притягательным центром был детскосельский дом Алексея Толстого. Там подобные „пятницы“ бывали более или менее чуть ли не каждый день.

Хотя в компаниях, собиравшихся у Толстых и Шишковых, были, разумеется, свои отличия (к Шишкову, „дяде Вяче“, например, неизменно заглядывал кто-то из приезжих сибиряков), выделялся в общем устойчивый круг посетителей обоих домов. К ним принадлежали писатели К.А. Федин, И.С. Соколов-Микитов, Н.Н. Никитин, П.Е. Щеголев, Е.Л. Шварц, художники Н.Э. Радлов, К.С. Петров-Водкин, композиторы Ю.А. Шапорин, Г.Н. Попов, ученый М.А. Сергеев и др.

Общности завсегдатаев способствовало то, что А.Н. Толстой, человек достаточно многосложный, а вовсе не простецкий

Алексашка Меншиков, позднейший его герой, за кого он охотно иногда себя выдавал, полностью сбрасывал защитную маску перед мудрым и добрым всеведеньем Шишкова, который был десятью годами старше. Дружил с ним нежно и доверчиво, обожал почти по-сыновьи. Любил настолько, что композитор Дмитрий Толстой (сын писателя) в своих мемуарах даже расценивает их многолетние отношения со стороны отца как, „по-видимому, единственную настоящую дружбу“. Словом, друзья-приятели Толстого легко оказывались и друзьями Шишкова, и наоборот.

Очень многое творчески объединяло создателей „Петра I“ — „Хождения по мукам“ и „Угрюм-реки“ — „Пугачева“. Интерес обоих крупных мастеров прозы к отечественной истории, к народному характеру, к самобытной отечественной культуре, к традиционному российскому укладу и быту, меняющих свои формы и извечный ход под воздействием революционных преобразований, — вот что уже само по себе не могло так или иначе не сказываться на атмосфере и духе многих разговоров и застольных дискуссий в домах Шишкова и Толстого. Хотя там было и просто тепло, весело, хлебосольно.

Понятно, насколько Федину хотелось появляться в этой среде. Это была своя компания не только по житейским склонностям и дружеским симпатиям. Но и по многим духовным устремлениям, литературным интересам.

Постоянные посетители Детского Села, как легко догадаться, не оставались в долгу и отвечали вечерами у себя на городских квартирах в Ленинграде. Особенно часто такие встречи проводились, пожалуй, на дому у Фединых, у Радловых…

Сохранился любопытный документ: дневники Н.К. Шведе-Радловой, которые она подробно вела в конце 20-х годов. Автор дневников — жена известного художника Николая Эрнестовича Радлова, графика и карикатуриста. (Перу Федина принадлежит критический этюд „Карикатуры Радлова“ — вступительная статья к сборнику работ художника, выпущенному в 1930 году.) Надежда Константиновна тоже была художницей.

На боковой стене в кабинете Федина, на даче в Переделкине, и по сию пору висит портрет Н.К. Шведе-Радловой, выполненный ее мужем.

Дневниковые записи передают обстановку, в какой проходили вчера ленинградской „общинной компании“. Отразились в них и некоторые дружеские „философствования“, и обсуждения проблем литературы и искусства, касающиеся творческой работы Федина. Все это дополнительные приметы тогдашней „налюдной“ жизни художника.

Несколько пояснений к расшифровке имен и названий, которые будут попадаться. Иные из них самоочевидны: „Коля“ — муж, Н.Э. Радлов. „Алексей“ — А.Н. Толстой, „Наташа“, она же Туся, — Н.В. Крандиевская-Толстая — жена А.Н. Толстого.

Щеголев — П.Е. Щеголев, литературовед-пушкинист, друг и соавтор А.Н. Толстого по некоторым историческим пьесам.

Генрих Пельтенбург — голландский лесопромышленник, один из „деловых друзей“ Советского Союза в 20-е годы. Подолгу жил в Ленинграде, знаток живописи и искусства, находился в приятельских отношениях с А. Н. Толстым. Впоследствии Г. Пельтенбург послужил в какой-то мере прототипом фигуры лесопромышленника Филиппа ван Россума в романе Федина „Похищение Европы“ (первоначальное название этого романа, уже мелькающее в дневнике, — „Спокойствие“).

…Со страниц дневниковых записей Н.К. Шведе-Радловой, сквозь непринужденную перекличку и говор дружеских голосов в очередных домашних гостиных возникают неповторимые черточки тогдашнего литературного Ленинграда…

1927 год

„5 декабря. Зима. Много бываем везде, кроме театров, которые Коля не любит. Видимся часто с Фединым, с Толстым… Я очень люблю Федина. Человек с прозрачной душой. Талантливый… сам себя сделал и образовал, его любят дети и животные.

30 декабря. 27 дек. у нас был обед из „серии обедов“, которые затеяли Толстые. Кроме Толстых… Фединых, были еще Пел-т-ги [Пельтенбурги]… П[ельтенбург] усадил Алексея играть в бридж, в первый раз в жизни. Он довольно быстро выучился, стал входить в азарт, увлекся и, при своих неудачах, ругался и говорил „простые“ слова, т. е. плаксиво кричал на своих партнеров… Хохотали они до слез.

Сегодня… Будет Анна Ахматова и писат[ельница] Ольга Форш, приехавшая недавно из Парижа, и вся наша „общинная компания“… Неужели Федин… начнет писать пьесы? Не нужно бы этого. Он такой настоящий романист. Искусство романа такая трудная вещь…

Однажды, как-то у Толстых за ужином, Федин сказал мне:

— Этот роман называется „Братья“. А я уже знаю

название для следующего.

— Какое же? — я спросила.

— „Спокойствие“… — Он улыбнулся и закурил папиросу.

У него большие голубые глаза, и он их сильно раскрывает, когда говорит, а в особенности когда говорит с увлечением, и у него хороший, хорошо поставленный и звучный голос. Я пишу его портрет, немного больше поясного. Мне хочется его изобразить на фоне Петербурга…

1928 год

18 сентября. Вчера были мои именины. Целый день были люди. Вечером человек 20 — Толстые… Федины… Все стояло на столе, и все всё брали сами… Все галдели, шумели. Граммофон играл негритянские песни…

6 ноября. В воскресенье у Толстых. Алексей читал пьесу „Петр I“.

6 декабря. В воскр. у Толстого. Там было масса народу. Щеголев привез В.И. Качалова с концерта… Качалов читал стихи Есенина, Пушкина — „Пир во время чумы“, из „Карамазовых“ (Ф. Достоевского), из „Прометея“ Эсхила.

1929 год

18 января. …Вчера вечером были у Федина… Шапорин заканчивает свою симфонию. Он чуть-чуть играл ее…

26 января. …Сегодня писала Конст. Федина опять… Не получается рот на портрете… Костя потом рассказывал о путешествии на лодке по Оке с Соколовым-Микитовым в 26-м г. „Дивно“ — Костино любимое слово. У него расширяются голубые глаза, рот улыбается страшно весело, и он с чувством говорит это слово…

В воскресенье… Рождение Наташи Толстой. Всем были карточки у приборов… Федину — „Рабиндранат Тагор“…

25 февраля… Во вторник я писала портрет К. Ф[едина] опять. Мы с ним болтали без умолку… Он

рассказывал мне очень интересные вещи о романах.

О своем новом задуманном романе, который будет называться „Спокойствие“… Потом он рассказал, что было толчком или, вернее, первонач[альной] концепцией „Городов и годов“ и „Братьев“…

— …А в „Братьях“, знаешь, что было началом, с чего я начал? — Глаза раскрыты широко, голубые, голубые „безумно голубые глаза“… — Ведь главное для меня был Бах!

— Арсений Арсеньевич Бах?

— Да. Всей семьи Каревых не было: ни Никиты, ни музыки. Это уже потом.

Я рассказала, как у нас, у художников, процесс развития первоначального замысла похож на все это. Как иногда от первоначальной идеи ничего не остается, появляется что-то совсем другое“.

Когда Дмитрий Толстой называет отношения своего отца с Вяч. Шишковым, „по-видимому, единственной настоящей дружбой“, то этот явный парадокс, как будто очевидная нелепица (да у Толстого только за обедом ежедневно собиралось по десятку человек!) на самом деле не- „толь уж невероятны и бессмысленны. Речь идет о беспредельно доверительной, задушевной дружбе, которая, как и любовь, нередко, бывает единственной.

Такой поверенный во всем был и у Федина. В те два года, когда возникал роман „Братья“, из многочисленной окружающей литературной среды, из друзей и приятелей, во всей полноте и достоверности, пожалуй, только Икав Сергеевич Соколов-Микитов знал, что переживает автор. Каково ему приходится, когда он шутит и улыбается в гостиных, срывает возгласы одобрения и хлопка на коллективных представлениях и забавах типа спектакля „На дне“ или живого фильма „Фамильные бриллианты Всеволода Иванова“, публикует главу в продолжение озорного авантюрного романа двадцати пяти авторов в журнале „Огонек“, позирует для портрета на фоне набережной Невы и Петропавловской крепости, играет в бридж, ведет салонные разговоры и застольные споры и т. д. Как нелегко ему часто в такой момент на самом деле. Что у него в голове, на душе, на сердце… Уж кому-кому, а Ивану Сергеевичу это было известно всегда, полностью, досконально, из первых уст…

Другим таким человеком была сестра Шура. Самый давний друг.

Наконец, по сохранившейся переписке судя, был и еще один

человек, неизменно посвященный в ход творческих переживаний автора „Братьев“. Хотя, быть может, и знавший из них лишь главное. Эго был литературный учитель, наставник А.М. Горький.

Письма, которые регулярно отсылал Федин в те годы трем названным адресатам, к счастью, полностью сохранились. Если внушительную их стопку расположить в порядке написания, то письма читаются как своеобразный „дневник“ автора романа. Настолько велика степень доверительности и чистосердечности признаний, связи и последовательности описываемых событий.

Воспользоваться выдержками из такого „дневника;“ в письмах не менее важно, чем дневниковыми заметками любого стороннего наблюдателя.

Из многообразного содержания писем взято исключительно то, что касается обстоятельств создания и творческой работы над романом „Братья“. Это относится и к проходящей через письма истории затевавшейся поездки в смоленскую деревню Кислово на волчью облаку я заячью охоту — своего рода приманчивому „миражу“, маячащему перед взором изнуренного трудом художника.

Адресаты легко угадываются по первому обращению: „Ваня“ (И.С. Соколов-Микитов) и т. д.

Другие имена, которые могут нуждаться в пояснениях: Н.В. Пинегин — писатель, общий друг Соколова-Микитова и Федина.

Федин не стремился обременять своих партнеров по переписке излишне детальными посвящениями в образную конкретику работы над произведением или тем более втягивать их в ход собственных творческих поисков. Однако несколько подобных случаев имеется.

Таковы просьбы к сестре, А.А. Солониной, о присылке сведений, касающихся быта и отношений внутри разнородного населения города Уральска, административного центра яицкого казачества.

Выбор Уральска местом действия для тех глав и сцен романа, где события непосредственно предшествуют или прямо происходят в годы гражданской войны, отвечает общей идее произведения. Почти так же, как это было на Дону, социальные конфликты проявлялись здесь особенно остро; нередко разделяли семьи — тема, чрезвычайно существенная для романа „Братья“; сам Уральск неоднократно с боями переходил из рук в руки…

Обращение к сестре объясняется тем, что она долгое время жила в Уральске, в купеческой семье Рассохиных. В летние каникулы тут гостил Федин. Колоритный и сочный быт пестрой по социальному составу и пыльной торговой столицы яицкого казачества, ее окрестности с выжженными солнцем суслиными

степями и бескрайне, за горизонт, зеленеющими пышными яблоневыми садами вдоль темноводных рек и речушек, Урал, Чаган, Деркул, прочно запали в память будущего писателя. Тем показательней та работа, которую проводит романист.

Так, в письме А.А. Солониной от 24 октября 1926 года речь идет о зимнем багрении осетров (багрение было такой же традиционной сословной казачьей привилегией, как, например, и регулирование судоходства на реке Урал; юноше Федину из-за летних по преимуществу приездов видеть багрения не довелось). К письму романист приложил на отдельных листках подробный перечень интересующих вопросов (только в первом разделе вопросника — четырнадцать пунктов)…

Федин нечасто выставлял посвящения на своих произведениях. На романе „Братья“ оно имеется: „Моей сестре Александре Александровне Солониной“. Конечно, в первую очередь это отзвук самой темы, дань духовному братству, тесным узам, которые всегда связывали его с сестрой. Но скрыт здесь, может быть, и намек на общие переживания молодости в Уральске, и авторская признательность за многообразную помощь при работе над книгой…

Итак, несколько отрывков из „дневника“ в письмах…

1926 год

24 октября. „Милая моя Шурочка, не сердись на своего… брата, который надменно и гордо молчит… Не пишет онное охвостье потому, что продал свою душу дьяволу в образе ежемесячного журнала, подрядившись дать большой роман на 1927 год… Кончу его не ранее августа, т. е. почти через год… Ни о чем другом говорить сейчас не способен…

Милая моя, усердная к тебе просьба: ответь, не поленись, на вопросы о багрении… Нужно для романа — будет глава об Уральске. Если не напишешь — умру, не могу без багрения. И срочно напиши, завтра же, сегодня же! Если не получу удовлетворительного сочинения, замучу телеграммами!.. И еще: список уральских блюд, особенно — *лакомств,* преимущественно — народных, казачьих, мещанских…“

4 ноября. „Дорогой Алексей Максимович… Самая большая моя новость — я свободен от всяких «служб». Далось это ценою продажи на корню нового романа, над

которым сейчас тружусь… В романе будут у меня такие люди: «иногородние» уральцы, т. е. купцы Нижне-Уральска, казаки с фарфосов (форпостов), немного волжан, много столичной интеллигенции — питерцев… Время наше, т. е. и предвоенные годы, и теперешний Ленинград, и даже гражданская война… Вообще хочется сказать о времени такое, что оно вовсе не нарублено кусочками, как капуста, а целостно, и что так называемая современность деликатно заготовлена нам нашими многоуважаемыми родителями. Трудность тут в композиции, черт ее знает, как свернуть в трубку конец прошлого века с пятым и двадцать пятым годами!..

5 ноября. «Милая Шурик, очень тронут твоим глубоко ценным для меня письмом… Написано оно прекрасно, целый ряд деталей ценны для меня чрезвычайно! Усердно прошу тебя описать все, что знаешь о казачках в их домашнем быту… Не можешь ли ты написать что-нибудь об отношениях казаков с „иногородними“ (у меня будут в романе и купцы) и наоборот? Побольше деталей, мелочей…»

1927 год

16 января. «Милый Ваня, вот уже месяц, как я живу в Разливе… Мой дворец состоит из двух каморок — кабинета и кухни (комнаты имени Фритьофа Нансена). По утрам так холодно, что пятки примерзают к полу, рукомойник привожу в годность поленом или отепляю кипятком. Но после топки тепло и работать приятно. Для этого дела я сбежал сюда из города… Пишу с утра до ночи. Иногда выходит, иногда нет, и часто я впадаю в мрачную безнадежность… К 1 февраля должен сдать шесть листов — количество умопомрачающее!…Работаю. По твоему слову, как отрубщик…»

4 *марта.* «Дорогой Алексей Максимович!.. Не писал я вам с осени… Тружусь над романом. Он пойдет в третьей книге „Звезды“… Самое страшное: начинаю печатать его, не дописав… Так вышло, к несчастью».

18 апреля. «Дорогой и милый Ваня… Боюсь, что взял на себя задачу не по силам, начав печатать роман прежде окончания работы над ним. Романом доволен, то есть замыслом, планом. Все должно (в мыслях) получиться хорошо. Но сроки меня изнуряют, я истощаюсь,

исчерпываюсь. Вот к маю должен дать четыре листа, а у меня ничего нет (написал лист или в этом роде). А ведь каждый день работаю и каждую минуту думаю, даже во сне. Ты прости, что я все об одном. У меня каждая клеточка наполнена этим, я болен. И пожалуйста, чтобы это не отразилось как-нибудь на чувствах твоих ко мне… Приехать к тебе не мог, боялся сбиться с толку».

25 августа. «Отвечаю тебе, дорогой Ваня… Позволь писать, как выйдет, как придется. „В „уменьи жить“ необходимо созвучие тому, что идет округ“ — это из твоего письма… Герои мои (любимые, конечно) вынуждены переживать всякие страсти-мордасти из-за отсутствия „созвучия“. Я просто наделяю их тем, чего у меня избыток — тоской по гармонии, по созвучию, и заставляю их гибнуть, потому что они „не умеют жить“… Ты прости меня, что выходит так „литературно-критически“. Мне не до шуток и не до рассуждений о литературе. Я сам нечаянно понял, что пишу все время всерьез *о себе* (т. е. в книгах)… „Братья“ мне страшно близки. Судьба Никиты именно такая, какой ты хотел бы ее видеть…»

7 сентября. «Милый Ваня, вчера приехал в Севастополь… В работе полный перерыв. Буду ездить по Крыму, потом… опять работать… Море прекрасное, тихое, чистое, как небо».

19 октября. «Здравствуй, кум… Поездка в Крым ничего не дала, кроме усталости. Я прожил всего неделю там, после землетрясения не мог остаться… Вернулся встрепанный, не отдохнувший… При большой удаче, надеюсь кончить роман в феврале. Если кончу раньше — приеду в Кислово на зимнюю охоту… Волки не дают мне покою, все вспоминаю „нашу“ облаву в 1925 году!»

21 ноября — 3 декабря. «Милый мой друг Ваня… Иной раз, когда я думаю о тебе, я просто *становлюсь счастливым,* что ты есть, что я тебя знаю и что ты — поистине глубоко — один у меня человек!.. Насчет ружья: теперь здесь Пинегин, поможет мне выбрать, явлюсь к тебе в полном снаряжении (валенки есть хорошие, горжусь!..)… Допишу в другой раз…

3. XII. …За двумя зайцами погонишься… А я хочу непременно погнаться и поймать! Зайцев-то, в сущности, *три.* Первый, конечно, — роман. Осталось мне… на два полных месяца работы. А как раз… в эти месяцы хорошо бы побывать у тебя… Третий заяц — Саратов: мне

положительно необходимо навестить сестру… Ты знаешь, здоровье ее очень неважное, а я не виделся с ней уже полтора года…»

3 декабря. «Милый Шурик… Не отвечал по обычной причине… в свободную минутку такая нападает усталость… не могу ни за что приняться. Письма же писать писателю, как говорил Л. Андреев, все равно, что почтальону делать моцион… Осталось мне три листа, не так много, но, принимая во внимание работу на протяжении 14 месяцев, почти без отдыха, количество более чем внушительное… Но редакция журнала сильно нажимает, требует „бесперебойного снабжения“ рукописью… Очень меня тянет на зимнюю охоту в Смоленскую губ., на волчью облаву, на зайцев. Обещают и медведя в Вельском уезде…»

1928 год

18 января. «Милый Ваня, как видишь, я осуществил первую часть „программы“ — перебрался в Саратов и живу здесь уже вторую неделю… Если здесь, в Саратове, работа пойдет хорошо, то „досижу“ до конца… У меня со здоровьем стало худо, опять заговорила язва…»

8 марта. «Дорогой Алексей Максимович, сегодня я кончил своих „Братьев“ и вот пишу вам первому об этой радости. Право, давно я не чувствовал такого счастья и ни разу за истекшие полтора года не мог бы написать вам с таким легким сердцем. Только поэтому и не писал. Я привык обращаться к вам или с решенной, или с безнадежно брошенной задачкой, как прилежный ученик — к учителю. А последнее ваше письмо (весной прошлого года, правда, — по второстепенному „деловому“ поводу) немного напугало меня тем, что уж очень вы утруждаете себя ответами даже на „коротенькие“ письма. Я тогда же положил не писать вам, пока не решу своей „задачки“. А сегодня не могу удержаться — пишу беспредметно, ни о чем, просто вот „так“! Уж очень хочется сказать, что я рад! Радость, конечно, не от того, *как* я выполнил работу, а от того, что *выполнил*. Сейчас я вовсе не способен судить о сделанном. Одно я знаю твердо: работал я над романом, пожалуй, так же упрямо, как мой Никита над музыкой, и теперь у меня вместо сердца — дырявый мешок и вместо

головы — пустое ведро. Шить же мне вкусно, как никогда!»

29 марта. «Родной и милый друг! Виноват я перед тобой кругом, и если надеюсь на твое прощение, то единственно потому, что рассчитываю на твою доброту. [7] Уверен, впрочем, что ты меня поймешь: *„Братья“ окончены, я свободен!* Понимаешь, что уехать из Саратова — просто сдвинуться с места — я не имел сил, пока не окончил работы. Пробыл я там два месяца… Теперь, когда эти два месяца позади, я вообще не понимаю, из каких сил писал я?.. Книга вышла большая — 20 листов с хвостом, всего на один лист меньше „Городов“… Вот видишь, милый Ваня, как вся эта история захватила меня и каким „обезличенным хозяйством“ была для меня все это время моя жизнь. Ведь с тех пор, как позапрошлым летом мы плавали по хмурой Оке, я, в сущности, вовсе не жил для себя. И — вот мне сейчас приходит на ум — вот эта моя „вторая“ судьба и есть тема „Братьев“: с какого-то момента жизнь перестает быть „собственностью“ человека и становится его хозяином. Тогда не он ею, а она им управляет, и — с виду — делая свою судьбу, он в действительности подчиняется ей. Сколько раз за истекшие полтора года и я хотел „принадлежать себе“, располагать своими желаниями etc, — и ни одного раза не удалось мне этого сделать. Как каторжник к тачке, я был прикован к задуманному, и пока не осуществил его — жил, словно во сне… Какое опустошающее занятие — литература и как иной раз тяжела эта наша обреченность — писать, писать…»

Если иметь в виду не столько фактическую, сколько более глубинную, духовную «автобиографичность», то есть внутренний самопортрет творческой личности, отображение ее развития и исканий, то «Братья», с его основным персонажем, — одно из самых близких для Федина произведений. В таком, сугубо ограничительном смысле в романе немало элементов итоговой «автобиографии» Федина-художника 20-х годов.

Среди произведений советской литературы, близких по проблематике и времени написания (романы «Восемнадцатый год» А. Толстого, «Зависть» Ю. Олеши, «День второй» И. Эренбурга и др.), посвященных путям старой интеллигенции в революции, роман «Братья» занимает особое место. Внимание в нем сосредоточено на духовном мире и судьбе художника.

Никита Карев, музыкант, композитор и дирижер, — главное

действующее лицо. Читатель наблюдает развитие героя на протяжении почти двух десятилетий — с 1905 по 1925 год. Никита живет в разной социально-бытовой среде, становится свидетелем крупных общественно-политических событий… Староказачий и купеческий быт города Уральска, бюргерская довоенная Германия, где Карев, как и автор, завершал образование, кровавая сумятица гражданской войны в заволжских степях, старая интеллигенция в Петрограде первых послереволюционных лет…

Отчизна и судьбы культуры, революция и искусство — основные темы произведения.

В романе есть характерная деталь: постигая нечто важное в окружающем мире, Карев чувствует это открытие через звуки, как «расчлененное на тысячи инструментов единое согласие».

Так, вернувшись после долголетних скитаний и заграничных штудий в родные места, Карев вдруг *слышит* Родину. С поразительной легкостью, будто сами собой, в него начинают вливаться такты и мелодии будущей симфонии, которые при всех ухищрениях композиторской техники не удавалось вызвать на чужбине.

«С того момента, когда он пришел в сад, его преследовали, ни на секунду не покидая, звуки… Стволы гудели, попеременно ослабляя и усиливая напор прекрасно связанных и ясных звучаний… И еще выше, к суровой, холодной пелене серого неба, над деревьями, над лукою, плыла охватывающая, всепоглощающая звуковая ясность».

Позже он объяснит себе это так: «…источник, питающий его воображение, бил на родине, там… где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости… Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен слышать голос камня, положенного отцом. Это и есть родина — голос камня, положенного отцом, — и счастлив тот, кто его слышит».

И напротив, стоит Никите сделать ложный шаг, утратить понимание закономерности происходящих вокруг событий, связанных с судьбами Родины, как начинает разлаживаться чуткость и точность художнического слуха: «…звуки обезличивались, теряли окраску, окутанные заглушённым шумом; казалось, будто за пределами комнаты стоит немая пустота; наконец, замыкались в деревянном коробе рояля, и если Никита бил по клавише, тупой удар молотка по струне раздавался глухо, точно зажатый подушкой».

Чуткое ощущение Родины- уже само по себе живая вода искусства, утверждает писатель. Жизненная достоверность образа

Никиты Карева как раз и определяется тем, что, показывая его путь к революционным идеалам, романист прослеживает сокровенные движения души художника. Никита Карев способен творить, лишь будучи с Родиной, с тем лучшим, что было в народе, а то и другое, как он убеждается на собственном опыте, объединилось с социалистической революцией.

Многие страницы и главы «Братьев» уделены профессиональному миру художника-музыканта. Талантом, подвижническим трудом и неукоснительной верностью своему призванию обеспечивается дорога к мастерству… Сколько душевных метаний, падений в бездну неверия, когда, казалось, нет просвета в ощущениях собственной слабости, принесли Кареву поиски творческой самобытности, попытки обрести ее в скрипке, фортепьяно, органе, дирижерстве, сочинении музыки.

Печальной памятью этого периода навсегда осталась для Никиты фигура скрипача Верта, напарника по студенческой квартире в Дрездене. Долгие годы Верт отдал игре на скрипке. Но у него была «рука обреченного неудачника». Однажды профессор тактично посоветовал Верту перейти на альт. Это было разумное и, более того, выгодное предложение. Но у Верта вдруг рухнула вся его «устойчивая житейская система». И как-то раз ночью в соседней комнате, за стеной, он повесился, оставив записку: «Прощайте, Карев… Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке. *Верт».*

Самый процесс художественного познания, поиска истины нередко оборачивается для Карева внутренней ломкой. Мучительным выходом из своей «пылинки», разладом — между искаженной малостью собственных представлений и океаном жизни: в тот момент, когда Никита начинал приглядываться к бескрайнему простору земли, «ему дали в руки пылинку и принудили ограничить ею весь мир. Разве это справедливо?»

Формирование творческой личности, которая могла бы создавать искусство и художественную культуру, достойные свершившего революцию народа, и усвоение народом достижений социалистической культуры — таковы две взаимосвязанные проблемы самой действительности.

Следует сразу же отметить, что ответы, которые дает на них Федин, художественно не равноценны. Романист психологически убедительно и правдиво живописует приход интеллигенции на сторону революции и творческий энтузиазм ее труда на благо нового общества. Не столь последовательно и четко раскрыта в «Братьях» другая тема — о значении плодов художественной культуры для воспитания человека в новом обществе. На таких трактовках подчас сказались преувеличенные представления о

«специфическом» в искусстве, о якобы несочетаемости в нем «злобы дня» и «вечного», ошибочные взгляды, от которых тогда еще не полностью освободился Федин.

До череды поворотных событий гражданской войны, поставивших его перед окончательным выбором, Карев — индивидуалист, общественные побуждения которого не идут дальше отвлеченной книжной гуманности, расплывчато-либеральных пожеланий всеобщего добра и справедливости. Никита Карев в известной мере — духовный преемник Андрея Старцова из романа «Города и годы». Однако между обоими персонажами есть глубокие различия. Сын яицкого казака, Никита с юных лет впитал вольный воздух заволжских степей, трезвость народного мышления дядьки Евграфа, геройскую самоотверженность поступков соседа рабочего дружинника Петра Петровича и бунтарскую безоглядность сверстника своего Родиона Чорбова. Сознание Никиты во многом сформировалось этими представлениями, как связан он с родной рекой Чаган, с Волгой, с Россией.

Андрей Старцов был занят прежде всего поисками личного счастья. У Карева есть дело жизни, которому он служит, — его искусство. Именно исполнение долга художника, умение поступать в конечном счете, повинуясь «голосу» своего таланта и во благо ему, в значительной мере определяют выбор общественных позиций Карева, рождают его революционное искусство.

Своеобразный «автобиографизм» романа подчеркивается параллелью, останавливающей внимание читателя. На первых изданиях книги есть подзаголовок — «роман-симфония». В свою очередь, итогом творческих исканий композитора Никиты Карева становится «симфония-роман». Отдельной главой в произведение включена даже специальная рецензия под названием «Симфония Никиты Карева».

«В обстановке, почти исключавшей возможность занятий на рояле, — говорится в рецензии, — Карев создал эту „симфонию-роман“, запечатлевшую на себе все то великое, что принесла нам революция. Нужно иметь самообладание настоящего художника, чтобы, отрешившись от обывательского приятия жизни, в таких условиях увидеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить…»

Глава «Симфония Никиты Карева», как и указано на страницах «Братьев», написана Ю.А. Шапориным, известным композитором и завсегдатаем ленинградской «общинной компании».

Рукопись романа Федин давал читать Шапорину. «Мне,

разумеется, было очень интересно узнать мнение настоящего композитора, — рассказывает Федин, — убеждает ли его анализ психологического склада такого человека, как мой герой? Прочитав роман, Юрий Александрович (Шапорин. — *Ю.О.)* пришел в душевно расположенное состояние. Тогда я спросил его — если такой художник, как мой Никита Карев, действительно существует, не смог бы он, Шапорин, музыкант, которому хорошо знаком внутренний композиторский процесс, написать о нем статью? Шапорина захватила эта мысль — критическим словом передать свое отношение к такого типа художнику, и он, приняв мое предложение, очень быстро его осуществил. Мистифицированный мною персонаж совершенно неожиданно нашел в реальной жизни, в лице самого Шапорина, своего единомышленника…»

Внутреннее единство и преемственность передовой русской культуры и революционного идеала — такую устремленность отмечает рецензент в симфоническом искусстве Карева. Такова и главная идея романа «Братья».

Своим произведением Федин ратовал за полноту эмоциональной и духовной жизни нового человека, за усвоение богатств, созданных отечественной и мировой культурой.

…В Петрограде Карев присутствует на концерте симфонической музыки, устроенном для рабочих союзов. Он впервые наблюдает незнакомую себе аудиторию. Оркестр исполняет Вагнера. Особенно поражает Карева реакция двух расположившихся по соседству слушателей-матросов, портреты которых даны в романе несколько собирательно и плакатно, как типичной «братвы» («Волосы матросов были всклокочены, воротники топорщились и расстегнулись, словно по залу гулял ветер… Их отважные, грубые лица были возбуждены. Матрос… держал своего товарища за локоть, и Никита видел, как медно-красная рука сдавливала этот локоть тисками…»). С радостным волнением наблюдал Карев, что, казалось бы, малоподготовленные слушатели захвачены симфонической музыкой.

Сцена эта в художественном отношении, к сожалению, не принадлежит к числу лучших в романе. Рабочая масса в ней написана все-таки довольно приблизительно, важные выводы Карева поэтому не во всем подготовлены, и последующие размышления и разговоры с Ириной о месте художника в новом обществе кажутся подчас неоправданно многозначительными. Но в структуре романа этой главе отведена важная роль. Карев впервые живет одним чувством с рабочей средой. Никита «… хлопал с увлечением в ладоши, заодно с матросами, во всю

глотку кричавшими „браво!“, заодно со всей толпой, подступившей к эстраде».

После концерта Карев ощущает, как «новая весна внезапно и бурно ворвалась в его одиночество». И если переживания, вызванные мытарствами гражданской войны и гибелью брата Ростислава, определили окончательный выбор общественной позиции Карева, то необычный симфонический концерт, по мысли романиста, убеждает героя в полезности его искусства для революционного народа.

Однако людей, равнодушных к музыке, строящих свою жизнь вне ее, в романе Федина больше, чем таких, для кого она обратилась в потребность и радость бытия. Давно уже охладел к Никите душой его отец — матерый яицкий казак Василь Леонтьевич, прозвавший сына «камертоном». При всех непримиримых расхождениях с отцом по существу так же смотрит на Никиту его младший брат Ростислав, не считая музыкальное сочинительство делом, достойным мужчины и хозяина жизни в годы решающих общественных поворотов. И даже «роковая» красавица, купеческая дочь Варвара Михайловна Шерстобитова, долгие годы искавшая расположения Никиты, бросает ему беспощадные слова: «Ведь ты сам не отрицаешь, что всегда жил одной музыкой… Это у тебя стало манией…»

Важное смысловое значение в «Братьях» имеют сцены ночных споров о судьбах культуры между Родионом Чорбовым и старым питерским интеллигентом Арсением Арсеньевичем Бахом, устами которого романист высказывает часть заветных убеждений. (Вспомним признание Федина Шведе-Радловой: «…Ведь главное для меня был Бах!»; именно с этого образа возник первичный замысел романа, когда еще не было музыканта Карева. Но в ходе работы Бах обратился в эпизодического героя, которому, однако, «поручено» автором сказать «итоговое слово».)

Старый ученый выступает против эмоционального обеднения личности, за умение видеть красоту жизни во всех ее проявлениях. Подлинная культура, настаивает он, измеряется не арифметическим накоплением знаний, а способностью человека чувствовать и творчески мыслить. «Наибольшая опасность для мысли, — остерегает Арсений Арсеньевич, — это основывать суждения на готовых выводах». Особое значение придает Бах художественной культуре. Обобщенно запечатлевая красоту действительности, искусство не только учит человека чувствовать и мыслить, оно помогает ему стать счастливым. Вот почему революция должна оберегать художественные ценности прошлого, растить таланты, а, созидая культуру настоящего, заботиться не только об утилитарной пользе, не только «о

квадратных площадях и шарообразных зданиях неизвестного назначения», по выражению Баха, но и о воспитании чувства прекрасного в людях.

Революция должна взращивать красоту… Так, мысль, прозвучавшая у Федина впервые в рассказе «Сад», получает в «Братьях» дальнейшее и многостороннее развитие.

«Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» Обычно этот эпиграф (из Байрона) к роману «Братья» относят к главному герою — колеблющемуся интеллигенту, приверженцу отвлеченной гуманности, — с которым на данном этапе своего творческого развития прощается автор. Прощание это оказалось лишь относительным. В некоторых героях последующих произведений Федина (и прежде всего в такой масштабной фигуре, как драматург Пастухов из романов трилогии) мы еще узнаем преемников Никиты Карева. Интерес к характеру такого социально-психологического склада, к его «биографии» и жизненному развитию почти за полвека Федин пронес через все свое творчество.

В эпиграфе к «Братьям» улавливается вместе с тем общее тогдашнее авторское самоощущение: это было этапное и переходное произведение в творческом развитии романиста. В 30-е годы образный строй прозы Федина претерпит существенные изменения.

Для понимания духовных поисков Федина в это время особое значение имеет его переписка с Горьким. Во второй половине 20-х годов, помимо конкретных творческих и житейских тем, в ней обсуждались и более широкие — общественно-политические, философские, нравственно-эстетические проблемы. Речь шла о культурном строительстве, крестьянстве, долге художника, тенденциозности в искусстве, о литературных традициях, о старой и новой морали…

В обмене мнениями возникали и несогласия, и споры. Самобытность Федина-художника порождена среди прочего его способностью воспринимать и усваивать горьковские советы творчески.

В 1926 году обмен мнениями сосредоточился на том, что составляло тогда одну из отличительных особенностей художнического зрения Федина.

«…Я, кажется, всегда только жалею, — признавался Федин в письме 16 января 1926 года, — восхищаюсь скупо и ненадолго. На замечательного, умного и, конечно, полезного рысака, например, я всегда немножко досадую, а забитая и никчемная кляча меня волнует глубоко. Я знаю, что в этом — порок моего

зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю».

«Я сейчас *ищу* образ, на который мог бы опереться в будущем моем романе, — писал Федин в другой раз. — Я вижу очень стойких людей (хотя редко), но — поистине — таких людей я вижу „я — человек“, но не „я — художник“. Это неуклюже сказано, но Вы поймете меня: мне не можется писать об этих людях, мое воображение не претворяет их в притягательный образ, это все какие-то чурбаки! Казалось бы, в отношении к подобному материалу я наиболее холоден, объективен, с ним легче обращаться. Но он мне чужд!..»

Горький отвечал 3 марта 1926 года: «Аз есмь старый ненавистник страданий и физических и моральных. И те и другие, субъективно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое. „Клячи“ нередко рисуются им, как нищие — своими язвами… Нет, дорогой друг, мне с Вами трудно согласиться. На мой взгляд, с людей страдающих надобно срывать словесные лохмотья, часто под ними объявится здоровое тело лентяя и актера, игрока на сострадание и даже — хуже того.

Мне думается, что Вас, „художника“, не „клячи“ трогают до слез», а Вы волнуетесь от недостаточно понятого Вами отсутствия смысла в бытии «кляч».

Спор о «клячах» и сострадании, затеявшийся между Фединым и Горьким, был и спором о литературных традициях, о гуманизме русской классики и, конечно же, об отношении к наследию Достоевского, на которое с первых писательских шагов опирался Федин. В суждениях Горького, заостренно выражавших некоторые этические принципы революционного художника в переходную эпоху, не все было бесспорно, как не всегда бывал справедлив он в оценках Достоевского. Исторический опыт показал, что все благородные человеческие чувства и побуждения свойственны социалистическому гуманизму и питают многообразие художественных индивидуальностей в новой литературе. Это относится в том числе и к чувствам жалости и сострадания, поскольку справедливое общественное устройство не исключает автоматически из жизни проблемы трагизма и страданий.

При всей спорности отрицания «смысла в бытии „кляч“ Горький возбуждал энергию духовных поисков, „действенную любовь к человеку“, по выражению самого Федина. Советы эти многое значили для писателя. Как он замечал позднее, выступления А.М. Горького против „искусства быть несчастным“, „за искусство быть счастливым“ обращали работу воображения в

сторону „человека, верящего в творческие силы разума и воли“. Значение духовных обретений на этом пути для последующего развития писателя трудно переоценить. Под их воздействием происходило дальнейшее углубление эпических начал в прозе Федина, основанных на выяснении единства коренных интересов передовой личности и народа. Создавались многие масштабные образы будущих книг, и прежде всего такие деятельные натуры — герои романов трилогии, как коммунисты Извеков, Рагозин, гражданski активная и женственная Аночка…

Другой вопрос — и это зависит уже от воспринимающего советы, — как осуществлялся процесс накопления новых духовных качеств в реальной творческой практике писателя. Был ли он преимущественно поступательным? Или же наряду с элементами новых воззрений были здесь и свои утраты, частичные отступления, временные попытки некритического следования чужому творческому опыту, намеренного или невольного притупления того, что сам же Федин в письмах к Горькому признавал не только изъянами, но и особенностями своего художнического зрения? Декларативно-публицистические решения ряда сцен и глав романа „Похищение Европы“ — только один из ближайших тому примеров и ответов на эти вопросы, которые отнюдь не случайны в творческой биографии Федина 30-х годов.

Отдав дань подобным издержкам, Федин сумел отыскать самостоятельный художественный путь. А тяготения к переменам образного строя прозы начали ощущаться писателем как раз на рубеже 30-х годов.

„Художнически я принял и понял Льва Толстого где-то к сорока годам, когда он стал для меня наивысшим авторитетом, слегка потеснив Достоевского — кумира моей молодости“, — свидетельствует сам Федин. В 1928 году, когда вышли „Братья“, автору было тридцать шесть лет.

Лев Толстой как художник эпического склада, часто обращающий пафос своего психологического анализа па выяснение зависимости полноценности человеческой личности от следования ею народным идеалам, становился ближе, чем „кумир молодости“ Достоевский, с его темой „униженных и оскорбленных“, страдания и трагизма личности.

Такая творческая перестройка, к которой шел Федии на рубеже 30-х годов, _ вызывалась требованиями эпохи. Годы первых пятилеток явились временем серьезной идейно-художественной перестройки также и для многих других советских писателей.

Художественная проблематика „Братьев“, сосредоточенная на судьбах и драматизме духовного развития культуры и искусства в переходную историческую эпоху, была горячо воспринята современниками. Даже „рапповская“ критика при всей предвзятости и остерегающем громыхании оценок не могла не признать значительности очередной работы „нестойкого попутчика“.

Окрыляли мнения, решающие для автора. Горький, находившийся за границей, прочитав начало журнальной публикации романа, писал Федину 21 апреля 1928 года, что прочитанное ему „очень понравилось строгим тоном, экономностью слов, точностью определений“.

В почте откликов выделялись письма таких мастеров, как Б.Л. Пастернак и Стефан Цвейг.

В самом начале сентября 1928 года, вернувшись в Москву после летних странствий по Кавказу, едва ли не первое, что делает Пастернак, — берется за письмо автору, чтобы передать собственное мнение о романе, а заодно и поведать о том, как на его глазах только что вышедшая книга читалась самыми разнообразными черноморскими курортниками. „Читал и перечитывал я восхитительных „Братьев“… — пишет Пастернак, — громаднейший вклад в тематическую нашу культуру… Каждое сотое слово этого молчаливого, подвижного и полного незнакомых встреч и разминок, частно-путевого, лета были „Братья“.

Разговоры эти… на вокзале в Новороссийске, на палубе „Кречета“, на пароходе от Сочи… Явился страх… — прибавляет автор письма, — что Вы заподозрите меня в подражании Вам, когда прочтете автобиографические заметки, наполовину уже написанные для „Звезды“, так поразительно временами однотипен этот материал: Германия, музыка, композиторская выучка, история поколения“. Два письма Федину, посвященные общественно-исторической и культурной проблематике романа „Братья“, Б. Пастернак сопроводил томиком своих поэм „1905 год“ — ради (как сказано в письме от 6 декабря 1928 года) „документации того чувства, которое во мне неизменно вызывали Ваши книги“.

Перевод „Братьев“ на немецкий язык был сделан почти незамедлительно. Причем в 1928 году роман вышел даже в двух изданиях — в Берлине и Штутгарте, для обычной продажи и для подписчиков отдельно. Так что у Стефана Цвейга, жившего в Зальцбурге (Австрия), были разнообразные возможности ознакомиться с произведением. Тем более что предыдущая книга Федина „Города и годы“ произвела на него сильное впечатление.

Во время намечавшейся поездки в Советский Союз Цвейг хотел встретиться с Фединым. Но писатели разминулись, и встреча не состоялась.

10 декабря 1928 года Цвейг писал из Зальцбурга:

„Дорогой Константин Федин!.. Когда я был в Москве и Ленинграде (незабываемое впечатление!), Вы были одним из первых, о ком я спросил, потому что мне так хотелось пожать Вам руку и поблагодарить Вас за Вашу прежнюю книгу „Города и годы“ и тем более за новую — „Братья“, которую я прочел с захватывающим интересом. Я нахожу, что искусство композиции в этом романе еще более выросло и, кроме того, Вы обладаете тем, что так непонятно большинству в русских художниках… — великолепной способностью изображать, с одной стороны, народное, совсем простое, человеческое и одновременно создавать изысканные артистические фигуры, раскрывать духовные конфликты во всех их метафизических проявлениях“. В другом письме (1929 года) Цвейг повторял, что книги Федина „принадлежат к наиболее значительному, что дала нам новая русская литература“.

Успех романа был таков, что к 1933 году „Братья“ вышли уже одиннадцать раз, в том числе в пяти переводных книгах — на немецком (дважды), чешском, испанском и итальянском языках.

Издательство „Прибой“ еще с зимы 1927 года начало выпуск первого Собрания сочинений Федина в четырех томах. После выхода „Братьев“ Госиздат в короткий срок (в 1929–1930 и 1931–1932 годах) повторил четырехтомник дважды.

Это была уже не просто известность. Это было широкое признание.

1928 год стал для Федина временем лучезарным, радостным… Конечно, не без того, чтобы где-то в глубинах сознания затевалась новая работа, а досужее воображение „удумывало новый хомут“. Судя по дневниковой записи Н.К. Шведе-Радловой от декабря 1927 года, уже возник замысел романа „Похищение Европы“.

Об этом очередном крупном полотне, которое именовалось тогда „Спокойствие“, Федин рассказывал ей же зимой 1929 года: „Какой-то человек, больной. Почему-то я решил, что у него больная нога, странствует по Норвегии. Он побывал в Берлине у многих докторов. Доктора ему сказали, что это безнадежно. Он странствует по Норвегии, знает — ведь там Гамсун. Он полон этих гамсуновских ощущений, вот этой последней любви. Ведь у Гамсуна это очень сильно… Я люблю Гамсуна… И вот он ищет, он ждет. У него тоска по настоящей любви… Это человек не молодой. Он прожил почти что свою жизнь. Он работал. Он

принял революцию по-настоящему… И вот па двенадцатом году он чувствует эту тоску по любви… Он… может быть, коммунист…“

В этой характеристике уже четко вырисовывается портрет советского журналиста Рогова, одного из главных героев романа „Похищение Европы“.

Путь по странам Европы, который впоследствии совершит этот персонаж, в течение трех месяцев (с конца июня 1928 года), проложил сначала сам автор. „В 1928 году, окончив роман „Братья“, — писал позже Федин, — я совершил большую поездку в Норвегию, Голландию, Данию, Германию, в период наивысшей „стабилизации“, и видел Запад веселящимся, закрывшим глаза на горе мира“.

ДВА МИРА

…Виды Голландии, затянутой в «корсет электрических железных дорог», доков Гамбурга, Бергена и Роттердама, где с баснословной скоростью рождались новые морские гиганты, чистеньких городских пейзажей Германии, Дании и Норвегии, всего вроде бы слаженного и обихоженного «германского мира», простершегося от Северного моря чуть не до Ла-Манша, капиталистическая индустрия которого с виду действовала безотказно, как часовой механизм, — такова была внешняя картина, которую наблюдал Федин во время поездки летом 1928 года. Ничто, кажется, не предвещало, что ритм этой жизни скоро непоправимо нарушится, что совсем не за горами уже день всеобщего падения акций на биржах — «черная пятница» экономического кризиса 30-х годов.

Однако если приглядеться внимательней… Очереди безработных у бирж труда, трущобы бедноты, стыдливо спрятанные на городских окраинах, подальше от проспектов с бесконечными вереницами нарядных магазинных витрин и сияющих праздничными вечерними огнями роскошных буржуазных кварталов, с текущей по тротуарам сытой оживленной толпой… Бесконечная хроника убийств, грабежей, изнасилований, которая ежедневно выплескивается на первые страницы буржуазной прессы, и отодвинутые подальше, на внутренние полосы, и набранные шрифтом помельче сообщения о забастовках, демонстрациях протеста, о самоубийствах доведенных до отчаяния бедняков… Все это выражения социальных контрастов и ожесточенных классовых схваток, которыми на самом деле наполнен этот вполне благополучный мир.

Федин слишком хорошо знает быт и нравы буржуазного общества, он не верит в длительность его экономической «стабилизации». Так и вышло. Когда спустя три-четыре года Федин снова поехал в Западную Европу, картина даже и внешне была совершенно иной. «В это время всеобщий кризис был единственной темой Европы, — вспоминает Федин. — Можно сказать, Запад носил траур и любой ценой готов был сорвать его с себя.

Цену эту предложил ему немецкий фашизм. В конце 1932 года в Германии я был свидетелем последних догитлеровских выборов, предвещавших мрак. А когда я снова отправился в путешествие — в 1933–1934 годах — и проехал по городам Италии и Франции, официальный чванный Рим справлял

десятилетие господства Муссолини…»

Во время поездок по странам Западной Европы писатель с особенной остротой ощущает себя посланцем Страны Советов.

На Родине происходят большие события. XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 года утвердил директивы по плану первой пятилетки. На основе дальнейшей индустриализации страны и широкой коллективизации сельского хозяйства планируется построение фундамента социалистической экономики. Первая пятилетка означает развернутое наступление социализма по всему фронту.

Велик был энтузиазм, с которым советские трудящиеся встретили пятилетний план. Темпы, какими сооружались намеченные пятилеткой индустриальные гиганты — Днепрогэс, Магнитка, Сталинградский тракторный, Кузнецк, Соликамск, — приводили в замешательство даже видавших виды западных инженеров. Наступление социализма и вытеснение капиталистических элементов в городе и деревне обостряли классовую борьбу в стране, идеологическое противоборство двух противоположных систем на международной арене.

Перед советской литературой наряду с изображением героики народного труда и свершающихся в стране перемен возникает задача всесторонней и углубленной критики буржуазного образа жизни. Таковы произведения конца 20-х — первой половины 30-х годов, дающие крупные образы людей, воспитанных капиталистической системой, — циклы зарубежных стихов В. Маяковского, романы «Черное золото» А. Толстого, «Человек меняет кожу» Б. Ясенского, «Одноэтажная Америка» И. Ильфа и Е. Петрова, очерки М. Кольцова, «Повесть о Левинэ» М. Слонимского и др.

Одним из первых почувствовал насущность задачи и нашел своеобразный ответ на нее Федин. По собственным словам, в романе «Похищение Европы» он задумал «показать Западную Европу в противоречиях с новым миром, который бурно строился на Востоке, в Советском Союзе».

Уже в конце 20-х годов ясно вырисовывается для Федина и то деловое поприще, на котором будут сталкиваться и взаимодействовать в романе герои разных убеждений и образа мысли. Область эта — лесная торговля. Для такого выбора у писателя были серьезные основания.

Федин хорошо знал человека, некоторыми чертами явно предвосхитившего положительного героя второй книги «Похищения Европы», — директора лесозаводов Сергеича. Из деятелей партии, коммунистов ленинской выучки, с которыми привелось на своем веку встречаться Федину, И.Г. Лютер,

несомненно, был одной из замечательных личностей. Впервые повстречались они на квартире друга писателя — ученого-этнографа М.А. Сергеева, тоже старого большевика. Иван Генрихович Лютер, бывший латышский революционер-подпольщик, занимал видный пост в «Экспортлесе».

«Этот роман потребовал от меня знания лесного хозяйства на Советском Севере, — вспоминал Федин, — и точных представлений о международной лесной торговле… Иван Генрихович… превосходно знал не только наше лесное хозяйство — работу по вырубке, сплаву, распиловке леса на заводах, но также сложную жизнь наших портов, морских лесовозов… Но не меньше знал Иван Генрихович и среду западноевропейских коммерсантов, многоопытных торговцев, которые приспосабливали свои интересы к новым, нелегким для них условиям эксплуатации лесных участков, отведенных советскими властями иностранным концессиям».

Летом 1928 года, во время пребывания в Голландии, Федин немало времени провел на лесоторговых предприятиях как раз одного из таких концессионеров. Это был давний знакомец по Ленинграду Генрих Пельтенбург. Писатель посещает также фондовую биржу в Роттердаме, знакомится с разнообразными представителями капиталистических деловых кругов…

В конце 1929 года разразился мировой экономический кризис. Жизнь подтвердила прогнозы. Все ярче обрисовываются теперь у Федина сюжетные линии романа, посвященного капиталистическому Западу и его отношениям с Советским Союзом.

Пафос социалистических преобразований, захвативший страну, вызывал у советских писателей потребность полнее использовать в своем творчестве непосредственные показания жизни. Писательские поездки по новостройкам первой пятилетки, жизнь в рабочих коллективах способствовали возникновению таких романов, как «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Соть» Л. Леонова, «День второй» И. Эренбурга, «Время, вперед!» В. Катаева…

Летом 1930 года Федин едет в Карелию и долго живет в Сороке (нынешний Беломорск), среди рабочих лесозавода. Он наблюдает жизнь большого портового города, в устье реки Выг, воды которой стремительно несли пакетами плотов и молью из глухих мест Севера сплавной лес. Писатель присутствует на рабочих собраниях, на производственных совещаниях, часто бывает у портовиков, вникает во все тонкости отношений со здешними иностранными концессионерами.

«В 1930 году план романа „установился“, — рассказывает

Федин, — я знал, что буду писать роман о голландских купцах, о лесной торговле, о нашем Севере, о наших новых людях…»

Творческая работа над романом постепенно налаживалась, вошла в колею, и жизнь (наконец-то!) потекла не надрывная, желанная, самим тобой созданная жизнь. Как вдруг…

Все начало валиться, идти прахом…

Удар обрушился сразу, почти мгновенный и двойной.

Сначала в первых числах января 1931 года — телеграмма из Саратова: Шура при смерти.

17 января срочно уехавший туда Федин послал телеграмму жене, в Ленинград: Шуру похоронили.

Пробыв в Саратове несколько дней, писатель поездом возвращался домой. Не отпускало ослепление, шок.

В доме на Смурском переулке он разрыдался вечером, после многолюдья поминок. Напросился ночевать в ее комнате — все равно надо было кому-то. И, оставшись наедине с собой, будто услышал Шурин голос: «А ты поплачь, Костик!..» Она знала его обычную заторможенность — «замороженность», как считали другие. Умела подыскать самое подходящее к случаю слово. Он плакал в подушку. Безутешно, покинуто, как в детстве.

Сейчас, глядя в проталину вагонного стекла, Федин старался сообразить: что же дальше?..

Шура всегда изумляла брата. Встречи с ней точно возвращали к лучшему в собственной натуре. Добрая, мечтательная, жалостливая — это перешло к ней по материнской линии, от Алякринских. Она была праведницей. Не умела причинять окружающим мельчайшей боли. Скорее возьмет ее на себя. Страдания котенка важней были для нее всяких умных разговоров. Добра была, кажется, до безволия. Жила как будто без плоти, сотканная из воздуха. И вместе с тем имела характер твердый. Убеждения души не уступит… И где же, где теперь все это? Неужели ничего нет, исчезло?

Да, Алякринские по женской линии передали Шуре не только свою природную доброту, но и наследственную чахотку, правда, через поколение. У матери туберкулеза не было, а у Шуры он опять проявился, как у бабки. Хворала она долго, насколько помнили домашние. И к этому привыкли, относились спокойно. Иные ведь с наследственным туберкулезом, понемногу тлеющим, переживают здоровых, тянут до восьмидесяти и дольше. Ничто не предвещало беды. А тут вдруг обострение, вспышка — и сразу сгорела.

Это было в январе. А в один из последних дней апреля у Федина неожиданно подскочила температура. Жар был настолько

сильный, что он не сразу даже смекнул, что произошло. После обеда прилег вздремнуть. С намерением приняться затем за прерванную страницу «Похищения Европы».

Весь материал был под руками — собран, пригнан, заготовлен, разложен по папкам — и теперь вело нетерпение. Из одного рабочего дня старался выкроить два: послеобеденный сон позволял снять утомление, и можно было начинать сызнова. Несколько глав были отделаны, полностью готовы. Осенью намечал печатать в журнале «Звезда» первую книгу.

Проснулся с чувством, что ожидает что-то хорошее, интересное, давно грезившееся. Это была неоконченная страница романа. Он уже знал, как писать дальше, и уверенность была, что получится легко, звонко, вдохновенно. Изготовился, чтобы вскочить, одеться и мигом — пером ухватить готовое, начать работать.

Пошевелился — и не мог оторвать от подушки голову. Сделал усилие — предметы виделись, будто из глуби, сквозь зеленоватый слой морской воды. Приподнялся — и вдруг все поплыло, тело было непокорное, вялое, — понял, что не может. Изменили температуру — 39,5 градуса!

Сначала, больше недели, считалось — сильный грипп. Затем для обследования пригласили специалиста — заведующего легочным отделением городской больницы Памяти жертв революции. Результаты рентгеновского просвечивания и анализов оказались ошеломляющими: на фоне гриппа — застарелые, по меньшей мере трехлетней давности, каверны в правом легком и процесс свежего туберкулезного распада — в левом.

Конечно, он много трудился и в пору написания «Братьев», да и теперь. Возможно, не очень прислушивался к себе. Но прежде ничто вроде не предвещало такого оборота событий. Разве случались бронхиты, изредка воспаления легких. Такая ли уж невидаль это при гнилых и нестойких питерских погодах? Кто мог подумать, что болезнь уже три года как затаилась? Ничем не обнаруживая себя, потихоньку тлела, дожидаясь своего часа. И вот теперь занялась сразу пожирающим внутренним огнем. Он думал, что совершенно здоров, но и его нагнало родовое проклятье, только что сведшее в могилу Шуру.

Как видно, потрясение, вызванное смертью Шуры, нарушило нестойкое равновесие, произвело непоправимый перелом в развитии болезни… Катастрофа была столь внезапной, что некоторые друзья не успели соизмерить последствий. 13 мая, то есть спустя уже недели три после вспышки гриппа, А. Толстой направил Федину письмо из Детского Села, выдержанное в прежнем духе самого беспечного жизнелюбия. Злополучная

простуда, видимо, полагал он, давно уже прошла.

Сообщая о литературных делах, давая совет относительно романа «Похищение Европы», А. Толстой приглашал друга к себе за город — взглянуть на подготовку к тому, чтобы «лопать редис, укроп, картофель, салат, огурец и даже артишоки с наших грядок», звал «на тягу».

Но Федину было уже не до утиной охоты. Туберкулезный процесс быстро прогрессировал. Больной слабел, таял буквально на глазах. Наступало то, что специалисты именуют явлениями крайнего истощения.

Среди писателей Ленинграда появились тревожные слухи… При такой запущенной стадии болезни и быстро ухудшающемся состоянии наиболее эффективным средством при немногих других, которыми располагала медицина, оставалось климатическое лечение. Главные центры обуздания туберкулеза находились за рубежом — в Германии и Швейцарии — в Шварцвальде и Давосе. На таком срочном лечении, хотя бы в течение десяти месяцев, и настаивал консилиум врачей-фтизиатров.

Легко сказать — Шварцвальд, Давос!.. Но для этого, помимо врачебных справок, требовалось еще многое другое, и главное — валюта. Причем суммы немалые. Даже самое скромное пребывание в германской или швейцарской здравнице, как подсчитано было в одной из официальных бумаг о выезде писателя, обошлось бы в месяц от 1000 до 1100 немецких марок, что составляло 10–11 тысяч марок за десятимесячный курс лечения. Страна напрягала все силы для осуществления планов экономического строительства, на счету была каждая инвалютная копейка, а тут сразу одному человеку требовалось выделить 10–11 тысяч марок! Нет, заполучить такие деньги было непросто!

На лето 1931 года семья Фединых поселилась в деревне.

Места были избраны благословенные — пушкинское сельцо Вороничи на Псковщине. Вольно сбегающие с окрестных холмов и бескрайне синеющие лесные дали, смолистый воздух прогретой деревенской светелки, петушиное пение и мычание коровьего стада, парное молоко и неспешные прогулки до берега задумчиво-говорливой речушки — всему этому назначалось подкрепить действие лекарственных средств, которыми располагала медицина.

От тех месяцев сохранилась портретная фотография 39-летнего писателя. Несмотря на явные усилия больного не поддаваться недугу и даже некоторую браваду перед глазком объектива, это грустный и печальный снимок. Холщовая деревенская роба, которая всякого, пожалуй, в таком возрасте

скрасит и обратит в добра молодца, бесформенно повисла на исхудалых плечах. Матов цвет лица, русая скоба жестко топорщащейся бородки, лихо бритой под скандинавского шкипера, лишь резче выделяет обескровленную белизну кожи, еще неуместней и беззащитней делает обезволенный взгляд прозрачных глаз. Писатель медленно угасал.

Тем временем за Федина активно хлопотали друзья.

«…Широкие круги писательской общественности с большой тревогой следят за ходом болезни К.А. Федина, одного из самых крупнейших наших писателей, которым по справедливости гордится литература Советского Союза… — говорилось в ходатайстве Ленинградского правления Всероссийского союза писателей в ЦК ВКП(б). — Правление ВССП обращается в Центральный Комитет ВКП(б) с полной надеждой на то, что сохранение жизни одного из самых лучших советских писателей станет предметом особого внимания ЦК и правительственных органов».

Тотчас ощутил Федин и поддержку Горького. При других обстоятельствах как будто бы вновь повторялась ситуация, которая уже случилась однажды, десять лет тому назад. Когда в октябре 1921 года Федин, тогда безвестный и бездомный молодой литератор, тяжело заболел — открылась кровоточащая язва желудка, — Алексей Максимович осторожно, через знакомого, передал деньги, которых хватило на операцию и лечение у профессора Ивана Ивановича Грекова, известного хирурга Обуховской больницы. Горький тогда крупно выручил, а возможно, и спас Федина.

Горькому не надо было объяснять, что такое туберкулез. Его самого этот недуг преследовал и точил чуть ли не всю жизнь. Было достаточно известно, что к тому времени (пользуясь собственным определением Горького в одном из писем лета 1931 года) у него «правое легкое совсем кончилось — не дышит».

«Крайне огорчен и напуган вашим сообщением о болезни, — писал Горький Федину, — о необходимости отъезда вашего за границу говорил с кем следовало, и все, что для вас в этом случае потребно, мне обещали сделать… Хлопот о валюте не прекращу… Питайтесь получше, пообильнее!»

«Большое спасибо за участие и помощь в моем невеселом деле, дорогой Алексей Максимович! — отзывался из деревни 9 июня 1931 года Федин. — Второй раз за истекшие десять лет… я попадаю в беду из-за нездоровья, и второй раз вы мне так живо и действительно помогаете…

С каким-то странным недоумением привыкаю к состоянию человека, который чувствует себя иногда совсем неплохо, но

опасно болен и должен лежать на воздухе, прикрыв ноги и тело пледом, поплевывая в плевательницу, нося эту плевательницу повсюду с собою, раздумывая о сквозняках, о погоде, о непостоянстве ветров и прочем. Нельзя подойти к дочери так, как привык подходить к ней, нельзя не думать о своей ложке, чашке, подушке. Странно».

…22 августа 1931 года, в восемь часов вечера, небольшое советское торгово-пассажирское судно отшвартовалось от Ленинградского морского порта и по каналу Финского залива взяло курс на Германию. В каюте нижней палубы находился больной писатель.

Прибыв в Берлин, Федин остановился в знакомом частном пансионе фрау Кёрбер. Его ждало медицинское обследование. За немецкими фтизиатрами оставалось решение, что определить Федину местом лечения: людный полутуристический Шварцвальд или «ласточкино гнездо» — швейцарский курорт Давос — угрюмое средоточие больных хроников, — даже своей оторванностью от внешнего мира напоминающий монастырскую обитель?

Рекомендованный Федину в Москве 47-летний доктор медицины Конрад Кюне все расставил по местам. «Положение скверное, — откровенно сказал он, — туберкулез третьей степени…» План Кюне был таков: сначала — Давос и уж потом только, в случае надобности, — спуск в Шварцвальд. Договорились о том, что Кюне напишет коллеге — владельцу выбранного совместно небольшого давосского санатория. Это обеспечит в известных пределах и продолжение опеки со стороны самого Кюне.

Однако до Давоса надо было еще добраться. Вот тут-то все и началось!

Швейцарское консульство потребовало от Федина для въезда в страну залог в две тысячи швейцарских франков, поручительство гражданина Швейцарской Конфедерации и разрешение немецкого полицей-президиума на обратный въезд в Германию. Избежать бумажных формальностей можно было только десятикратным увеличением денежного залога.

— Что все это значит?! — недоумевающе спросил Федин.

— Разве герр Федину не известно? Дополнительные правила для въезда неработающих иностранцев в Швейцарию.

— До сих пор мне было известно, что Швейцария самая свободная по въездам страна в Европе…

— Так оно и есть! — с готовностью подтвердил чиновник. — Но сейчас экономический кризис, наплыв безработных. Мы

вынуждены затруднять своих гостей…

Немецкий полицей-президиум, в свою очередь, не соглашался заранее выдать Федину разрешение на обратный въезд в Германию, резонно ссылаясь на то, что им неизвестно, какой путь из Швейцарии он изберет: может, через Австрию, через Францию, через Италию? Обратную визу герр Федин получит от германского консула в Швейцарии, когда будет там находиться. — Да, но туда надо сначала попасть! — Это не их забота…

Вступать в переговоры между собой немецкое и швейцарское ведомства отказывались.

Дело было яснее ясного: писатель попал на положение неимущего иностранца, существа самого бесправного. Будь у него двадцать тысяч франков залога — не было бы никаких проблем. Нет денег — можешь умирать на раскаленной берлинской мостовой со своей третьей стадией туберкулеза — никто не шелохнется.

Несколько дней в августовской берлинской духоте и бензиновом чаду, поплевывая кровью в баночку, с температурой тридцать восемь, бесплодно вышагивал больной Федин из одного учреждения в другое, не зная, как выбраться из бюрократической западни. Удалось это лишь через неделю благодаря неоднократному вмешательству советского полпредства и участию друзей СССР из Швейцарии и Германии.

Совершенно измочаленный, не чуя под собой ног, Федин сел в поезд.

…Санаторий назывался «Гелиос» («Солнце»). Но внушительным в нем было только название. Даже в лучшие времена лечебница не набирала десятка постояльцев. А теперь, в пору экономического кризиса, и того меньше.

Комнату Федин выбрал себе самую дешевую — на третьем этаже северной стороны, с почти декоративно вылепленным, мазанным известкой балкончиком. Южные, имевшие к тому же просторные балконы, стоили значительно дороже. Впрочем, апартаментик был совсем не плохой. Комнату украшал старинный кафельный калорифер во всю стену, до потолка, с лепными розами на белых квадратах. Помимо кровати с тумбочкой, стояли кушетка, вполне рабочий стол, шкаф, комод, умывальный столик. В комнате было тепло, сухо, чисто. Прямо против окна пологим наклоном уходила в прозрачное небо высокая гора, поросшая у подножия веселой травкой, потом перепоясанная широкой каймой синевато-зеленого елового леса, затем — лысая, суровая и на конусообразной вершине чуть-чуть

припудренная снегом.

Штёклина, главного врача и владельца санатория, которому писал Кюне, в день приезда не оказалось на месте. Принимал его доктор Биро, рыжеволосый деликатный швейцарец средних лет.

Температура была уже почти привычная — 38. Поэтому сразу, едва перенесли снизу чемодан, — в постель.

— Лежать — это теперь Главное ваше занятие! — уже направляясь к двери, ободряюще улыбнулся доктор Биро. — Как вы знаете, чтобы заживлялись каверны, язвочки на легких, нужен полнейший покой. Меньше двигаться, напрягать органы дыхания! У нас в Давосе особый климат, отсюда интенсивное использование постельного режима. Так что привыкайте, пожалуйста, жить в горизонтальном положении…

— Как? Лежать все время?!

— В основном… Позвольте маленькое напутствие. Представляете, на чем основан пневмоторакс? Это — поддувание с помощью иглы, воздушная подушка. Легкие сжимаются, и из работы выключаются изъязвленные доли…

— Больно очень? И наверное, неприятная операция? — поморщился Федин. — Она мне предстоит, на ваш взгляд?

— Мы стараемся, когда возможно, избавлять наших больных от этой процедуры… — уклончиво заметил Биро. — Так вот. Лежание до некоторой степени естественный пневмоторакс. Оно помогает действию медикаментов и климата. Наберитесь, пожалуйста, терпения! Придется лежать по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, не считая ночного сна. На кровати, в спальном мешке на балконе. Когда наступит момент — в общих гостиных-лигенхалле. Туда собираются все наши пациенты, как на светский раут!.. — позволил себе пошутить он. — Глядите на эту гору, думайте о возвышенном, о приятном и лежите. Пожалуйста!

И он лежал.

Коварство туберкулеза состоит в том, что у вас почти ничего не болит. В легких нет нервных окончаний. Когда отпускают так называемые побочные явления — не треплет кашель, спадает температура и т. д., ощущение болезни пропадает. Чем же может заниматься человек, без малого сорока лет от роду, который вынужден лежать? Если этот человек писатель?

Да, ему было заказано работать, писать книги. Но… и тяжелобольным не возбраняется писать письма.

И он их писал! Да как! Это было не только аккуратное исполнение долга перед домашними, друзьями, которые в мыслях видели его, беспомощного, в одиночестве, и могли навоображать всякие страхи. Даже в Берлине, наглотавшись за день

автомобильного чада и духоты приемных, едва дотащившись до комнаты пансиона и стащив с себя мокрую от пота рубаху, он заставлял себя сесть к столу и написать подробный отчет домой.

В Давосе уже было нечто большее. Он не просто информировал других или доверял письму скопившиеся наблюдения, впечатления, мысли, которыми не с кем было поделиться. Письмами он восполнял недостаток прямого общения, сократившийся диалог с миром — да, конечно. Но и не только. В них воплощалась также энергия чисто художественная.

Почтовой корреспонденцией Федин заменял себе дозу ежедневной потребности в писании, в полетах фантазии, в сочинительстве прозы, к чему как истый профессионал обвык и приучил себя за многие годы.

Письма жене, например, он даже нумеровал римскими цифрами: I, II, III… Со дня отъезда он написал ей 72 письма. Каждое из них — это нередко исповедь души, какую поверяют страницам дневника, иногда картинка нравов, художественная зарисовка с натуры, маленькая новеллка.

Помимо домашних, поддерживали активные связи с Фединым друзья, знакомые, коллеги, находившиеся в Ленинграде, Москве, в иных городах и весях… Обстоятельно, подробно и красочно отвечал писатель А.М. Горькому, А.Н. Толстому, Вяч. Шишкову, И. Соколову-Микитову, М.А. Сергееву, И. Груздеву, Мих. Слонимскому, Б. Лавреневу, Стефану Цвейгу и многим другим. Никогда Федин не писал столь охотно и много, как из Давоса.

К счастью, благодаря адресатам большинство писем сохранилось. Собранные вместе, они, наверное, могли бы образовать объемистую и любопытную книжку — «Давосский дневник».

Что же первым подмечает глаз прикованного к койке писателя?

Если обобщить, то можно сказать — в первую очередь картинки нравов, служебные и личные взаимоотношения внутри лечебницы и учреждения, именуемого санаторием «Гелиос».

Это была типичная «клеточка» буржуазного общества, где основное зависело от состоятельности клиента, держалось на деньгах, где оплатить требовалось почти каждую улыбку медицинского персонала. Такими предстают давосские порядки уже в первых «картинках», возникающих в письмах, в которых запечатлены также основные прототипы будущего романа Федина «Санаторий Арктур». Это уже известный нам доктор Биро, незамужняя австриячка врач-ассистент — «фрейлейн доктор»…

«…Мне, как известно, не полагается ни тосковать, ни утомляться размышлениями, — сообщал Федин жене. — Поэтому

от времени до врем[ени] у меня в комнате появляется, либо Д-р Byro — der führende Artz — либо — Frl. Doctor,[8] делающая анализы, уколы etc, либо сестра — с вопросами о самочувствии, настроении, желаниях и о прочем. Желания я могу иметь неограниченные… и за каждое желание я должен заплатить… Мои представления о „Fremde Industrie“,[9] пожалуй, будут превзойдены действительностью. Опыт обработки иностранного гостя в Швейцарии — вековой. Тут оплачивается все, вплоть до улыбки… Германские обычаи по сравнению со швейцарскими простота ангельская… Здесь с момента переезда границы ты попадаешь в цепь неизбежностей. И лучше всего примириться, платить. Все равно ты никуда не уйдешь, т. к. по всей стране — круговая порука, и куда бы ты ни бросился, ты „попадешь“ в „правильные“ руки — „in die richtige Hände“,[10] и тебя обработают за милую душу. С тебя возьмут за то, что комнату, снятую тобою сегодня, ты не снял вчера, а также за то, что ты оставляешь ее сегодня, тогда как мог бы пожить в ней до завтра. Если ты пообедал не там, где должен был бы пообедать согласно правилам, установленным союзом швейцар[ских] владельцев отелей, то ты заплатишь не только там, где обедал, но также и там, где не обедал (изв. % к счету за то, что *не* обедал или *не* завтракал и пр.). Всех способов обстругивания иностранцев не перечислишь… Комната стоит 14 франков, с пансионом и врачебным надзором, — кажется, дешево. Но… Я попросил сегодня счет за четыре дня 14 X 4 = 56; но сумма счета была около 89. Аптека, уколы, просвечивание, анализы и пр. — все это не входит во врачебн[ый] надзор или уход, к[оторый] состоит, собственно, из любезных расспросов о самочувствии…»

В письме от 26 сентября 1931 года Федин сообщает жене, что, прослышав о пребывании советского писателя в здешних местах, его стали посещать некоторые читатели его произведений. У персонала маленького санатория, захваченного страхом конкуренции, это вызвало неожиданную реакцию. «Кстати, о посетителях, — пишет Федин, — была на днях некая американка (тоже разговор о „Городах“), посещавшая неоднократно Сов. Россию и содержавшая тут пансион. Д-р Биро перепугался, решил, что она меня переманить приходила! Опорочил ее в лоск! Он в общем неплохой человек и хороший доктор. Но ему сейчас туго, он недавно должен был продать свой авто (даже!), так что теперь не может подрабатывать консультацией и в состоянии говорить единственно о *кризисе!* Так что страшно ревнив ко всяким визитерам…»

Но подметить главные черты санаторного быта и мотивы поступков персонала хорошо знакомому с буржуазными

порядками Федину было не так трудно. Гораздо сложней другое — прочувствовать психологическую обстановку, духовный микроклимат, который отличает нравы такого рода высокогорных обителей от всех прочих.

Через месяц после прибытия в санаторий Федин пишет большое письмо жене, проникнутое особым волнением, писательским любопытством к встретившейся «натуре». Хочется и дальше разглядывать, додумывать, представлять, а там — кто знает?.. Еще нет конкретного замысла, но уже есть убежденность в художественной значимости совершающегося, нынешних наблюдений и переживаний. Уже проскальзывает намерение обратить теперешние впечатления в материал для творчества. В этом смысле письмо под номером XIV от 9 октября 1931 года можно рассматривать как одну из первых, пусть пока еще неосознанных «заготовок» к роману «Санаторий Арктур».

В поле наблюдений автора попадают и новые лица. Позднее они дадут толчок к созданию персонажей, чрезвычайно важных в художественной структуре романа. Это — особые клиенты Давоса, его многолетние старожилы, «аборигены», такие, как навещающие Федина коллеги по санаторию — черногорец и грек (соответственно в романе, например, фигура майора-черногорца Пашича).

Обозначены уже и относящиеся к теме литературные источники, которые будут затем учтены писателем. В первую очередь это известная книга Томаса Манна «Волшебная гора», созданная ранее под впечатлением от жизни в Давосе. Теперь, когда там был Федин, ею не торговали в магазинах курорта якобы из-за тягостных описаний хода болезни, главным же образом — из-за разоблачений трюков и махинаций местной медицины. Впоследствии книге этой уготовано стать чуть ли не сквозным «персонажем» в сюжетных построениях романа… Указан и другой литературный предшественник, важный для Федина, — «Санаторий Торагус» Гамсуна…

«…Право, Дорик, я пишу тебе много! — сообщал Федин. — Короткие письма пока не получаются — „пока“, потому что здешние старожилы уверяют, что со временем давосцы перестают писать вовсе, или пишут два слова, что, мол, все по-старому, и только. Здесь ведь живут не только годами, живут десятилетиями, живут целую жизнь! Есть особая категория давосцев, уже утративших представление о *другой* жизни, знающих одно имя, одно слово — ДАВОС. Смотреть на таких людей жутковато; думать о том, что и ты, как другие, приехав на полгода или на год, доживешь здесь до самой смерти, думать об этом просто нельзя.

Этот чудный, солнечно-снежный мир в горах, такой мирный, такой благополучный и довольный с виду, исполнен бесконечного отчаяния, приступов безумия и злобы, прострации и пустоты. Люди со временем привыкают здесь ничего не хотеть, ничего не желать. Температура — десятые доли градуса, мокрота, одышка — вот тема для душевного разговора, предмет мучительного интереса, зависти, ненависти и надежд. Здесь жил одно время Томас Манн. Уехав, он написал роман — „Der Zauberberg“ — „Волшебная гора“ — роман о Давосе. Этот роман здесь запрещен, и поэтому его читал каждый больной. Это история одного больного, приехавшего сюда здоровым, впавшего в давосскую болезнь, т. е. постепенно потерявшего всякие желания и сосредоточивтого все свои помыслы на своей болезни, на своем „выздоровлении“. История человека, который был здоров и стал болен, разложившись в давосской атмосфере безделия, лежания, разговоров о том о сем, а больше — ни о чем, сплетен, флирта, термометров, весов, рентгенов, докторов, пансионов, отелей и туберкулезных лодырей. Такую тему можно поднять до высоты трагедии… (несравненный К [нут] Гамсун на таком материале создал… душераздирающий „Санаторий Торагус“)… Да, надо сказать, что герой Манна живет в Дав [осе] лет 10–12. И это правильно. Здешний „герой“, конечно, старожил. И стоит мне заикнуться, что вот, мол, когда я месяцев через столько и столько-то уеду — стоит только намекнуть на такой срок — *в месяцах,* — как тотчас видишь снисходительную улыбку…

Кто посещает меня? Из больных заходят один черногорец и один грек. Черногорец в Давосе пятый год, грек — восемнадцатый. Все еще живут в санатории, все еще лечатся, все еще говорят о температуре, докторах и прочем. Исполнены предрассудков, верят во всякие чудеса. Каждый из них уверен, что изучил tbc не хуже врачей. Каждый может рассказать целую эпопею лечений… Черногорец удивляется себе: „Подумайте, — говорит он мне, — у меня нет решительно никаких интересов!“…»

Да, в оплаченном, стерильном раю били мутные роднички собственной жизни. И сумма франков, обозначаемая в еженедельных счетах больным, находилась в тесной, но непростой зависимости с действующей здесь шкалой ценностей.

Прежде всего, как во всякой больнице, тут шла борьба за жизнь.

Конечно же, и для самого автора писем немалыми событиями были объективные показатели, рубежи и этапы течения болезни, те самые рентгеноснимки и доли градуса, о которых он столь отважно и как будто бы иронически отзывается. Сила приступов

кашля, разрешение вместо комнаты лежать на балконе, привыкание к новому пайку воздуха, который в состоянии заглатывать сжатое пневмотораксом легкое (регулярные поддувания через иглу ему с ноября все же начали делать), новый, как будто первый раз в жизни, короткий выход на улицу…

«…Вот уже почти два месяца я не вылезаю из кровати, — сообщал Федин Горькому, выводя слова в два приема, с недельным перерывом, — и только в дневные часы и в хорошую погоду меня вывозят на балкон… В самые последние дни я стал меньше кашлять, значительно меньше — это почти чудесно…»

«Четыре месяца я не вылезал из постели, — сообщал Федин в другом письме тому же адресату 22 марта 1932 года. — В начале января начал выходить — спустя два месяца после наложения пневмоторакса. Ваше чудесное письмо, которое во многом очень лестно для меня,[11] пришло в „нужный“ момент — когда я привыкал к новому, неловкому и неприятному состоянию: воздух стал для меня нормированным продуктом (теперь я уже приспособился к „пайку“). Я не отвечал вам до сих пор, не желая надоедать своей болезнью».

Вернемся, однако, к тем, кто поражен особого рода «давосской болезнью». Автор писем, вынужденный тщательно экономить и пересчитывать содержимое своего кошелька, во многих отношениях был богаче самых состоятельных коллег по несчастью.

У «героев» Давоса, кого наблюдает писатель, еще прежде, чем изгрызть легкие, бациллы как бы поражают душу. Крах респектабельной личности человека буржуазного общества и отмечает пристальный взгляд художника.

Письмо XXXIV воспроизводит встречу рождества 1932 года в санатории «Гелиос». Общий смысловой настрой здесь тот же — атмосфера суетливой пустоты, натянутости, музея восковых персон во время рождественского застолья. 25 декабря Федин писал жене:

«Тут всеми овладевает какое-то подарочное бешенство, все друг другу дарят и дарят — пустяки, конечно… У меня на столе… календарь за 32-й год, веточка елки с хлопушкой… В сочельник была елка в салоне… Скука была несусветная… натянутые, принужденные чучела си-доли перед зажженными свечками… Ничего не могло поправить дела… и в 9 часов вечера я пошел в свою комнату…»

Ощущению сборища чучел в рождественском застолье в немалой степени способствовало и то, что тягостно нависало над головой почти каждого. Неясным был не только исход лечения, но и возможная жизнь по выздоровлении. Внизу, под горой

Давоса, было теперь так же неуверенно, безрадостно и худо, если не еще хуже, чем здесь.

Свирепствовал экономический кризис, ожесточалась борьба за жизнь, драка за кусок пирога, на которую уже не были способны потерявшие силы и нередко изнеженные годами больничного безделья давосцы. С испугом приглядывались они к тому, что творилось внизу. Спуститься с горы и заново вступить в схватку — на это пригодны были немногие. Час, когда надо будет выйти из затворничества, страшил их. А деньги между тем, составлявшие оплот здешнего пребывания, да и вообще основу всех норм и порядков жизни буржуазного общества, текли, утекали. Они ненавидели Давос и держались за него.

Многие из присутствовавших за столом не хотели болеть, но и не хотели выздоравливать. Они действительно не хотели ничего! Они были живые мертвецы, чучела!

Те размеры, какие приняло разрушительное действие экономического кризиса, Федин воочию увидел сразу же, как только ему была дозволена первая окрестная экскурсия за пределы Давоса.

«На обратном пути мы заехали в Санта-Мориц, — писал он жене 15 марта 1932 года. — Это мировой курорт зимнего спорта, куда приезжают черт знает какие богачи и „светила“ (вроде Чаплина, американских див, Фербенкса и пр.). Впечатление от него у меня ужасное… Из-за кризиса все громадные отели стоят с забитыми окнами, и снегом занесены подъезды, роскошные лестницы и пр…Мертвый город… И притом ведь каждый дом — отель, подумай только!»

Ощущение своей чужеродности в здешнем мире, причастности к кругу совершенно иных понятий, представлений, нравственных ценностей — вот что неизменно поддерживало автора писем в трудные минуты.

Федин ощущал постоянно токи разнообразных связей с другой жизнью, которая в нем нуждалась и в которой нуждался он. И, будучи единственным советским человеком в здешней округе, находясь среди чуждых порядков и нравов, он чувствовал себя, как ни странно, менее одиноким, чем многие соседи по санаторию. У него был твердый тыл, жизненный шанс, выход — как раз все то, чего недоставало *тем.*

За прошедшие месяцы у Федина накопились целые пачки, связки, россыпи писем *оттуда,* которые в тоскливую минуту он заново перечитывал, перебирал, раскладывал на столе.

Можно было представить себе, что за этим столом собрались друзья. И вот поочередно и вперебивку слышны их голоса. Свидетельства, подтверждения, хотя чаще всего ненамеренные.

Каждый говорит о своем, свое, присущим только себе тоном, и будто гудит застолье, видишь лица, позы, движения. Такое приятное сборище, молчаливая шумная компания!

…Первым, конечно, берет слово Алексей Толстой, всегдашний застольный балагур. И на глазах честной публики начинается вдохновенное сочинительство, легко сплетается пестрый многоцветный ковер из яви и выдумок, анекдотов, былей и небылиц. Жизнь — веселая сказка. Иначе даже в письмах больному товарищу толковать о ней скучно.

В самом деле, чего только не понаписал уважаемый Алексей Николаевич хотя бы в этом письме от 2 ноября 1931 года.

По его словам, главное — не надо унывать, туберкулез не такой уж жуткий зверь, есть и на него верные стрелки, вроде, например, доктора-кудесника Манухина, поставившего в свое время на ноги Горького. В 1913 году Алексею Максимовичу было совсем плохо, а Манухин в месяц поднял его с кровати. Надо искать такого врача!

Об атмосфере в стране пишет: «Не знаю, как у вас в Европе — у нас настроение самое крепкое и уверенное. Москва бродит грандиозными проектами».

О последних новостях на ниве искусства сообщить может самые крохи, только разве то, что приезд из Италии Алексея Максимовича «повлиял на поворот в литературе в сторону культуры и качества. В Художественном театре 1-м единолично директорствует Станиславский — репетирует булгаковского „Мольера“ и т. д.». Сам он, Толстой, очень занят — как проклятый работает по «своей методе»: «…в городе почти не бываю, пишу руками и ногами с помощью крепкого чая… табаку и пр. Кончаю роман».

Помимо романа «Черное золото», вместе с общим другом композитором Юрием Шапориным трудится над либретто оперы «Полина Гебль» — о декабристах. И надо же такому совпадению — только что как раз дошли до самого веселого места, до сцены таборной жизни: «…Вчера написали такую цыганскую песню, что, не выдержав ее давления… горланили до трех часов (у меня). В Детском — снежок, легкий морозец, тишина, и в груди цыганские песни…»

И вот среди этого потока балагурства, побасенок, дружеского трепа попадаются вдруг неожиданно грустные и пронзительные слова: «Дорогой Костя… В самом деле я очень давно хочу тебе написать. Без тебя — пустовато у нас в Ленинграде. Бывает, живет человек полсотни лет и уедет и никто и не заметит. Когда ты уехал, — только тогда и выяснилось — сколько ты занимал места

в нашей жизни».

Как тут не замрет сердце — тем дороже такое признание!

Затем, может быть, слово пожелает сказать сам Алексей Максимович. Вот письма от него, полученные уже в Берлине и Давосе. Какое выбрать из них? Пожалуй, это — от 15 ноября 1931 года.

Щуря от дыма выцветшие голубые глаза и не выпуская из руки папиросы, неторопливо покашливая и окая, Горький говорит сначала как товарищ по несчастью:

«Очень обрадован мужественным тоном вашего письма, — хорошее настроение это как раз то, что определенно и серьезно помогает в борьбе с надоедливой этой болезнью. У меня было три рецидива… И, знаете, мне кажется, что я преодолеваю эти нападения не столько с помощью медиков, как напряжением воли. Назойливая и кокетливая болезнь, есть в ее характере нечто от старой девы».

Потом Алексей Максимович, конечно, перекидывается на дела. Рассказывает о заседании правления «Издательства писателей в Ленинграде», на котором присутствовал; о целом залпе литературно-издательских начинаний, — иначе не скажешь! — предложений, представленных им на утверждение правления.

Часть Федин знает, задумывались они совместно, еще при нем. «Издательству писателей в Ленинграде» будет над чем потрудиться!

Это по преимуществу коллективные работы. Прежде всего, конечно, серия «Библиотека поэта» — комментированное издание произведений поэтов XVIII–XX веков. Альманах «День мира», куда Горький просит Федина написать очерково-художественную миниатюру. Ленинградская часть документально-публицистической серии книг — «История фабрик и заводов»… А кроме того, напоминает Горький, Федин уже намечен литературным редактором подготовляемой сейчас «Истории гражданской войны»…

И слова, которые сами собой при этом срываются у него с пера: «А потому — выздоравливайте! Вы — крупная культурная сила, талантливый человек, ваше участие во всех этих начинаниях — необходимо. Это — не комплимент, а — скорее — просьба товарища о помощи, вот что это!»

Еще конверты, открытки, письма…

Вот, скажем, забавная штучка. Коллективная самоделка, изобретенная в новогодней компании от избытка чувств. Обыкновенная открытка, с изображением на почтовой марке рабочего в кепке, обклеена сверху серебринками и золотинками

фольги. А снизу нарисована зеленая елка и прыгающий по снегу зайчик. И волосками исчезающе мелких непохожих почерков тут же уместились новогодние пожелания от пяти человек… Затея Вани, Соколова-Микитова, Пинегина и всей их честной компании, писателей-путешественников с женами. Новогодний привет от своей земли, от полноты живых сердец.

Его же письмо, Ивана Сергеевича, писанное три месяца спустя, но не в дружеском питерском застолье уже, а совсем в ином окружении и в других краях. С палубы рыболовецкого траулера.

«…На сей раз пишу с самой середины Каспия, — уведомляет Соколов-Микитов. — Сейчас дрейфуем на середине менаду Кавказским и Туркестанским берегами. Ловим каспийскую селедку, ту самую, из которой делается знаменитый волжский „засол“ и которую в Швейцарии не найдешь ни за какие деньги…»

А вот письма человека, общение с которым всегда приносило Федину покой и тихую радость. Этим бородатым кудесником, великим знахарем человеческой природы был Вячеслав Яковлевич Шишков.

Откуда и когда почерпнул силу своего обаяния этот добродушный бородач, этот дремотный увалень, с умными медвежьими глазами, конечно, сказать трудно. Но не в последнюю очередь, наверное, играло роль то, что на своем скитальческом и бурном веку он перевидал такое, после чего уже ничто не страшно.

Да и в нынешних его письмах из Детского Села нет-нет да и прорываются схожие воспоминания. К слову, о начавшихся теперь русских метелях рассказывает, например, он о снежной буре, пережитой однажды на Нижней Тунгуске, в дебрях допотопной тайги: это был «…какой-то седой, весь в резких порывах, мировой хаос… Я лично видел, стоя на берегу… таежной с широкой долиной реки, как через эту долину в воющих вихрях снега, высоко проносились страшными птицами огромные сучья и целые мохнатые елки». А сам он, Шишков, при этом такой милый, домашний, и все вокруг него светло и просто: «Сейчас сижу в столовой, затопил печь, смотрю на огонь, пишу и вспоминаю отлетевшие назад картины своих скитаний, диких и порой — страшноватых. А Клава (К.М. Шишкова — жена писателя. — *Ю.О.)* только что убрала комнаты и слушает радио. 12 часов дня».

Письма Шишкова — как дружеский разговор, будто он находится не далеко, а совсем рядом, и при случае запросто заглянет на здешний огонек. «Дорогой Костя! — пишет он в другой раз. — Наконец-то я, такой-сякой, раскачался и зашел к Доре Сергеевне, пил чай, беседовал по душам… Ну, здравствуй,

милый!»

А рассказывает о всяких разностях… О том, например, как больше месяца ездил по городам Урала. «Самое интересное из поездки — добыча калийных солей в Соликамске, дело новое, второе в мире… Спускался я на 72 километра под землю, в бадье, с ветерком… А под землей, по высеченным в соляной толще штрекам гулял… когда все гудит и вздрагивает…»

Еще о разных диковинах, совершающихся на глазах; о строительстве в Ленинграде образцовой газетной типографии, оснащенной сверхскоростными ротационными машинами, о новом помещении писательского клуба, о парке культуры, который собираются создать всем на удивление на Невских островах и т. д.

Вообще же живет обычной писательской жизнью, в Детском Селе, через две улицы от Толстых, поблизости от живописца Петрова-Водкина, все в том же кругу совместных друзей, где теперь недостает его, Федина. Писал очерки по следам уральской поездки, выступал на заводе «Красный выборжец», рассказывал о рудниках в Соликамске. И рядом в письме — вот оно, заветное:

«Работаю над окончанием и отделкой „Угрюм-реки“… Работа весьма приятная, но выматывающая, потому что имею дело с 200 действующих лиц… Чтоб ярко представить себе всю эту сложную жизнь и держать все вожжи крепко, приходится сильно напрягать душу, отсюда — бессонница, усталое сердце, насмарку 5 лет жизни. Ну что ж, жизнь на то и дана, чтоб, пройдя другие жизни, не прожить свою».

Вот как живет этот человек!

И все они живут, каждый по-своему, пусть часто изнурительно и сложно, но неунывающей, полной веры, надежд, целеустремленной жизнью. Толстой, Горький, Ваня Соколов с его неугомонной компанией кочующих путешественников, бородатый, мудрый Шишков… Каждый не существует особняком, только для одного себя, но вольно или невольно сопрягает свои усилия со стремлениями других людей, ощущая себя частью потока народной жизни.

Нет, ему было для чего жить, зачем выздоравливать! Федин ощущал постоянные связи с людьми, с любимыми и близкими и с чужими и незнакомыми, но тоже объединенными с ним общими усилиями, надеждами; с прерванными делами, которые только ждали его возвращения; е Волгой и Невой, с Ленинградом, Москвой и Саратовом, о которых он тосковал. «Очень, очень много — в смысле ил и бодрости — дали мне за последнее время все эти сконечные выражения дружбы, участия и — часто — любви, — писал Федин жене 1 января 1932 года. — Я чувствую

себя „нужным“ человеком, и поэтому хочется скорее встать с постели и скорее начать работать. О, да, Дор… Во всяком случае, мне хочется поправиться, чтобы работать, чтобы быть с тобой и с Ниной, чтобы снова почувствовать среду товарищей…»

Бессчетные, неуловимые связи с Родиной, поддержка друзей давали уверенность, вливали силы, были большой моральной опорой.

С половины января 1932 года у Федина в течении болезни стали намечаться изменения к лучшему.

Благоприятную картину давали рентгеноснимкн, в анализах исчезали палочки Коха, стих кашель, повысился аппетит. Начались короткие самостоятельные прогулки по Давосу.

Поворот на поправку, если только это был он, дополнительно, кажется, выразился еще и в том, что в его комнату зачастил владелец и шеф санатория доктор Штёклин.

Как-то в одно из таких инспекторских вторжений Штёклин увидел на столе у Федина ворох бумаг.

То были стопки писем, что перечитывались на досуге, а также материалы и заготовки к роману «Похищение Европы», которые он извлек из чемодана и разложил для просмотра, намереваясь понемногу возобновлять работу.

— А это что такое?! — сокрушенно всплеснул руками Штёклин, будто заметил следы самого непотребного разгула. — Разве вы не знаете, что бумаги скапливают пыль! Уберите, уберите, пожалуйста! Для вас же это, дорогой герр Федин, — летучий яд! А кстати, что это за канцелярия, если дозволите?

— Да так… Знаете ли, я пишу роман…

— Что?! — всполошился Штёклин. — Ра-а-а-бо-тать! Нет, писать рекомендуется только письма, если угодно. И то предпочтительно краткие, самое необходимое… — И тут же круто изменил тон: — Право же, милый герр Федин! Чем не угодил вам наш «Гелиос»?

— Да нет же! Все великолепно. Просто мне хотелось немножко поработать…

— О, умоляю вас! И берлинский коллега, доктор Кюне, может, слегка либерал, но и он подтвердил бы. — И, наблюдая, как Федин неохотно сгребает со стола бумаги, продолжал вдогонку ласкать словами: — Спасибо вам!..

— …Эмоции — злейший враг больного, — поучал шеф санатория, сладко улыбаясь, в другой раз. — Гасить и гасить их надо, герр Федин. Советовал это вам доктор Биро? Я добавлю — жить, как часы: тик-так, тактик! Единственная забота — ваш режим, единственная заповедь — распорядок дня… Только так

можно что-то гарантировать…

Впоследствии, размышляя над здешним житьем-бытьем, Федин окончательно понял, что преувеличенная заботливость Штёклина заключала в себе и расчет. У выздоравливающего требовалось с самого начала взять в прочную узду пробуждающийся норов, отбить чрезмерные желания и хотения. И тем прочнее и верней закрепить, как собственность, за санаторием «Гелиос».

Федин написал Конраду Кюне. Ответ из Берлина не замедлил прийти. Риск, конечно, есть, высказывался Кюне, но если творчество повышает настроение и вообще способствует душевному равновесию, то при обозначившемся улучшении можно позволить некоторую свободу в выборе занятий. Значит, попробовать и писать. Все дело, однако, в дозах, в осторожности. Это должно быть не изнурение нервов, а душевное удовольствие, игра избыточных сил, что-то вроде трудотерапии.

С таким решением вынужден был смириться и Штёклин.

С февраля Федин возобновил работу над прерванным без малого год назад романом «Похищение Европы».

…Первая книга романа сосредоточена на делах и буднях лесоторговой фирмы голландских промышленников ван Россумов, чьи суда бороздят моря и океаны от Индонезии и Скандинавии до Советского Севера. Чтобы воссоздать широкие картины эпохи, автор своеобразно использует жанр «романа-путешествия»: многое дано глазами советского журналиста Рогова, переезжающего из страны в страну, размышляющего, оценивающего то, что он видит.

Главное содержание книги — разоблачение буржуазного образа жизни, среды капиталистического предпринимательства. Ярко и сильно выписаны художником характеры династии «лесных королей» ван Россумов — старейшины рода практичного и осторожного торгаша Лодевийка, внешне обаятельного и волевого Филиппа, знатока культуры и искусства, старательно вытравливающего из себя любые человеческие чувства, если они мешают процветанию фирмы; его опустившегося племянника Франса и энергичного зятя — директора машиностроительного завода в Гёрлице Крига…

При всем разнообразии этих характеров и лиц есть главное, что их объединяет, — алчность, хищничество, душевная пустота. Таково тлетворное воздействие капиталистического предпринимательства. Писатель нередко прибегает к сатирическим краскам. В широко поданных картинах фондовой биржи в Роттердаме он классифицирует завсегдатаев «почти по Дарвину», ибо здесь господствует «закон взаимного

уничтожения». У таких людей, как ван Россумы или их коллега «нефтяной король» Гейзер, цифры лицевого счета в банках и есть подлинная «рентгенограмма» их душ.

Запечатлены на страницах книги и трудовые люди буржуазного общества, испытывающие на себе тяготы надвигающегося кризиса, безработицу, нищету, вступающие в борьбу за свои попранные права. Живописно и сочно нарисованы картины амстердамского базара, которые впоследствии выделял Горький. «Ку-пи-те, ку-пи-те!..» — тщетно взывает изможденный торговец раскрашенных безделушек.

Безрезультатную попытку вырваться из жизненного тупика предпринимает безработный кочегар Рудольф Кваст. У него только что умерла жена, для которой не на что было купить лекарства, теперь за долги в квартплате его грозят выкинуть из жалкой комнатушки. Он неумело протестовал, но был избит фашистскими молодчиками. Вернувшись домой, чтобы прекратить страдания, Кваст кончает самоубийством.

Сила рабочих — в организованном отпоре, единстве, в ясности классового сознания. Это понимают дружно бастующие члены профсоюза шоферов, приводящие в бессильную ярость самоуверенного Филиппа ван Россума. Это хорошо сознает молодой моряк Джон, прибывший на голландском судне в северный порт СССР, когда от имени своих товарищей говорит на встрече с советскими рабочими: «Я счастлив, что ступил ногой на вашу землю».

Два мира предстают со страниц романа, изображающих картины буржуазного общества, — люди капитала и люди труда. Зримой внешней символикой этих миров в книге как бы являются «ослепительное, беззвучно мчащееся шестнадцатицилиндровое чудовище — „роллс-ройс“ „нефтяного короля“ Гейзера и „черный Амстердам“ — трущобы и рабочие окраины города. Амстердам, где формируются классовое сознание и солидарность пролетариата, где зреют „гроздья гнева“…

…Хотя писание романа едва ли походило на трудотерапию, таило в себе азарт, а значит, мучения, сбои, перепады настроений и состояний, включая нарушение сна и аппетита, и на первых порах позволило вроде бы убедиться в правоте тусклых пророчеств Штёклина, ущерба поправке оно не нанесло. Напротив, работа каким-то странным и непонятным образом способствовала общему приливу сил у Федина.

Особенно это стало ощущаться с приходом весны. Теперь уже почти не было сомнений — случилось! Снова жизнь, он выздоравливает. Это было главное. Конечно, понимал: весенние взлеты обманчивы, коварны для туберкулезника, и в любом

случае это только начало, а впереди трудноисчислимые месяцы лечения… Но по сравнению с тем, каким был еще два или три месяца назад, он видел себя чуть ли не здоровым.

На дворе, на улице был чудесный месяц март, полный света, пора всеобщего обновления. Федин ковылял по снежно-голубой дороге в тяжелом черном пальто на меховой подкладке, сгорбленный, опираясь на палочку, и когда заходился в кашле, тащил из кармана темный с крышечкой стаканчик… А перед глазами все пестрело яркой россыпью красок, полнилось обещанием счастья, ожиданием перемен.

„…Март оправдывает себя с самого начала, — записывал Федин. — Нынче уже вода журчит в канавках, и запах весенний, такой *наш,* русский — верхний слой снега на дорогах стаял, колеи углубились, пожелтели, и пахнет нашими дорогами — испариной навоза, лошадьми. От этого еще больше хочется уехать. Здесь вообще много „русского“. Все делает снег, зима. Когда колют лед на тротуарах кирками и осколки льда летят веером по сторонам, тогда такое чувство, точно идешь по Фонтанке… Сосульки висят громадные, с аршин, а когда срываются с крыш, звенят и рассыпаются серебряными зернами. Но все-таки общий вид этой зимы (или этой весны) какой-то ненастоящий, декоративный… У меня, перед балконом, поют и свистят синицы и скворцы, с каждым днем сильней, продолжительней, беспокойней. Дело не только в календаре, в том, что на бумаге напечатано самое обещающее на свете слово — *март* — дело вот в этих чудесных маленьких признаках весны“.

Радость возвращения к жизни, повышенная восприимчивость ко всем краскам бытия, настойчивые переходы мысли от окружающей действительности к далекой Родине, поэтическая игра воображения, раздумья, тишина одинокого затворничества, лирика… За всем этим незримо обозначается то, что называют иначе еще — жаждой творчества, искусством.

И не случайно именно в марте — апреле Федин не только еще активней входит в мир образов романа „Похищение Европы“, выстраивая и развивая его, — на этом рубеже своим чередом зреет у него замысел другого произведения. То, что было писательским любопытством к встретившейся „натуре“, неопределенным чувством материала для творчества, все более настойчиво перерастает в рабочее намерение — создать по теперешним жизненным впечатлениям крупное произведение, скорее всего — роман,

22 марта 1932 года датировано письмо к А.М. Горькому, где, сообщая о возобновлении работы, Федин решается уже объявить „заявку“ о своем желании написать произведение,

перекликающееся с „Волшебной горой“ Т. Манна.

Намеки сделаны как бы между прочим и вскользь, но высказаны высокому авторитету, лицу, перед которым негоже было бросаться словами. В письме заново возникают люди, чьи черты отобразятся в некоторых основных героях будущего романа, — владелец санатория Штёклин и доктор Биро.

„Словом, — писал Федин, — мое состояние наилучшим образом выражается небезызвестной формулой: „Оп-ля, мы живем!“

Но живем мы пока довольно странной жизнью, т. е. главным образом, в горизонтальном положении, под надзором *ревностных глаз, испытующих не только здоровье, но и кошелек.* Тут решительно ничего не поделаешь: *санаторий — это аппарат, выделывающий из коховых бацилл швейцарские франки. Сделать можно, пожалуй, только одно: к скандальной славе Томаса Манна* („Zauberberg“) *прибавить если не славы, то скандала.* Мне в этом смысле повезло: владелец санатория, в котором я лечусь, превзошел по лицемерию, ханжеству, подлому стяжанию самого Иудушку. *Представьте себе этакое создание* на фоне нынешнего кризиса — *красота?* Не потому ли он меня старательно *удерживает от работы, что ждет от нее „возмездия“?* Впрочем, речь только о нем — собственнике санатория. Лечит же меня не он, а превосходный врач и тонкий человек. Мой здешний быт зависит, конечно, больше от него, а не от Иудушки“. (Выделено всюду, кроме слова „кризиса“, мной. — *Ю.О.)*

Выделенные строки не только полнятся слегка замаскированным помыслом — писать. Но в них пробивается уже пафос рабочего намерения, каким он представлялся в начальной поре писателю.

День и час, когда „произведение следовало вынуть из чернильницы“, у Федина вызревал, как правило, медленно.

Чаще всего к написанию романа он приступал не раньше чем через три, четыре, пять и более лет после того, как пережиты были основные события, просившиеся в книгу, и затевалось их всестороннее обдумывание. Роман „Санаторий Аркгур“ создавался в 1937–1940 годах.

…Маленький давосский санаторий „Арктур“ — во многом литературный близнец реального „Гелиоса“, не исключая благостно-украшающего оттенка обоих названий („Гелиос“ — „Солнце“; „Арктур“ — это звезда первой величины, самая яркая в северном полушарии, и арктур также — архитектурный термин немецко-австрийского происхождения — ряд арок, нечто ажурное, сводчатое). В романном названии более приглушен визг

рекламного зазыва, которым старались перещеголять друг друга владельцы реальных санаториев; оно более утонченно, многозначно, философично.

Общая атмосфера действия вобрала в себя многое из того, что представлено в уже известной нам переписке. Главный герой произведения попадает примерно в сходные с Фединым житейские обстоятельства. Этот единственный советский пациент во всем швейцарском Давосе — молодой инженер по приему промышленного оборудования для новостроек, сотрудник торгпредства. Фамилия у него тоже в чем-то похожая, восходящая корнем к короткому русскому имени — Лёвшин.

Читатель на страницах романа встретит и лечащего врача-швейцарца Штума, и ассистента „фрейлейн доктор“ Гофман, и владельца санатория Клебе, и разнообразных узников „давосской болезни“, и подпольную возмутительницу порядка — книгу Т. Манна „Волшебная гора“, и т. д. Но те сложные превращения и изменения, которые претерпевают при этом автобиографические впечатления, подчинены главному — лепке характеров, развитию художественной идеи.

Пафос своего первоначального замысла Федин в письме к Горькому формулировал так: „Санаторий — это аппарат, выделывающий из коховых бацилл швейцарские франки“. Такая направленность многосторонне развита в произведении. Причем в поле зрения романиста теперь уже не только определенного типа курортные врачи — „копилки в пиджаках и черных шляпах“. Показана и неизбежная ответная реакция, которая возникает там, где охрана человеческого здоровья обращена в сферу наживы.

Погоня за дивидендами с несчастий ближнего, финансовая заинтересованность в том, чтобы больной продолжал болеть, извращает тончайшие и интимные отношения между врачевателем и врачуемым.

И если Клебе, дельный врач, культурный человек, любящий Грига, даже манерами становится похож на лавочника из-за сочетания внешнего пресмыкательства перед пациентами с закулисными махинациями в медикаментах, которые вредят здоровью тех же самых людей, запутывается и погрязает в этом настолько, что сам противен себе (лишь бы маленький его санаторий мог выжить и уцелеть в конкурентной борьбе), то не слишком привлекательны и его состоятельные буржуазные клиенты. Ежедневные высокомерные капризы майора Пашича, деревянный деспотизм пасторской английской четы или садистские выверты миллионерши мадам Риваш, „королевы“ венгерского токайского, которая бесцеремонно бросает согбенному перед ней Клебе: „Вы берете с меня самую высокую

плату… за эту плату я вправе требовать все, что хочу… включая ваши нервы, господин доктор“.

Таков ответный счет на прейскурант улыбок медицинского персонала — беспардонное унижение чести и человеческого достоинства врача. Двоедушие Клебе и бездушие состоятельных пациентов предполагают и как бы дополняют друг друга.

Образ доктора Клебе, обрисованный крупно и ярко, — один из центральных в романе. Если его отдаленный предшественник Штёклин, пользуясь словами Федина, „превзошел по лицемерию, ханжеству, подлому стяжанию самого Иудушку“, то для Клебе приобретательство не самоцель. Это фигура куда более сложная и к тому же трагическая. Судьба мелкого хозяйчика в пору экономического кризиса прослежена на личности по-своему незаурядной.

Единственный из медицинского персонала санатория, кто уже давно и тяжко страдает туберкулезом (среди персонала реального „Гелиоса“ таких людей было трое), — это сам его владелец и шеф — доктор Клебе. Он заболел десять лет назад и тогда же придумал лукавый ход — приобрести небольшой санаторий в Давосе. „Арктур“ был задуман как лекарство, как гарантия, как хитрость, — читаем в романе. Он должен был лечить и оплачивать лечение, он должен был стать вечностью и в то же время ценою, которой приобретается вечность. А он стал пожирателем здоровья доктора Клебе, стал пагубой».

Превратившись в собственника лечебницы, Клебе не выздоровел, но потерял право болеть. Жестокая трагикомедия положения мелкого буржуазного хозяйчика состоит в том, что, чувствуя себя совсем не лучше некоторых из своих богатых клиентов, Клебе наряду с исполнением повседневных дел обязан вдобавок рекламировать собственное превосходное состояние и выказывать безмерный оптимизм.

Клебе дерется за жизнь из последних сил, как затравленный хорек. Против него весь свет, каждый новый день, судьба, пациенты… Исход этого жалкого, вихляющего единоборства, этого отвратительного и по-своему героического поединка, конечно, предрешен. Клебе кончает самоубийством.

«Я иногда мечтал о чуде, которое меня спасет. Но чуда не случилось… Я сдаюсь», — пишет он в предсмертной записке.

«Он был неплохой человек, потому что не мог быть лучше, даже если бы хотел», — прочитав записку, говорит о нем Лёвшин. «Он был просто несчастный», — добавляет Гофман.

Выявление человеческого в существах, загнанных, исступленных жизнью, жестоко перековерканных несправедливыми социальными порядками, — вот своеобразное

решение темы гибели мелкого хозяйчика в пору экономического кризиса, которое дано в романе.

Морально-психологическая атмосфера «клубка змей», которую напоминают подчас внешне благопристойные отношения на швейцарском курорте, — это лишь один художественный полюс произведения. Но есть и другой.

«Санаторий Арктур» в той же самой мере — книга о выздоровлении, о радости бытия, о торжестве жизни над смертью. Не случайно многие эпизоды произведения развертываются на фоне весеннего пробуждения и обновления природы.

Одна из главных сюжетных линий — выздоровление Лёвшина. Этому персонажу переданы в романе те социально-нравственные опоры, понятия и представления, которые помогли в свое время выстоять и справиться с недугом самому автору. У Лёвшина тоже есть жизненный шанс, прочный тыл, связь с родиной, поддержка друзей, вера в будущее. И он не мыслит себя вне потока общенародной жизни, продолжающейся вдали от швейцарских гор.

Даже письма инженер Лёвшин получает по характеру весьма сходные с теми, что получал писатель. Он так же с благодарностью думает о «друзьях, освободивших его не только от денежных забот, но и от сомнений в успехе». И так же жадно читает случайно добытые советские газеты, в одной из которых, например, рассказано о пуске гиганта первой пятилетки Днепрогэса: «…Лёвшин до усталости держал полотнище московской газеты, по которой с полосы на полосу проступали устои плотины — титанический гребень, расчесывающий букли Днепра, и сквозь туман панорамы угадывал контуры знакомых по проекту подробностей, отдаленные воплощения чертежей. Усилия, работа инженера Лёвшина… были вложены в какую-то крупицу этих воплощений. И тогда его опять с закаленной силой охватило решение: выздороветь, выздороветь, выздороветь и вернуться туда, домой, к смыслу и цели своего будущего!»

Можно спорить, конечно, во всем ли убедительно обрисован Лёвшин в романе, но нельзя не признать, что основное для него содержание — заряд социального оптимизма, поэзию возвращенного бытия, ликующую многокрасочность жизни, обновления души и тела, лирику приобщения к природе, энергию жизнетворчества — это художественное содержание — образ молодого советского инженера до читателя доносит. Да и не один Лёвшин, разумеется, воплощает в романе общественно-нравственные идеалы Федина в противовес миру буржуазной бездуховности, корысти, стяжательства и наживы…

Судорожно отстаивает свое право на глоток счастья и

немногие знаки человеческой солидарности умирающая, изуродованная болезнью Инга Кречмар, одна из самых ярких и трагических фигур романа. Взлетая душой вслед за льющейся музыкой, тешит себя безумной грезой о том, как он заживет праведно и славно, замордованный, изолгавшийся доктор Клебе. С незаживающей тоской постоянно вызывает из глубин памяти тень своей умершей жены непроницаемо добропорядочный доктор Штум, тоже жаждущий человеческой теплоты и участия. По беспечному влечению натуры, как сама природа, дарит любовью своих избранников игривая и неунывающая поломойка Лизль… Даже майор Пашич, обратившийся, казалось бы, уже в медицинский экспонат, вдруг, будто заслышав трубную зорю, предпринимает попытку вырваться из тисков давосского плена…

Томления, мечты, поступки, линии поведения… Что все это, как не различные выражения тех же самых победных сил жизни, их напора и токов, взламывающих окостенение одиночества, развязывающих энергию, извечную тягу людей к любви, счастью, содружеству, освобождению, крушащих всякую неподвижность и мертвечину? И разве не принадлежит все это так или иначе к кругу тех же самых гуманистических ценностей, ради которых в конечном счете и строился Днепрогэс и лишь одним из художественных воплощений которых является сам образ рядового советского инженера Лёвшина?

Так широко и философично, с остротой и тактом социального зрения решает свою художественную задачу Федин.

…Характер произведения сказался, по-видимому, каким-то образом и на некоторых внешних условиях его написания. Во всяком случае, завершался роман в обстоятельствах необычных.

Писание романа растянулось. Требовательный художник все никак не мог окончить роман, который, по его словам, «окончить… было необходимо, иначе я просто погибал». Завершающие главы писались уже зимой 1940 года. По воспоминаниям Федина, «в ту жестоко-суровую зиму, которая побила сады, которая заносила дороги, которая останавливала поезда. И — чтобы было понятнее — речь ведь о той зиме, когда расписание ломалось не только заносами, но и войсковыми передвижениями Красной Армии, вызванными Финской кампанией. Часть души была уже далеко от романа. Тем труднее было его окончить».

Требовались повышенная самоуглубленность, чувство «внутренней тишины». В те годы Федин, переживавший волиу увлечения Львом Толстым, близко познакомился с С.А. Толстой-Есениной. Внучка Толстого убедила писателя приехать в Ясную Поляну. Необходимую обстановку творческой отрешенности

романист неожиданно для себя нашел там.

«…Я стал посещать Ясную Поляну, — рассказывает Федин. — Особенно запомнился один из первых приездов — зимой. Был страшный мороз. На станции Засека меня встретил закутанный в овчину кучер толстовских времен. В доме ждала внучка Софьи Андреевны — тоже Софья Андреевна Толстая-Есенина. В доме все поддерживалось, как при хозяевах, даже электричество не проводили. Кухарка, которая готовила Толстому, подала ужин при свечах — молоко и хлеб. Ночью я слушал тишину. Другой такой тишины нет. Фантастическая тишина. И была удивительная сосредоточенность. Там, в Ясной, я жил полтора месяца и окончил „Санаторий Арктур“.

Пока же в настольном календаре писателя была обозначена весна 1932 года. И сам он едва-едва возобновил литературную работу.

В апреле 1932 года в советских газетах было напечатано постановление ЦК ВКП(б) „О перестройке литературно-художественных организаций“, обозначившее крупные перемены в литературной жизни. Сжатые формулировки партийного документа, очерчивая дальнейшие перспективы строительства социалистической художественной культуры, отвечали умонастроениям и воле подавляющей массы советской творческой интеллигенции.

Существование особых пролетарских организаций в литературе (РАПП) имело основания, как отмечалось в постановлении, когда „налицо было еще значительное влияние чуждых элементов“. Эти организации сыграли роль в собирании и выращивании новых творческих сил молодой советской культуры. Однако чем дальше, тем больше политическая линия РАПП расходилась с жизнью. Она не учитывала возросшей классовой однородности советского общества, где к 1932 году развернутое наступление социализма увенчалось решающими успехами. Социалистическая форма производства стала безраздельно господствующей в городе, завершалась сплошная коллективизация в деревне, что подняло на новую качественную ступень союз рабочего класса и трудового крестьянства. Не считаясь с крепнущим духовным единством творческой интеллигенции, сплотившейся на основе преданности идеалам социализма, рапповские теоретики продолжали цепляться за уже исчерпавшие себя подразделения писателей на „пролетарских“, „крестьянских“, „попутчиков“. Узкосектантские лозунги „союзник или враг“, „ударник — центральная фигура литературного движения“, требования „одемьянивания“ поэзии и пр. мешали

объективным оценкам живых явлений культуры, насаждали групповщину.

Основным способом руководства литературным движением для РАПП оставались администрирование, команда, искусственное выискивание „идеологических уклонов“, наклеивание ярлыков и критические проработки. Наскоки рапповской критики испытали на себе даже Горький, Маяковский, в разряд „буржуазных“ писателей был занесен А. Толстой… Сходным образом действовали и родственные РАПП организации в других видах искусства.

„Это обстоятельство, — отмечалось в партийном документе, — создает опасность превращения этих организаций… в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству“.

ЦК ВКП(б) постановил ликвидировать РАПП; „объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей“; произвести подобные же изменения по линии других видов искусства.

Партийное постановление Федин оценил в публицистическом отклике для ленинградских газет под названием „Обладать отвагой Бальзака“. „Предъявляя к писателю большие требования, — писал Федин, — пролетарская общественность поддерживает его, как товарищ, окружает его вниманием, радуясь его достижениям и помогая ему преодолевать трудности роста“. Постановление ЦК, „объединившее разрозненные отряды советской литературы для общей работы“, писатель назвал „глубоко знаменательным“.

В апрельском письме 1932 года Горький сообщил Федину, что договорился с Роменом Ролланом о встрече того с Фединым. Горький находил, что во внутреннем облике обоих писателей есть много сходных черт и „свидание… будет приятно и полезно для обоих“. Федин к тому времени был знаком со многими крупнейшими писателями Запада — Стефаном Цвейгом, Леонгардом Франком, Иоганнесом Бехером, Мартином Андерсеном-Нексе… Но Роллан занимал среди них особое место.

В мае с разрешения врачей Федин выехал на Женевское озеро, в крохотный городок Вильнев — к Ромену Роллану. По собственному выражению, „глядел в самое ясное и одновременно самое доброе око Европы“; разговоры — о музыке, о Ганди, о русской революции, о Горьком…

Встреча эта, положившая начало долголетним отношениям, произвела на Федина неизгладимое впечатление. „Среди многих

европейских писателей, с которыми я встречался, и среди тех, которым внутренне обязан, — признавался Федин, — Роллан кажется мне величественным… Подобно горьковскому, его темперамент абсолютно искренно отдается общественности. Это — учитель от природы. Пример его жизни, не менее его романов, раскрывает великолепие духа передового европейца. И я уже не мог бы писать о Европе, не имея в виду людей этого склада“. В Западной Европе начала 30-х годов, по выражению Федина, „никто другой из писателей не видел с такой болью трагедию, навстречу которой стремительно мчится Запад“.

К началу июня здоровье Федина улучшилось настолько, что согласно плану Кюне, приняв последние здешние пневмотораксы, писатель распрощался с Давосом и спустился в германский Шварцвальд, в курортный городок Сан-Блазиен — дышать воздухом сравнительно более низинным. Туда же в июне на лето приехала Дора Сергеевна с Ниной; началась жизнь семейная, вперемежку с процедурами и строго исполнявшейся ежедневной нормой — работой над романом.

БОЛЬШИЕ МАРШРУТЫ

В середине декабря 1932 года Федин возвратился в Ленинград. И сразу, соскучившийся, истомившийся, включился в общественно-литературные дела.

На протяжении почти всего 1933 года, начиная с № 4, журнал «Звезда» небольшими «порциями», с двухмесячным перерывом, печатал первую книгу романа «Похищение Европы». Почти все это время автор продолжал работать над произведением — заканчивал последние главы и совершенствовал текст. Публикация завершилась лишь в двенадцатом номере.

Все было бы хорошо, но жить в питерском сыром, слякотном и переменчивом климате становилось трудно. Временным выходом был переезд в Детское Село, где больного взяла под свое крылышко дружеская «колония» А.Н. Толстого — В.Я. Шишкова, а затем он получил летнюю квартиру в жилом Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

Звучало это пышно (хотя квартирка исключительно рассчитана была на летний сезон), архитектурно смотрелась величественно, окна выходили прямо в один из знаменитых царскосельских парков. Но сохранению здоровья, к несчастью, помогало мало. Требовался переезд совсем в иной климат, в другие места. Куда? Наверное, в Москву… Он понимал, что переезда не избежать. И это сознавали окружающие.

«В Детском живет Федин, — сообщал А. Толстой 1 апреля 1933 года Горькому. — С ним очень неважно. У него опять появились палочки в одном, вылеченном, легком, а другое в пневмотораксе. Он читал мне свой роман („Похищение Европы“. — *Ю.О.),* — главы написаны прекрасно, четко, — немного слишком по-европейски». Но план сбивчив и как-то идет мимо глав. Он и сам это чувствует и страдает. Все это очень грустно — все эти палочки…"

В конце 1933-го — начале 1934 года Федин повторил курс заграничного лечения.

В Германии уже произошел фашистский переворот. Швейцария отказала в визе, придравшись к пустяшной формальности — переезду писателя из одного местного кантона в другой без разрешения властей при посещении Ромена Роллана в мае 1932 года. Подлинной причиной, что почти не скрывалось, была тогдашняя статья Федина "У Роллана" в газете «Известия» (1932, 13 июля), которая вызвала шумную реакцию в буржуазной прессе, цеплявшейся за любой повод, чтобы извратить отношения французского художника-гуманиста с Советским Союзом.

Заступничество Роллана за Федина привело только к обратному результату. Швейцарские «нейтралы» теперь все больше демонстрировали мнимую «непричастность» к политике.

Лечился Федин в альпийских отрогах Северной Италии, побывав попутно в Милане, Флоренции, Риме и других городах. 19 февраля 1934 года он вернулся домой…

Весна и лето 1934 года — страдная пора общественных дел. Федин — член Оргкомитета во главе с А.М. Горьким по подготовке I съезда советских писателей. Значение темы современности для многонациональной советской литературы и необходимость повышения требований к художественному уровню произведений — заглавные мысли, которые Федин разовьет затем в своей речи на съезде, он тщательно детализирует и облекает в конкретные предложения на различных совещаниях при подготовке всесоюзного форума.

Другие дела пестры, многолики. Но по замыслу дающего им энергичное водительство и размах Горького, которому, употребляя собственное выражение в одном из тогдашних писем Федину, — "работать хочется — как младенцу материнского молока", отмечены той же направленностью — сплотить литературные силы, повысить все виды писательского воздействия на жизнь, найти новые формы связей с массовым читателем. Федин пропагандирует и организует в Ленинграде подготовку и издание коллективной очерково-публицистической серии книг "История фабрик и заводов". Берется за редактирование сборника воспоминаний участников Октябрьского вооруженного восстания в Питере, подготовляемого в научно-популярной серии "История гражданской войны".

8 августа 1934 года на городской писательской конференции в Ленинграде Федин сделал доклад "О прозе ленинградских писателей". Текст его он в тот же день отослал Горькому с краткой сопроводительной запиской: может, кое-что оттуда "пригодится как «сырье», сослужит подспорьем для общего доклада о советской литературе на I съезде, над которым в те дни работал Горький.

…17 августа, еще задолго до открытия съезда, улицы, прилегающие к светло-зеленому зданию московского Дома союзов, заполнили толпы народа. Ощущение историчности момента охватывало участников съезда, когда они по узкому длинному коридору, сохранявшемуся в толпе, проходили к массивным дубовым дверям Дома союзов. (Кстати сказать, наплыв читателей у стен здания не иссякал все шестнадцать дней работы съезда.)

Приподнятая атмосфера царила внутри Колонного зала. На

съезд прибыло 376 делегатов с решающим и 215 с совещательным голосом, представляющих около двух с половиной тысяч членов и кандидатов Союза писателей СССР. Даже внешняя символика в убранстве помещения выражала единение разноязычных художественных культур Советской страны. В огнях огромных хрустальных кружевных люстр со стен Колонного зала смотрели портреты Пушкина и Шевченко, Льва Толстого и Гоголя, Некрасова и Щедрина, Руставели и Низами…

Съезд открылся в 18 часов 45 минут. За многолюдным столом президиума литературный Ленинград представляли А. Толстой, Н. Тихонов и К. Федин. Чувашский поэт Педер Хузангай оставил запись о первых минутах съезда. "Стол президиума был длинный… — рассказывает он. — Не все и не сразу разглядели Горького… Вот он встал. На нем был серый костюм, голубоватая трикотажная сорочка "в чешуйку" с таким же галстуком. «Юпитеры» со всех сторон направили свой беспощадный свет на председателя. Алексей Максимович смутился, покашлял, надел очки и сказал глуховатым баском:

— Уберите, пожалуйста, эту свечку.

Это были его первые слова. По залу прошел легкий смех. И сразу установилась атмосфера непринужденности…"

Уже во вступительной речи Горький выразил смысл и значение первого такого форума писателей. "Значение это — в том, — подчеркнул он, — что разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира… Наша цель — организовать литературу как единую культурно-революционную силу".

Центральным событием съезда стал доклад Горького "Советская литература", сделанный в тот же день. Докладчик очертил философско-эстетические принципы, определяющие идейное единство советских писателей. Социалистический реализм, признанный затем согласно уставу Союза писателей СССР основным методом советской литературы, получил теоретическое обоснование в докладе Горького.

"Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, — говорил докладчик, — как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту своих потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище человечества,

объединенного в одну семью".

Горький был душой съезда. Отзываясь на ход дискуссий последующих дней, он выступил с речью и заключительным словом.

Горький горячо поддержал Леонида Соболева, заявившего на съезде: "Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно — право писать плохо". Он много говорил о теме современности, о том, что "основным героем наших книг мы должны избрать труд, то есть человека, организуемого процессами труда", о первостепенных требованиях к художественному уровню произведений, о развитии художественных культур братских национальностей, которые представляли на съезде более пятидесяти разноязычных, по большей части младописьменных литератур.

Близкие идеи были развиты и проанализированы в выступлении Федина. При таком многолюдье в зале, стечении разнохарактерных интересов слушателей и в напряженном перекрестье взглядов, сошедшихся на ораторе, перед взором страны писатель говорил впервые.

"Я обращу внимание лишь на одну черту съезда, — отметил Федин, — он является не только съездом советских писателей — он является *съездом советских народностей…"* Это была дорогая для художника мысль о связи с народом, с читающей массой, об их решающем духовном обновлении после Великого Октября. Возможно, произнося эти слова, Федин как бы видел людские скопления, выжидающе толпившиеся у стен московского Дома союзов,

"Время никогда не даст загаснуть дням нашего Первого съезда, — вспоминал позже Федин. — Как бы заглавной его картиной память открывает эти дни притоками людских толп к дверям Дома союзов.

Здесь, среди сменяющихся тысяч и тысяч взоров, улица не уставала спрашивать: "А это кто? Поэт? Детский писатель? А на каком языке пишет? Гляди, гляди — это который…" Никогда до той поры не раскрывались читательские круги во всех советских республиках столь широко, столь многовидно. Съезд захватывал интересы не только литературы, не одних искусств даже — его слушал, о нем говорил *читатель…"*

"…Мы должны охватить весь объем значения этого факта, — развивал свою мысль Федин в речи на съезде, — потому что мы присутствуем… перед демонстрацией идейного единства национальностей, которые еще недавно не могли бы находиться под одной кровлей — разобщенные, расколотые, разорванные на куски, натравленные друг на друга смердящей политикой белого

царя. И вот на этой трибуне сменялись Армения, Азербайджан и Грузия, сменялись представители народов Средней Азии — недавних царских колоний, а теперь — советских социалистических республик.

В нашем лице, в лице интеллектуальных работников социалистической культуры, в лице своих писателей, народности советских республик еще раз страстно свидетельствуют о совершившемся освобождении от вековой тирании. Об этом нельзя говорить без волнения и без восторга. И мы хотим, чтобы это волнение и этот восторг были поняты и разделены нашими иностранными гостями, отлично знающими, что такое тирания".

Благодаря достижению идейно-политического единства советской литературы стало возможным создание новой творческой организации — Союза писателей СССР. На этом факте крупнейшего общественного значения, на теме современности и требованиях к повышению качества словесного искусства, обеспечивающих укрепление связей литературы с массовым читателем, сосредоточил дальнейшее выступление писатель.

"Писатели Советского Союза, — говорил Федин, — заявили с этой трибуны о своем единстве. Это единство в области литературы выразилось в идейной общности содержания искусства. Найдена широкая тема, общая для всех социалистических литератур: тема современности, тема нашей действительности.

Но, товарищи, когда… мы приступим к работе, перед каждым из нас встанет неизбежный вопрос: *как, какими средствами,* я, художник, должен поставить найденную тему и создать образ современности?.. Мы должны прочно усвоить одно положение: посредственный роман литературе нужен гораздо меньше хорошего рассказа, плохой же роман не нужен совсем… Мы слишком хороню знаем такие эпопеи, смысл которых короче воробьиного носа… Мы обязаны быть писателями. Это значит, что мы должны уметь писать… Это — вопрос не только технологии, как принято думать. Нет, товарищи, это вопрос связи с читателями…

Мы должны учиться писать, товарищи писатели. Потому что наши декларации слышала вся страна, весь мир. И вся страна, весь мир требуют теперь от нас дела".

При всей обобщенной форме и широте «адреса» речь Федина была глубоко личной. Писатель как бы подводил в ней итог и собственного идейного развития за годы после Великого Октября. Очерчивал перспективу и намечал программу общественно-литературной деятельности, которой собирался следовать. Основные идеи, выраженные в этом выступлении, Федин

воплощал в жизнь на протяжении всего своего дальнейшего общественно-творческого пути.

Первый Всесоюзный съезд писателей на десятилетия определил судьбы советской литературы, а через, нее и многих других видов искусства. Он стал поворотной вехой в истории советской художественной культуры.

С осени 1934 года Федин погрузился в работу над второй книгой романа "Похищение Европы". От картин буржуазного образа жизни и изображения кризисных явлений в экономике Запада романист переходит к обрисовке прямого состязания и непримиримого спора с нею молодой экономической системы страны социализма.

Действие развертывается теперь на территории Советского Севера, где располагается голландская торговая концессия. Буржуазному коммерсанту Филиппу ван Россуму противостоят директор завода коммунист Сергеев и возглавляемый им коллектив.

Основной конфликт, который отображен во второй книге романа, Федин определял так: "Это был интересный момент своеобразного политико-экономического соревнования Запада с революционной страной: советская независимая монопольная внешняя торговля лесом становилась на ноги, опираясь на улучшенную технику лесоразработки и лесозаводов… Советы уверенно и гибко вели хозяйственное соревнование: экспорт готового товара, производимого на наших лесозаводах, в конце концов подавил те выгоды, которые некогда иностранцы извлекали из вывоза лесного сырья, и они со своими конторами и агентами отбыли восвояси навсегда".

Тогдашний этап состязания с Западом за независимое от капиталистической экономики развитие советского народного хозяйства по планам первых пятилеток был выигран благодаря революционному энтузиазму, профессиональной деловитости и житейскому опыту таких руководителей и вожаков масс, как директор заводов Северного Поморья Сергеев ("Сергеич" — запросто зовут его в округе), и тем людям, которые трудились с ним вместе. Читатель выделит среди них рабочего-навальщика Сешо Ершова, ударников Ермолая, Володю Глушкова, женственную Шуру…

С тонким знанием особенностей производства на лесоразработках художник передает дух трудового подъема и вдохновенной одержимости, с которым каждый из героев исполняет повседневные обязанности, сознавая, что это лишь малая часть великого дела, каким живет страна. Энтузиазмом общенародного подъема эпохи первой пятилетки веет с этих

страниц произведения. Особенно удались художнику массовые сцены, в которых передана атмосфера коллективизма, взаимовыручки и соревнования в труде. Филиппу ван Россуму, наблюдающему, как трудятся лесозаготовители, остается искренне недоумевать: "Ради чего лезут эти ребята из кожи вон?"

Интересно намечено в характере Сергеича сочетание лучших качеств советского руководителя крупного масштаба — политического размаха и хозяйственной деловитости… Однако, если иметь в виду обе книги "Похищения Европы", среда буржуазного предпринимательства написана в романе художественно полнокровней, нежели положительные персонажи. По силе психологического анализа и глубине раскрытия внутреннего мира из положительных героев едва ли кого можно поставить, например, рядом с Филиппом ван Россумом.

Массовые сцены труда на Советском Севере, яркие сами по себе, слабо связаны с основным сюжетным действием. Образ Сергеича схематичен, его качества руководителя больше раскрываются не в поступках, а в речах, в спорах и разговорах, которые он ведет. Психологические характеристики людей труда на лесоразработке тонут нередко в живописаниях производственных процессов. Лепка характеров подменяется публицистическими отступлениями…

Слабости романа отображали творческие искания писателя, сложности обретения крупного положительного героя.

Серьезные недостатки произведения уже через год после опубликования второй книги романа "Похищение Европы" признавал и сам автор. "Я надеялся, что тысячи обстоятельств, работающих в нашем государстве против Филиппа, вполне заменят героя, — писал Федин. — Теперь я вижу, что это — конструктивная ошибка… Но я говорю откровенно: конкретно для моего романа я и сейчас еще не отыскал «противовеса» Филиппу, хотя признаю, что создание советского героя, так сказать, «единолично» выносящего напор, давление западноевропейского своего антипода, является задачей нашей литературы".

Декабрьским номером за 1935 год журнал «Звезда» завершил публикацию второй книги романа "Похищение Европы". В первые же дни нового года автор послал только что вышедшую книгу Горькому. Этой книге суждено было стать последним произведением Федина, которое видел Горький…

Короткое время спустя Федину снова довелось произнести речь в Колонном зале Дома союзов, казалось, еще хранившем отсветы праздничного волнения участников недавнего I съезда писателей, но уже совсем при других обстоятельствах…

"Восемнадцатого июня, — вспоминает Федин, — я ждал

условленного телефонного звонка от своего друга-писателя, тоже оказавшегося в столице, Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Он медлил, и я уже перебрал в уме все подходящие случаю сентенции, чтобы почувствительнее приветить его, когда услышал звонок.

— Ты уже знаешь? — спросил он, не дав мне сказать ни слова.

Все было непохоже на него — голос, тон, больше всегдашнего замедленный слог. Я не успел спросить — о чем он. Еще медленней раздалось:

— Час назад умер Горький.

…Это был душный день. Не помню другого такого душного июньского дня.

Шел первый час. Окно стояло настежь. Иван Сергеевич покуривал. Он приехал сразу после телефонного разговора. Я кружил по комнате и нет-нет останавливался перед ним, чтобы сосредоточиться еще на одной фразе, вдруг приходившей ему на ум. Он что-то вспоминал из своих встреч с Горьким в Германии. Вероятно, я отзывался невпопад…

Мы позвонили в Союз писателей. Нам сказали, чтобы мы приезжали сейчас же. Событие уже стало известно всей Москве.

Эта первая встреча наша — писательская встреча в первые часы после того, как Москву облетело слово "умер", — произошла в старом доме Союза писателей — Воровского, 52, вдруг возросшем по своему значению и натуго всех нас соединившем… Было решено, что каждый что-нибудь напишет в эти первые минуты. Собрать в такой миг внимание почти невозможно. Это все равно, что бросать в землю зерно во время бури… Я писал, и самым трудным для меня было заставлять руку делать такое знакомое дело — писать. Вот что сохранилось у меня с той минуты на четырех листочках:

"Есть люди, со смертью которых говорят, что с ними ушла эпоха. Со смертью Максима Горького ушло много эпох. Он был сверстником величайших революций в нашей стране. Головою выше сотен своих современников, он подымался вровень с редчайшими из них.

Когда умер Ленин, Горький прислал на его гроб венок с надписью: "Прощай, друг". Немногие имели право сказать так великому гению человечества. На самых высотах истории, где рождаются молнии революций и ходят громы эпох, Горький жил, как в своей стихии…

Лично я переживаю эту смерть с потрясением глубоким и подавляющим. Горький был для меня другом, товарищем, самым большим из всех, которые умерли и которые остались жить. Меня

связывает с ним шестнадцатилетнее общение, в течение которого Горький много раз подавал мне руку участия, симпатии, помощи и дважды спасал мне жизнь. Уверен, что многие советские писатели обязаны Горькому, может быть, не меньше меня. Вся наша литература знала его взгляд, его голос, его руку. И мучительно страшно, что все это исчезло для меня, для других, для всей нашей страны…"

Остроту этой боли как будто еще усилили два следующих дня, почти целиком проведенных в Колонном зале. Чуждо было, что посреди дневного огня этих люстр, где меньше двух лет назад, на Всесоюзном писательском съезде, десятки национальных советских и зарубежных литератур внимали исполненному жизни, счастливому Горькому, — он сейчас лежал, безучастный к свету и тьме, красивый красотою прошлого.

В этом траурном Колонном зале мне привелось прочитать свои прощальные четыре листочка перед микрофоном в те минуты, когда правительство стояло у гроба Горького в почетном карауле…"

Уже в первом отклике на смерть учителя у Федина вырвались слова: "О нашем писательском долге перед величайшей памятью Алексея Максимовича будет уместно сказать в другой раз. Сейчас же я слышу только нещадную боль утраты…" Годами позже он писал: "Боль этих траурных дней исчезала медленно, но все разветвленнее, стройнее вырастала на ее месте благодарная признательность Горькому за все, чем он обогатил действительность и украсил твою личную судьбу".

Между двумя этими ощущениями и различиями строя чувств пролегли изменения в характере замысла книги, которая относится к числу лучших и итоговых в творчестве Федина.

"Горький в моей жизни" — таким (судя по заметке в заводской многотиражке «Кировец» за 1934 год) представлял себе Федин замысел книги, просившейся на бумагу. Это мог быть очерк современника о современнике, утверждавший на примерах из собственного опыта роль Горького в развитии литературы.

"Горький среди нас. Картины литературной жизни" — так назвал Федин свое художественно-мемуарное полотно, изображающее, как было задумано, более пятнадцати лет из жизни широкого круга людей советской культуры, литературы, искусства, в центре которого находился Горький. Такая работа не могла быть скорой. Первая часть книги "Горький среди нас" увидела свет в журнальной публикации лишь в канун войны ("Новый мир", 1941, № 6).

Завещательным наказом звучали строки в последнем письме А.М. Горького от 23 февраля 1936 года, которое получил

Федин, — "…только скорее уезжайте из Ленинграда!" В Москве ждала и новая большая работа — обязанности председателя Литфонда СССР.

Летом того же года, вскоре после траурных дней, Федин наконец переехал в Подмосковье, на дачу в поселке Переделкино, который, если не считать вынужденных разлук и перерывов, навсегда стал для него вторым домом. В 1937 году Федин и его семья получили также московскую квартиру в доме в Лаврушинском переулке, неподалеку от Третьяковской галереи.

Учреждения Литфонда — это чуть ли не вся материальная база недавно созданного Союза писателей СССР. Обширное хозяйство на территории страны, призванное организовывать труд и отдых литераторов, помогать в их творческой работе. Возглавлять такое хлопотное дело, но мысли Горького, должен человек чуткий, отзывчивый, авторитетный в широкой писательской среде. Переписка, сохранившаяся за годы (1937–1939), когда Федин руководил Литфондом СССР, показывает, сколько сил, энергии, душевного такта, умения понимать других людей отдал Федин интересам литературного товарищества, во блага советской литературы.

Новые рубежи, расставания, итоги… Прощание с Ленинградом было как вылет из родного гнезда. Литературная молодость, достижение творческой зрелости, почти два десятилетия жизни у Федина связаны с ним.

Нежное чувство к северному красавцу, городу призрачных белых ночей и четких архитектурных линий, вольной вездесущей Невы, островов и всегда противоположных берегов, на которые можно бесконечно смотреть с середины моста, любовь к его людям были в душе. Писатель прожил здесь целую жизнь. Расставаться было трудно.

Сентиментальное чувство… Но шли годы, десятилетия, а оно не остывало. И надо было видеть лицо Федина, когда на празднике его 70-летнего юбилея ленинградские друзья преподнесли дар со значением: старую книгу, изданную в 1794 году, — описание столичного города Санкт-Петербурга. Сдержанный Константин Александрович прослезился. Город на Неве он и в старости считал для себя таким же отчим домом, как и Саратов, где родился и вырос.

* * *

Превращение СССР в могущественную индустриально-колхозную державу и социально-политическое и идейное

единство советского народа, сложившееся в стране кс второй половине 30-х годов, открыло литературе новые горизонты, вызывало потребность в широких образных обобщениях. Требовалось художественно осмыслить тот огромный исторический опыт, который увенчался построением социализма в нашей стране.

В советской литературе второй половины 30-х годов получают развитие большие эпические формы, в которых индивидуальные судьбы действующих лиц ставятся в прямую связь с "биографией народа" на протяжении нескольких десятилетий. Исследуя характеры героев в различных обстоятельствах эпохи и на разных этапах жизни страны, иногда от конца XIX века, художники показывают закономерности торжества идей социализма и неизбежность победы пролетарской революции.

Яркими образцами романа-эпопеи в литературе 30-х годов стали "Жизнь Клима Самгина" Горького, "Тихий Дон" Шолохова, "Хождение по мукам" Толстого, "Последний из Удэге" Фадеева… Над очередными книгами большинства из них в эту пору продолжают работать авторы…

Среди передовых деятелей эпохи, сознательных выразителей интересов масс, особое читательское внимание привлекают герои-коммунисты. Полнокровно и широко представлены они в произведениях Горького, Фадеева. Шолохова, в пьесах "Человек с ружьем" и "Кремлевские куранты" Н. Погодина… Неразрывным единством судеб передового героя и возглавляемого им коллектива отмечены "Педагогическая поэма" А. Макаренко и повесть "Танкер «Дербент» Ю. Крымова. Образ молодого коммуниста Павла Корчагина, созданный Н. Островским в романе "Как закалялась сталь", своим нравственным примером оказал сильнейшее воздействие на жизнь.

Два взаимообусловленных творческих устремления — тяготение к изображению людских судеб в связи с "биографией народа" и поиски крупного положительного героя, в облике которого психологически наиболее полно воплощены лучшие душевные качества и черты социальной активности народной массы, — такие устремления отличают и Федина-художника второй половины 30-х годов.

Творческие искания привели писателя сравнительно скоро к рождению замысла, из которого со временем выросла его известная трилогия. А попытки запечатлеть образ положительного героя во второй половине 30-х годов, представляя нередко как бы «этюды» к фигурам будущих героев-коммунистов трилогии, принесли читателю ряд новых

интересных произведений.

Под воздействием победы социализма в СССР и возрастания классовой однородности советского общества укрепились дружба и сотрудничество между нациями и народностями страны. Важнейшей приметой 30-х годов является интенсивное формирование единой многонациональной советской социалистической культуры.

Все больше расширяются и углубляются взаимосвязи братских советских литератур. Особенно ощутимо становится это после создания единого Союза писателей СССР.

В Москве начинает выходить литературно-художественный альманах "Дружба народов". Регулярно проводятся в столице декады литературы и искусства союзных и автономных республик. Заведенным порядком становится отмечать крупные историко-культурные даты, связанные с жизнью и деятельностью корифеев братских литератур, как события всей многонациональной культуры страны. Делается и многое другое, все, что может способствовать освоению накопленного художественного опыта друг друга, радости взаимного узнавания, "чувству семьи единой".

Во всей этой работе самое активное участие принимает Федин. Он много ездит по стране, участвует в литературных форумах, творческих обсуждениях, выступает с докладами, речами, часто печатается в периодике.

О своей поездке в Киев весной 1939 года на юбилей Т.Г. Шевченко Федин позже вспоминал: "Когда исполнилось столетие со дня рождения Тараса Шевченко, царское правительство запретило чествование великого украинского певца… Стодвадцатипятилетие со дня рождения Шевченко праздновала вся страна, и мы, ее писатели, собрались в Киеве и были счастливы, вместе с народом участвуя в торжествах Украины, посвященных свободному Шевченко".

Волнующие слова находит Федин в газетных статьях и для оценки культурного значения 750-летия поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", которое он отмечает в Тбилиси в декабре 1937 года, и декады армянского искусства и литературы в Москве в октябре 1939 года… К таким публицистическим выступлениям принадлежит и очерк "Молодость мира" ("Правда", 1936, 29 апреля). Он посвящен выпускникам студии народа коми в столичном театральном училище, которые поставили пьесу "Коварство и любовь". "Фридрих Шиллер по пути в Сыктывкар, — писал Федин, — когда-то никому не нужный, заброшенный Усть-Сысольск — это бытовое явление нашего непрестанного, сделавшегося будничным роста, но именно в этом обычном факте

— его смысл и символическое содержание".

Большие поездки по стране конца 30-х годов не только обогащали Федина знанием культуры братских советских народов. Они дарили новые жизненные впечатления, отвечая тогдашней умонастроенности художника, его стремлению пристальней вглядеться в действительность, поискам положительного героя. Много ездит писатель и по России, выполняя регулярные поручения редакции "Правды"…

Особенно привлекают его при этом героические факты и события окружающей действительности. Таковы трудовые биографии студентов в газетном очерке "Наша молодежь", опубликованном к открытию X съезда комсомола в апреле 1936 года. Когда умер Николай Островский, Федин нашел яркие и точные слова. "Жизнь Островского, — писал он, — была и остается школой мужества и героизма".

…Разные маршруты, республики и города, с частью из которых писатель знакомится впервые. Вот только выборочный «календарь» общественно-литературной деятельности Федина той поры.

Конец февраля 1936 года — Минск, речь на выездном пленуме Союза писателей СССР… 10 февраля 1937 года (100-летие со дня смерти А.С. Пушкина) — Ленинград, речь от имени Пушкинского общества в музее — последней квартире поэта на Мойке, — открытом после реставрации. Август — сентябрь 1937 года — плавание на теплоходе в район Верхнего Поволжья (Калинин, Горький, Васильсурск) с командировкой от «Правды» — путевые очерки и корреспонденции "На теплоходе в Калинин", "Город Горький", "Заброшенный сад"… Декабрь 1937 года — Тбилиси, выступление в связи с 750-летием поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре"… Осень 1938 года — Карелия и Кольский полуостров, журналистская командировка (очерки "Поездка на Север, к Белому морю" и "Поездка на Север, к морю Баренца" для газеты "Правда")… Март 1939 года — выступление на "шевченковских днях" в Киеве…

В феврале 1939 года за заслуги в развитии советской литературы писатель был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Крупный отзвук в жизни и творческой биографии Федина суждено было получить поездке в Минск.

С 10 по 16 февраля 1936 года здесь, в Доме правительства, проходит III пленум правления Союза писателей СССР. Минск тогда находился меньше чем в четырех десятках километров от государственной границы с панской Польшей. Пленум был

посвящен вопросам поэзии, но вылился в событие большого общественно-политического значения.

Этому в немалой мере способствовал выбор Минска местом проведения писательского форума, самый широкий состав его участников, представлявших, по существу, все национальные отряды советской литературы, от Закавказья и Средней Азии до Бурят-Монголии, а также доклады, вынесенные на обсуждение (о белорусской и башкирской литературах, о поэзии Украины и т. д.). Недаром эта встреча получила обозначение — "пленум дружбы".

В этот приезд Федин ближе познакомился со многими писателями братских народов, и прежде всего, конечно, с гостеприимными белорусскими хозяевами — Я. Коласом, Я. Купалой, П. Бровкой, К. Чорным и другими. С интересом следил Федин за творческой дискуссией на пленуме.

Сильное впечатление на присутствующих произвела речь украинского поэта Миколы Бажана, который говорил о "радости познания" культурных богатств, накопленных народами Советского Союза. Незаменимо тут посредничество переводчиков, без таланта и труда которых такое взаимное познание стало бы невозможным. Важнейшее значение имеет перевод на русский язык — язык межнационального общения советских народов. Перечислив имена крупнейших русских, грузинских и армянских поэтов, которые донесли искусство Шевченко, других классиков и мастеров украинской поэзии до новых миллионов читателей, М. Бажан назвал их "не переводчиками (это нехорошее слово), а носителями духа и слова нашей прекрасной Украины". В следующем году предстоят две великие поэтические даты — столетие со дня смерти Пушкина и 750-летие творения Руставели. Он, Бажан, взял на себя необычайно трудную и ответственную задачу — перевод поэмы "Носящий тигровую шкуру", как ее название звучит в оригинале, на украинский язык. "Имя Руставели, — заявил оратор, — должно быть так же знакомо каждому советскому человеку, как имена Эсхила и Пушкина, Гёте и Шевченко…"

Федин уже начал обдумывать свой доклад на заседании Пушкинского общества в последней квартире поэта. В перерыв он подошел к Миколе Платоновичу, крепко пожал ему руку. Писатели разговорились. С этой встречи завязались долголетние дружеские отношения Федина и Бажана.

Во время пребывания в Минске Федин с интересом осматривал город. Здесь у него и возник замысел будущей трилогии… "Зимой 1936 года, — вспоминал писатель, — я приехал в Минск, совершенно незнакомый мне город… В

морозные, необычайно солнечные дни я увидел оживленные площади, белоснежные скверы с расчищенными дорожками и как бы два города в одном: кварталы новых громадных зданий перемежались с деревянными домиками старинных улиц. Контраст был удивительный, но свет, чистота воздуха, блеск снега объединяли противоречия… Тогда на этих улицах я очень сильно ощутил, как наша новая действительность проникает в старую ткань прошлого. Проникновение совершается бурно, но не стихийно. Ткань разрывается там, где должна быть разорвана и заменена живыми клетками. В организованной этой смене отживающих частей новыми заложена и мысль строителя и чувство художника… Я сделал тогда первые записки к будущему большому роману, который представлялся мне романом об искусстве, скорее всего — о театральном искусстве, вероятно, о женщине-актрисе, о ее развитии с детских лет до славы и признания…

Впоследствии я не переставал возвращаться к этому замыслу. Героиня то уступала место новым предполагаемым героям, то двигалась вперед, сотни обстоятельств ее жизни уводили меня в разные стороны, записки мои умножались, папка, в которой они хранились, была названа мною "Шествием актеров".

Так сам автор рассказывает о возникновении художественного замысла, работа над которым займет более сорока лет и оборвется только смертью писателя… Всмотримся поэтому пристальней в первые роднички, которые пробиваются на поверхность.

Одна из тайн искусства и загадок художественного мышления — творческие импульсы. По словам Федина, импульсом к работе для него чаще всего"…служат зрительные восприятия, так же как в большинстве случаев на впечатлениях видимого строится образ".

Зримое представление того, как "новая действительность проникает в старую ткань прошлого", образ "как бы двух городов в одном", долго не покидало Федина. Он даже и повторно пережил это чувство при посещении Саратова.

В родной волжский город Федин приехал в октябре 1939 года на юбилейную годовщину Н.Г. Чернышевского.

…Вот когда состоялась новая большая встреча с Чернышевским среди словно бы вынутых из полета времени и печально застывших пейзажей старого Воскресенского кладбища, на том самом месте, где некогда, слушая рассказы отца Александра Ерофеевича, мальчишкой вглядывался сквозь разноцветные стекла надгробной часовенки вовнутрь ее, стараясь из букв и слогов составить надписи на венках, положенных на

могилу загадочного народолюбца его немногими почитателями. Теперь со дня смерти Н.Г. Чернышевского прошло пятьдесят лет.

Был сооружен новый памятник на могиле. И именно Федину предоставлена возможность произнести подходящие к случаю слова.

Федин волновался.

"…Если бы меня попросили назвать русских людей XIX столетия, которые могли бы служить для человека образцом прозрачно чистой и героической нравственности, — говорил он, — я первым назвал бы имя Чернышевского. Это был человек-кристалл. Страстный революционер по темпераменту, по духу, по складу характера…"

В этот приезд в Саратов Федин впервые повстречался с Ниной Михайловной Чернышевской, внучкой мыслителя, хранителем Дома-музея Н.Г. Чернышевского (переписка между ними велась еще со второй половины 20-х годов). Эта маленькая женщина, на смуглом лице которой светились черные живые глаза, была энергична, любознательна. Встречи и обмен письмами с нею продолжались затем с перерывами более тридцати лет.

Нина Михайловна была не только достойным хранителем "гнезда Орла", как назвал однажды Федин Дом-музей Н.Г. Чернышевского, но и целеустремленным и сведущим исследователем литературы. Работы и воспоминания Н. Чернышевской интересны тем, что в них тонко и аналитично прослежено воздействие идей и литературных мотивов Чернышевского на творчество Федина (образы коммунистов Извекова и Рагозина, повесть «Старик» и др.).

В тот приезд, в октябре, Федин долго и бесцельно бродил по знакомым саратовским улицам, вглядываясь в подвижный их облик, стараясь угадать и рассудить, по каким законам волны времени точат и смывают, казалось бы, еще вчера столь независимо и гордо шумевшую здесь жизнь, мир страстей, картин и видений его детства. И какие новые побеги и ростки выбрасывает на место исчезнувших и отмирающих все та же неистребимая и вечно обновляющаяся жизнь.

Такой была и встреча с бывшим Сретенским начальным училищем, школой, где за партами сидели теперь совсем уже другие мальчики…

Вернувшись в Москву, Федин написал рассказ "Встреча с прошлым". Автором владеет строй чувств, близко перекликающийся с тем, что определил замысел трилогии.

"Встреча с прошлым" — лирический рассказ, в котором при изображении отрадных перемен в судьбах людей и облике провинциального города за несколько десятилетий звучит еще и

естественная человеческая грусть, связанная с мыслью о смене и уходе поколений. Видоизмененным используется тут, в соответствии с особенностями повествования, уже знакомый образно-смысловой мотив. "Много лет я не ездил в родной город, в котором прошло мое детство. Недавно я там побывал… Два города стоят на том месте, где был один…" — так начинается "Встреча с прошлым". Федину, по собственным словам, хотелось передать в этом рассказе "резкое противопоставление двух миров — ушедшего вдаль прошлого и молодой жизни, явившейся в Октябре".

С самого начала, еще за два-три года до осеннего приезда 1939 года, писатель связывал место действия по крайней мере "двух частей" задуманной книги "Шествие актеров" с родным волжским городом. Естественно, что его занимал театральный облик старого Саратова.

Федин стремится оживить в памяти собственные впечатления молодых лет и восполнить недостающие сведения. Его интересует как серьезная театральная сцена, так и легкие развлекательные заведения вплоть до садовых варьете с открытой площадкой типа "театра Очкина" (что позже будет описан на страницах романа "Первые радости"). Верные писательские помощники — саратовские старожилы. В их числе, конечно, милейший и добрейший человек, муж покойной сестры Николай Петрович Солонин. Ему-то и адресовано письмо Федина от 8 декабря 1937 года — одно из первых сохранившихся свидетельств о сборе материалов для будущей трилогии. Оно содержит расспросы о прошлом театрального Саратова вплоть до 1919 года.

К весне 1938 года художественный замысел определился уже настолько, что писатель считает возможным оповестить о нем широко. 6 мая 1938 года в газете "Красная Карелия" наряду с заметками Вс. Иванова и А. Макаренко под общей шапкой "Над чем работают советские писатели" было опубликовано выступление К. Федииа, озаглавленное "Роман нравов".

"Главная моя работа в этом году, — писал Федин, — новый роман, замысел которого возник сравнительно давно… Книга будет состоять из трех частей. Действие первой относится к 1910 году, второй — к 1919. События, изображаемые в этих частях, протекают в богатом провинциальном городе. Я даю большое число действующих лиц, разнообразные круги общества — начинающего подпольную жизнь юношу-революционера, рабочего депо, грузчиков, торговца, актеров «губернского» театра. Театр вообще должен занимать в романе существенно важное место потому, что коллизия "искусство и жизнь" является основой замысла.

В 1910 году протекает ранняя юность героя романа — революционера и детство героини — будущей актрисы… Героический 1919 год будет дан в романе как картины гражданской войны… Наконец, третья часть романа. Ее действие относится к 1934 году, и в ней я хочу дать синтез больших человеческих судеб нашего времени… Путь замечательной актрисы по-новому пересекается с жизнью выдающегося большевика, со старым актером и былым провинциальным драматургом…"

Рождение замысла крупного литературного полотна нередко предваряется или сопровождается разработкой сходного материала, близких сюжетов, родственных тем. Исподволь готовясь воссоздать широкие картины эпохи, воображение и ищущая мысль художника как бы заблаговременно стремятся зорче вглядеться, глубже постичь области сопредельные. Очередность работ при этом вызывается моментом и чувством; их внутренние сцепления и взаимосвязи самому писателю открываются лишь позднее. Но именно так возникают произведения, которые при всей их оригинальности и независимой значимости в широкой перспективе творческой биографии автора можно рассматривать вместе с тем и как необходимые «этюды» к большому художественному полотну.

И если давний интерес Федина к дореволюционному быту Саратова, на фоне которого развернутся события романа "Шествие актеров", рождает произведения вроде рассказа "Встреча с прошлым", то, конечно, не без воздействия внутренних связей с крупным замыслом, обращенным к миру людей театра, параллельно возникает автобиографическая повесть "Я был актером" (1937).

Среди персонажей нового романа важную роль должны играть передовые деятели эпохи — коммунисты, "инженеры будущего", как их назовет впоследствии Федин. Интересно приглядеться поэтому к жизненному образцу героя-большевика, который утверждает в ту пору художник.

21 января 1939 года Федин опубликовал в «Правде» очерк под названием "Живой Ленин". По фактической основе очерк во многом перекликается с ранней газетной зарисовкой 1920 года — "Крупицы солнца". Но с какой скульптурной выразительностью вылеплен теперь образ Ильича, как реалистически точно переданы черты его характера! Это народный трибун, созидатель и творец нового, замечательно воплощающий в собственном облике высокое совершенство мысли, слов и поступков. Вождь партии нового типа — это и лучший в когорте людей, выкованных революцией. Это прообраз и нравственный образец нового

человека — такую мысль утверждает писатель.

В очерке Федин упоминает подробность, относящуюся к моменту выступления Ленина на II конгрессе Коминтерна. "Со мною рядом, в ложе для журналистов, — рассказывает он, — сидел художник. Ощупывая цепкими глазами фигуру Ленина, он силился перенести ее жизнь на бумагу. Но жест, но движения Ленина оставались непойманными. Художник пересел на другое место. Потом я его видел на третьем, на четвертом. Объективы фотокамер и кино вместе с художником ловили неуловимого живого Ленина".

Неуловимы богатство и совершенство проявлений духовной жизни в духовно богатом человеке, таком, как Ленин… Трудно запечатлеть средствами искусства реально создаваемый действительностью идеал нового человека… Пройдет немного времени, и это наблюдение, как будто вскользь занесенное в очерк, подскажет Федину тему рассказа — "Рисунок с Ленина" ("Звезда", 1939, № 10–11).

Писатель стремится представить характер Ленина полнее, чем это позволяли строгие рамки фактографического жанра. "Образ Ленина, насколько его можно было дать в двух небольших столбцах газетного набора, — писал позже Федин, — получился довольно наглядным, но в композиции недоставало воздуха, пространства. Спустя несколько месяцев я обратил внимание на одну фразу очерка, где говорилось, как художник пересаживается с места на место, стараясь зарисовать Ленина. Это послужило толчком к замыслу рассказа".

В сюжете рассказа "Рисунок с Ленина" оживает фигура художника, случайного соседа по корреспондентской ложе, которого бегло наблюдал Федин. Получив задание редакции сделать для газеты зарисовки с участников конгресса, молодой график Сергей Шумилин весь захвачен тем, чтобы передать на бумаге образ Ленина. Разгадать в телодвижениях, мимике, жестах, в характере этого человека секрет зарождения и покоряющей силы ленинских идей. Горячие стремления сердца и таланта Шумилина оказываются малорезультативными. Он вскоре сам убеждается в этом, когда ему представилась возможность показать готовый рисунок Ильичу. На листы альбома легла лишь бледная тень оригинала. Рисунок с Ленина не получился. "Но я даю слово, даю вам честное слово, — заверяет Сергей своего учителя по живописи, — у меня непременно получится!.." Так кончается рассказ.

Еще осенью 1938 года в качестве корреспондента «Правды» Федин совершил большую поездку на Север. Он заново навестил Карелию и те места побережья Белого моря, где восемь лет назад,

в начале первой пятилетки, наблюдал лесоразработки и лесосплав, собирая материал для романа "Похищение Европы". Некогда буйная и дикая река Выг стала теперь лишь одной из «ступеней» судоходного каскада — не столь давно сооруженного Беломорско-Балтийского канала. "Растянутая подкова Петрозаводска встречает нас огнями большого города, белое его зарево теряется высоко в небе. Столица Карелии — таким ли светом горела она в бытность свою губернским городом Олонецкой губернии?.. — записывает Федин. — Повсеместный припев, который слышен на пароходе и пристанях с утра до вечера: — Это построено после революции… Этого раньше не было…"

Еще больше поразила писателя промышленно-индустриальная новь, возникшая среди снежных сопок, ледяных скал и некогда мертвого тундрового безмолвия Кольского полуострова. Хибинские апатитовые разработки в городе Кировске дали жизнь целому краю… Кварталы многоэтажных жилых зданий… По улицам бегут автобусы. Писатель спускается в штольни рудника имени Кирова. Каков размах производства! На двадцать два километра в год "подземные сооружения проникают в каменное тело еще недавно неприступной горы Кукисвумчорр. Широкие коридоры штолен и штреков освещены электричеством… После канонады аммонитовых взрывов около грохотнои решетки шахты я встретился с новой сменой… Горняки заговорили с сопровождавшим меня техником… Тон разговора был хозяйственный, требовательно-рассудительный…"

Федин описывает вслед за тем свои посещения еще и медно-никелевого комбината под Мончегорском; и Мурманска, "столицы Крайнего Севера", с его конвейерами рыбообрабатывающего комбината, консервной фабрики, портом европейского значения… Причем во многих картинах как бы невзначай и само собой встает имя человека, которому, может быть, больше других здешние края обязаны преобразованием. "В городе, сделанном волею Кирова, — прорывается у Федина при описании встречи с рабочей сменой на руднике в Кировске, — почти каждый работник помнит историю его создания…"

Теперешняя индустриальная новь — это и живой памятник большевику-ленинцу С.М. Кирову. Как напишет затем Федин в сценарии «Киров»: помимо других дел и начинаний, — инициатору дерзкого плана на Крайнем Севере прорубить для страны "второе окно в Европу".

Совершая корреспондентскую поездку, Федин черпал дополнительный материал и для будущего киносценария «Киров». Отрывки из него появились в газетах, а сокращенный

вариант в сборнике "Бессмертие. Памяти С.М. Кирова" уже в конце 1939 года; полная журнальная публикация — полгода спустя ("Новый мир", 1940, № 7).

Как и многие ленинградцы, Федин неоднократно видел Кирова, слышал его выступления. Ни одно крупное общественно-политическое начинание в жизни города не обходилось без энергичной предприимчивости и окрыляющего воздействия личности Сергея Мироновича — «Мироныча», как любовно звали его невские старожилы. Популярность его была велика, он олицетворял собой пример настоящего партийца и человека. С 1926 по декабрь 1934 года С.М. Киров занимал посты первого секретаря Ленинградского губкома (обкома) партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б).

Но Федин мог наблюдать руководителя ленинградских большевиков не только в обстановке многолюдных митингов, деловых совещаний и встреч с интеллигенцией города. Он нередко бывал в большом угловом сером здании на улице Красных Зорь, неподалеку от площади, образуемой пересечением этой улицы с соседним широким асфальтированным проспектом и крестовидным перекрестком на ней трамвайных путей. На пятом этаже дома находилась квартира одного из родственников Федина, работавшего в Смольном, а этажом ниже жил Сергей Миронович.

Родственник не раз передавал житейские простые, но запоминающиеся истории о Кирове. Из мелких подробностей повседневного поведения в быту вставала фигура человека непритязательного, скромного, доступного, интеллигентного, общительного, привлекающего к себе сердца людей.

Такого рода истории, которые в обилии можно было слышать и от других очевидцев по Ленинграду, также не прошли бесследно для текста киносценария. Действие многих его картин развертывается не только в кабинетах партийного штаба — Смольного, или в цехах Путилов-ского завода, или на новостройках Кольского полуострова, но и в этом доме, на улице Красных Зорь.

Если рассказ "Рисунок с Ленина" сразу вошел в классику литературной Ленинианы, то киносценарий «Киров» — произведение противоречивое, несущее печать времени. Среди его сюжетных коллизий есть такие, которые иллюстрируют ошибочные представления 30-х годов о расстановке социальных сил и природе общественных конфликтов внутри страны на завершающих стадиях построения социализма.

Наибольшее достоинство сценария — художественный портрет самого С.М. Кирова. Автору удалось создать живой образ

вожака масс, крупного партийного руководителя ленинской нравственной закалки, говоря словами Федина, — "истинного борца за коммунизм и человека красивого, умного сердца".

Киров мыслит и широкими масштабами государственного деятеля, и понятиями простого рабочего человека. "Трактор… — это политика, генеральная линия нашей партии, а не только мотор на колесах", — говорит он, выступая за скорейший серийный выпуск тракторов "Красный путиловец". Техника для деревни, в его глазах, — важное звено успешного осуществления политики индустриализации и коллективизации страны, планов партии. Но Киров не человек отвлеченного лозунга, он деятельный практик. В осуществлении самых высоких идей для него нет мелочей. Главный судья любых теорий, замыслов и планов, по его убеждению, — "факты живой жизни". Вот почему Киров собственными руками вымеряет толщину шлифовки деталей для тракторов, испытывает качество кладки кирпича на стройке жилья, ест обед в рабочей столовой и т. п. Как личные заботы заносит Киров в записную книжку не только повседневные дела необъятного Ленинграда, но и те мысли и заметки для памяти, которые возникают в поездках по Кольскому полуострову и которые с течением лет призваны обратить пустынные Хибины в "новый Урал".

Вернемся теперь к созревавшему одновременно замыслу "Шествие актеров" — первообразу романной трилогии. Как видно уже из печатного оповещения в газете "Красная Карелия" от 6 мая 1938 года, события произведения с самого начала мыслились автором на фоне истории, причем значительная роль в сюжете отводилась практическим ее деятелям — большевикам. Но основу замысла составляла давняя для Федина тема искусства в революции, с ведущими персонажами — людьми театра.

"Мне хочется наполнить этот роман большим движением, — замечал в 1938 году Федин, — связать его четким сюжетом… Это должен быть роман нравов, в котором реалистические картины будут сочетаться с романтикой героизма".

Перечитывая тогдашнюю авторскую «программу» будущей книги, легко заметить многие последующие отклонения от замысла и принципиальные перемены в его основе. На свет появился не "роман нравов" в трех частях, а фундаментальная нравственно-историческая эпопея — романы "Первые радости", "Необыкновенное лето", «Костер». Значительная подверженность замысла романтической красочности, фабульной эффектности ("Баталии перемежаются с театральными представлениями… Самое жаркое жизнебиение сердца сменяется отважной смертью…" и т. п.) явно отступила в трилогии перед строгим и

неторопливым реалистическим письмом. Коллизия "искусство и жизнь" стала лишь одним из мотивов широкого изображения людских судеб и событий. На первое место выдвинулась тема социалистической революции, "борьбы за народное счастье". И впереди других персонажей, по словам писателя, встали люди, "содержанием жизни которых было будущее нашей страны, была борьба за революцию", то есть прежде всего герои-большевики.

Что же вызвало принципиальные перемены замысла?

Федин подводил итог в таких словах: "…Но пришла война. Роман был отодвинут. Неслыханные события пересмотрены сознанием, обогащенным великим историческим опытом… Когда в начале 1943 года я снова взял в руки и перечитал свои записки, я увидел весь роман иными глазами. Все как бы стало с головы на ноги. Первоначальная тема искусства показалась мне лишь одним из мотивов. На первый план выступило нечто более значительное. Это была тема истории".

Пережив то, что с собой принесла и что показала Великая Отечественная война, нельзя уже было мыслить и писать по-прежнему.

ИСПЫТАНИЕ

Жаркий воскресный день 22 июня 1941 года… Ошеломительное известие о начале войны… Минуты эти каждый переживал по-своему.

"Я познакомился с Фединым в 1941 г., за несколько дней до начала войны, — вспоминает К. Г. Паустовский.

Как-то в одно синее и безмятежное июньское утро мы сидели с Фединым на террасе его дачи в Переделкине, пили кофе и говорили о литературе, нащупывая общие взгляды и вкусы. Внезапно распахнулась калитка, в сад вбежала незнакомая ни Федину, ни мне рыжеволосая женщина с — обезумевшими глазами и, задыхаясь, крикнула:

— Немцы перешли границу… Бомбят с воздуха Киев и Минск!

— Когда? — крикнул Федин, но женщина ничего не слышала, она уже бежала по шоссе к соседней даче.

Мы вышли, зная, что нужно куда-то идти, что нельзя оставаться одним в доме. Мы пошли в сторону к станции. Нам встретились два пожилых рыболова. Они шли навстречу нам со станции на пруд и тащили идиллические бамбуковые удочки.

— Война началась, — сказал им Федин.

Над лесом, поблескивая тусклым серебром… подымался в небо аэростат воздушного заграждения. Мы остановились на поляне и смотрели на него. Кашка цвела у наших ног — теперь уже довоенная кашка — вся в росе и петлях душистого горошка… Мы молча поцеловались и разошлись… Надо было быть на людях… немедленно действовать".

Удивительно, как ускользающе быстро, причудливо-странно и бесповоротно менялась прежняя, довоенная жизнь на новую.

Еще вчера, стоя у края большой поляны, они с Паустовским наблюдали издали, как над Переделкином поднимался аэростат воздушного заграждения. И хотя возле армейских грузовиков сновали фигурки красноармейцев в зеленых гимнастерках, в самом серебрившемся под солнцем огромном раздутом пузыре — «колбасе», как зовут такие аэростаты, было что-то невсамделишное, парадное, игрушечное… А уже сегодня в лесу и кустарниках, по бокам той же поляны, у желтевших свежевыброшеннъш песком и глиной окопов устанавливали травянисто-лягушачьего цвета длинноносые зенитные орудия…

В газетных сводках чем дальше, тем больше сообщалось о боях по всей тысячекилометровой линии фронта, о немецких прорывах, и к замелькавшему слову — «направления» с каждым днем добавлялись казавшиеся невероятными в таком сочетании

названия новых советских городов. Вообще, не говоря уже о военных терминах, в повседневную речь сразу вошло множество новых слов — «ополченцы», "дружинники", «бомбоубежище», "эвакуация"…

В саду переделкинской дачи вырыли просторную яму глубиной в два с лишним метра, с изогнутым узким ходом, покрыли досками-горбылями, мешками с песком, засыпали землей и обложили сверху травяным дерном. Получилась «траншея-укрытие» от воздушных налетов. Вскоре она много раз пригодилась и Федину, и обитателям соседних дач. На городской квартире, в Лаврушинском, возник озабоченный управдом с тетрадью в руках, заставил расписаться и объявил, что для жильцов вводятся обязательные дежурства на время воздушных тревог и по распорядку домовой дружины за Фединым закрепляется должность пожарного.

Несколько позднее для писателей-нестроевиков был введен двадцатичасовой курс военного всеобуча. В одной группе освоением материальной части оружия (пистолет, автоматическое оружие, пулемет и т. д.) занимались К.А. Федин, Л.М. Леонов, Б.Л. Пастернак.

С каждым днем война обозначала себя острее, подбиралась все ближе.

Началась эвакуация мирных жителей из столицы. 12 июля вместе с другими семьями писателей уехали в город Чистополь (Татарская АССР) жена и дочь Федина.

Отказ от настроений мирного времени давался непросто. "Работать приходится урывками… однако стараюсь быть полезным", — сообщает Федин 22 июля в письме родным. Или: "Пока я жив, здоров, не… утратил работоспособность, вчера, напр., выступал в Парке культ[уры] и отд[ыха] и председательствовал на вечере (кот. был днем)… Выступаю по радио и кое-что пишу" (4 августа).

Поэзия и публицистика — жанры, в которых прежде всего откликнулась советская литература на небывалый и грозный разворот начавшихся событий. Стихи "Священная война", которые В. Лебедев-Кумач написал в первые же часы после фашистского нападения на нашу страну, стали вскоре, пожалуй, одной из самых популярных песен Отечественной войны. Вместе с боевыми сводками на страницах газет печатались и выражали чувства миллионов советских людей стихи "Убей его!" и "Жди меня" К. Симонова, "Песня смелых" и «Землянка» А. Суркова, "Наступил великий час расплаты" и «Огонек» М. Исаковского…

Но если советская лирика с первых же дней войны была широчайшим образом гражданственна, то публицистику

отличали лиризм и полнота авторского самовыражения. Битва шла за самое главное — быть или не быть Советской Отчизне, социалистическому строю, независимости советских народов, которых германские империалисты хотели лишить всех исторических завоеваний, миллионы людей истребить, а остальных ограбить и превратить в рабов. Советская литература и народ жили одним чувством.

"Публицистика преобразилась, главным образом в лирику", — свидетельствует А. Сурков. Не случайно среди названий писательских статей и очерков, а затем публицистических сборников и книг немало таких, которые отмечены «программностью», своеобразием нравственного отклика авторов. Сами названия уже немало говорят о главной страсти писателя, о взятой им линии гражданского поведения. "Наука ненависти" М. Шолохова, «Родина» А. Толстого, «Война» И. Эренбурга, "От Черного до Баренцева моря" К. Симонова, "Слава России" Л. Леонова, "Морская душа" Л. Соболева…

С первых же дней и недель войны Федин находит собственное слово, в котором точно так же отлито и воплощено все — реакция на событие, изъявление чувств, программа действий. Что это за слово? Задумаемся на минуту…

Да, конечно! «Долг»… Оно не могло быть иным. "О долге" — так называется первая публицистическая статья Федина, напечатанная в "Литературной газете" 13 июля 1941 года. И весь строй ее чисто фединский. "В конце концов, — пишет он, — каждый гражданин Советской страны рассуждает так: да, именно от воплощения моего долга зависит победа. Я выполню свой долг — и победа будет достигнута. А долг мой не может быть маленьким, или незначительным, или ничтожным. Как бы ни был он мал с виду, он является нужной, неотделимой долей общего великого дела — *Долга* с большой буквы, долга перед Отечеством".

Война — это не только лишения, страдания, смерти. Это еще и тяжкий повседневный труд. И для тех, кто рискует жизнью на фронте, и для тех, кто остается в тылу. И исполнить свой долг — это значит не поддаться панике и малодушию в нынешнюю полосу поражений и неудач. А удвоить сопротивление, выдержать, выстоять, победить.

Эти требования писатель адресует и себе, и своим близким. Раз он, без малого пятидесятилетний человек, былой туберкулезник и язвенник, не годен для службы в армии — значит еще беззаветней должен трудиться.

В июле 1941 года Федин побывал в командировке в Мордовии, в лагере военнопленных. Это первый случай, когда

писатель взглянул в лицо врага.

Он хорошо знает немцев, может толковать с каждым на их родном языке… Что это за люди? Сбитые летчики, немецко-фашистские пехотинцы, неожиданно для себя попавшие в плен, охотно сдававшиеся румыны, австрийцы-перебежчики… Двадцатилетние юнцы, солидные отцы семейств, как будто довольные тем, что лично для них смертельные опасности позади. Растерянные, потерявшие спесь вояки, благонамеренные обыватели… Только на редких лицах застыла упрямая, фанатическая преданность фашизму.

В подавляющем большинстве эти люди вызывают презрение, омерзение. Многие — бездумные колесики гитлеровской военной машины. Они — рабы, которые палят города, расстреливают на бреющем полете мирных жителей, чтобы сделать своих господ владыками вселенной. Они — рабы. Он так и пишет об этом в своих статьях: "Признания пленных немцев" ("Правда", 1941, 19 июля), "Рабы Гитлера" ("Литературная газета", 1941, 20августа), "Чувствительность и жестокость" ("Литературная газета", 1941, 24 сентября).

В Москве готовится коллективный сборник публицистических выступлений воинов-фронтовиков и писателей столицы под названием "Москва на вахте". Заглавную статью для него пишет Федин. Он вкладывает в нее всю свою любовь к столице, на которую начались непрерывные налеты фашистской авиации. "Москва возглавила Отечественную войну советского народа против подлых и ненавистных орд врага, — пишет Федин, — которые ворвались в исконные пределы нашей Отчизны. Москва во главе сотен и тысяч больших и малых наших городов… Москва, любимый, грозный и веселый город, родина революции, родина всенародного счастья и символ великого прошлого, настоящего и будущего пашей Отчизны! Будь знаменем наших чувств, наших мыслей, будь путеводной звездой к победе, к великой и славной победе над мерзким и обреченным врагом — фашизмом!"

Одна из главных задач дня — обращение к массовой аудитории. И месяц напряженной работы (с конца августа) Федин отдает созданию киносценария «Норвежцы» для студии "Мосфильм".

Давние чувства к маленькому соседнему народу и личные впечатления от знакомств с красивейшей северной страной Федин вкладывает теперь в образы гордых и вольнолюбивых норвежских рыбаков и крестьян.

Получая помощь моряков советского сторожевого катера, герои сценария ведут борьбу с фашистскими захватчиками…

Несколько романтический по общему колориту, публицистически прямолинейный по некоторым сюжетным решениям, "рассказ для экрана", как он назван автором, передает настроения момента. «Норвежцы» Федина — один из первых откликов советской литературы на события войны в жанре художественного киносценария.

Работать было нелегко. Сценарий писался в перерывы между немецкими воздушными налетами, сопровождавшимися буханьем зениток, сотрясавшим стены переделкинской дачи.

В начале августа фугасная бомба попала в дом в Лаврушинском переулке. Среди других разрушены были квартиры К.Г. Паустовского и М.П. Малышкиной. Оставшийся без крова Константин Георгиевич Паустовский перебрался на дачу к Федину и некоторое время жил тут. Писатели вместе отсиживали часы в садовой траншее, слушая гул боя в ночном августовском небе.

На городской квартире Федина, заделав окна фанерой, поселились другие разбомбленные — М.П. Малышкина с мужем, известным чтецом-декламатором С.М. Балашовым.

"Сейчас главные бои сосредоточились под Ленинградом, Киевом и Одессой, — писал Федин жене 12 сентября, — но… довольно интенсивны они и под Смоленском. Можно ожидать усиления нажима с улучшением погоды (бабье лето!) и новых бомбежек. Нельзя сказать, чтобы тревоги переживались легко… За месяц — 24 бомбежки — это не так просто… Паники сейчас нет, но настроение в городе трудное, жизнь напряженная, как бы бивуачная… и это написано на каждом лице".

Четыре дня спустя, делясь своими переживаниями с родными, Федин писал о Ленинграде, вокруг которого смыкалось кольцо блокады: "Я все время думаю о друзьях и близких ленинградцах, перебирая в памяти каждого в отдельности, от Коли (Н. Коппеля. — *Ю.О.)* и Сергеева… Десятки моих приятелей, что с ними? Иногда хочется быть в Ленинграде, видеть происходящее там, слышать своими ушами всё, всё".

Москва становилась уже почти прифронтовым городом. "В Переделкине… батареи у окон, дом ходит ходуном, когда они разговаривают, а разговаривают они *каждый час,* — сообщал Федин родным 28 сентября, — начиная с 7 г 9 вечера и — когда как — до 3-х до 5-ти утра. У немцев новая тактика: они шлют самолеты маленькими группами, т. е. по всем дорогам… Тревоги объявляют не всегда, так что в городе вдруг, ни с того ни с сего, начинается канонада. О Пере[делкине] я не говорю. Мне уже не раз приходилось сидеть в канаве по пути со станции на дачу…"

Киносценарий тем не менее Федин закончил и сдал в срок.

"…Балашов вернулся, — продолжает Федин в том же письме, — рассказывает много хорошего о фронте (под Смоленском)… В Ленинграде… кое-кого разбомбило (напр., Колю Чуковского). Вчера видел Зощенку… его вывезли на аэроплане… Виделся с Лидиным (писателем. — *Ю.О.),* впервые приехавшим на побывку. Он очень изменился… И опять на днях едет на фронт".

…В Москву стекались беженцы. Иногда объявлялись люди, которым удалось вырваться из лап врага.

Однажды в Лаврушинском Федин услышал голос такого человека.

Звонила Валентина Ивановна Мартьянова, которая считалась пропавшей без вести.

Возникновение ее было для Федина большой радостью. Он не мог дождаться минуты, когда Валентина Ивановна доедет до Лаврушинского, войдет в комнату.

Если существует читатель-друг, то это был такой случай. В жизни не было у писателя Федина более возвышенной, искренней обоюдной дружбы с читателем, чем с В.И. Мартьяновой. Конечно, литературная дружба скоро переросла в личную. Тем более что Валентина Ивановна родом была из Саратова, а работала в том же театральном институте, где училась дочь Нина. Так что добавочные связующие нити имелись еще и с женской половиной дома.

"Романтическое существо, доверчивое, полное мечты о творческом труде", — запишет о В.И. Мартьяновой в дневнике Федин много лет спустя (25 апреля 1953 года), словно бы отмечая, что и 57-летней, она осталась все той же.

Прежде всего Мартьянова была человек искусства — режиссер, педагог, критик. Болезненного вида, высокая, худая, темноволосая, с белым красивым лбом и лучистыми глазами. Несколько лет назад под влиянием семейной драмы у нее словно бы созрело внутреннее решение — общительная, интересная, она приняла вроде пострига на верность единственному незыблемому и святому, что оставалось, — театру, искусству. А в этом Валентина Ивановна была натура жертвенная, благородная, способная на подвиг.

Если бы только знал Федин, что будет означать для него вскоре нынешний телефонный звонок, счастливое возвращение этого человека!.. Какую огромную услугу окажет ему Валентина Ивановна (да только ли ему? отечественной литературе, русской культуре!)…

Теперь же с Валентиной Ивановной приключилась такая история.

Во второй половине июня во главе курса выпускников

ГИТИСа Мартьянова поехала на самую границу, в Брестскую область. Это был так называемый "брестский выпуск". Два десятка вчерашних студентов — весь институтский курс в полном составе получил назначение на пополнение и открытие новых театров в одной из воссоединенных недавно областей Западной Белоруссии — в городах Бресте и Пинске. А провести творческое и бытовое устройство этого актерского молодняка поручено было безотказной и горячо обожаемой питомцами Валентине Ивановне.

С грузом ответственности за судьбу начинающих актеров и очутилась она с первых дней войны в самом пекле — под бомбежками и обстрелами немецких самолетов, в толпах беженцев, потоки которых тщетно пытались уйти от быстро продвигавшихся немецко-фашистских моторизованных частей.

22 июня с половиной выпускников Мартьянова находилась в Пинске, то есть километрах в ста восьмидесяти от Бреста. Еще был шанс относительно спокойно выбраться в безопасную зону. Но разве могла она да и ждавшие ее решений «пинчане» бросить тех, кто оставался в Бресте? А пока переговаривались, дожидались, пока соединялись, время было упущено…

Об этом, сидя против Федина, и рассказывала теперь Валентина Ивановна. И заостренное ее лицо с пунцовыми пятнами на скулах и лихорадочно горящими глазами было озарено странно, как бывает у человека, пережившего тяжкую беду, повидавшего такое, чего не дано знать слушателю.

Это было исповедь человека, на себе испытавшего начальные события войны в пограничных районах страны, первая такая исповедь, которую слушал писатель. Рассказ страшный. Насыщенный описаниями вооруженных немецких расправ, с их изуверской хладнокровностью, над толпами беженцев, нравственными итогами многодневных скитаний в лабиринтах гибели, невероятностью перемен, которые происходят с людьми, жестокой и трезвой точностью деталей…

Рассказ этот глубоко поразил Федина… (Пройдет много лет — и писатель воспользуется былыми переживаниями В.И. Мартьяновой, широко переплавит их в образах «брестских» глав, завершающих первую книгу романа "Костер".)

Месяца через два-три произошли события, в которых проявила себя Валентина Ивановна Мартьянова.

Еще с лета для писателей, что непригодны были к военному призыву, намечался отъезд из Москвы, в том числе в Чистополь, где уже проживали многие семьи. Первоначально предполагалось — эвакуация недолгая, всего на несколько месяцев, может быть, до зимних холодов. Затем положение на фронте выправится, немцев решительно погонят. Временно эвакуированные смогут

вернуться.

С подобными настроениями отъезжали в первой половине июля в Чистополь Дора Сергеевна и Нина, не взяв с собой самого необходимого (им теперь приходилось отправлять посылки с теплой одеждой и т. д.). Но вопреки развитию событий на сходные надежды делалась ставка даже в августе — начале сентября. И если Федин испытывал некоторый скепсис к таким планам, то ведь и ему хотелось верить. Никто не знал, что еще предстоит.

Так или иначе, надо было готовиться к отъезду. Участие в этом принимала Мартьянова, которая эвакуироваться не собиралась.

Во второй половине августа, после падения двух бомб в Лаврушинском переулке, Федин завез Мартьяновой и оставил у нее тяжелый сверток.

Там находились все адресованные ему письма А.М. Горького, тридцать шесть оригиналов писем и еще две пухлые папки. Рукописный подлинник первой книги "Горький среди нас", значительно отличавшийся от опубликованного журнального варианта, а также наброски и заделы начатой второй книги… На этом были сосредоточены творческие интересы Федина в последние годы.

Сверток должен был сохраняться у Валентины Ивановны вплоть до скорого возвращения писателя из намечавшейся эвакуации.

Не хотел Федин возить эти материалы взад-вперед, подвергать их случайностям дорожных происшествий. Не мог он дольше оставлять их и в Лаврушинском, над которым стремившиеся прорваться к центру Москвы вражеские самолеты под огнем зениток беспорядочно сбрасывали бомбы.

Правда, на городской квартире сохранялась важная часть архива. Письма других мастеров отечественной и зарубежной литературы, искусства, обширная переписка с современниками. Конечно, и там были вещи, духовно дорогие и невосполнимые при потере. Но когда разбирать? Нет, с этой частью архива будь что будет… А Горький — то был учитель, Горького он выделял…

Дата отъезда оставалась неопределенной, толки о нем тянулись почти два месяца…

Потом события приняли неожиданный, стремительный оборот.

Враг прорвался к ближайшим подступам Москвы.

Федину позвонил один из руководителей Союза писателей.

— Костя, — сказал он непривычно глухим голосом, — собирайся, срочно! Ты едешь до Казани с немецкими писателями-

антифашистами. Машина на вокзал будет через час…

16 октября в дороге Федин бросил наудачу короткую открытку В.И. Мартьяновой: "Милая Вал. Ив., я жив, еду… Думаю о Вас много, желаю счастья".

Валентина Ивановна не собиралась покидать Москву. Но 19 октября приказом Государственного Комитета Обороны столица была объявлена на осадном положении. 6 ноября уехали из города большой группой еще остававшиеся актеры и сотрудники МХАТа и близко связанного с этим театром коллектива ГИТИСа. В партии эвакуированных, отправленных поездом в Саратов, была и В.И. Мартьянова.

За дни, что прошли с момента отъезда Федина, несмотря на всю чрезвычайность обстановки, Валентина Ивановна успела вместе с М.П. Малышкиной упаковать и надежно прибрать в Лаврушинском писательский архив, а также целую библиотеку редких книг, содержавших автографы М. Горького, Р. Роллана, С. Цвейга, Л. Франка, А. Ахматовой, Ф. Сологуба…

Доверенный груз В.И. Мартьянова без колебаний взяла с собой. Об этом она известила Федина уже с дороги.

"Удивляюсь и с благодарностью думаю о Вашем дружеском внимании к моим папкам и покорен Вашей дружбой навеки", — отзывался взволнованный писатель.

Взяв лишний вес, Мартьянова, как вскоре выяснилось, не сумела захватить с собой даже запасной пары зимней обуви. Это был героический поступок со стороны слабой здоровьем женщины.

Федин тут же телеграфирует в Саратов Н.П. Солонину, единственному оставшемуся там родному человеку, — просит опекать Мартьянову и купить ей обувь. Самой Валентине Ивановне он пишет: "…если бы я мог представить себе, что Вам придется носить мои папки в рюкзаке, в то время, как Вы… не взяли с собой действительно необходимых вещей, я никогда бы не дал Вам этого груза… Но я, конечно, счастлив, что «груз» этот в сохранности, и признателен Вам очень, очень" (15 декабря).

Уже заново приступая к прерванной работе над второй частью книги "Горький среди нас", Федин сообщал Мартьяновой (1 января 1942 года): "Я продолжаю писать о Горьком — ту часть, к[ото]рая примыкает к известным Вам тетрадям. Конечно, Вы можете читать все, заключенное в папках, Вами спасенных. Если бы это чтение могло доставить Вам хотя бы крошечную награду за Ваш бескорыстный поступок, я был бы счастлив".

Так сохранено было не только ценное эпистолярное наследие, но и обеспечен тот нынешний вид многих страниц и глав литературно-мемуарного полотна "Горький среди нас", который

стремился придать им автор.

Печальной оказалась судьба переделкинской части архива (рукописные оригиналы ряда опубликованных произведений — романов "Похищение Европы", "Санаторий Арктур" и др., многая переписка и т. д.), ставшего одной из жертв разора военных лет. 24 сентября 1942 года писатель, находившийся в те месяцы в Москве, сообщал жене: "…Вчера ездил на дачу… Кроме стен, там не осталось ничего. Но и стены — что за стены!!! Бесследно, до последнего листка исчез мой архив, все мои книги, бесследно исчезла вся утварь и весь «быт»… В архиве — 23 года моей жизни…"

В Чистополе Федин прожил фактически неполный год. Из пятнадцати месяцев, когда считалось, что писатель находится в здешней эвакуации, четыре месяца (с середины июня до половины октября 1942 года) он был в отъездах. Сначала в Саратове (куда его вызвало руководство МХАТа в связи с пьесой "Испытание"), а затем три с лишним месяца — в Москве.

С волнением следил Федин за положением на фронтах. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой в результате контрнаступления Красной Армии в декабре 1941 года стал первым крупным поражением гитлеровцев во второй мировой войне. Мужественно сопротивляется осажденный Ленинград. Оттуда Фединым в Чистополь изредка приходят письма от родных и друзей.

Все более глубокое осмысление событий дает советская литература. "Мы присутствуем при удивительном явлении, — обобщал А. Толстой в докладе "Четверть века советской литературы" в ноябре 1942 года. — Казалось бы, грохот войны должен заглушить голос поэта, должен огрублять, упрощать литературу, укладывать ее в узкую щель окопа. Но воюющий народ, находя в себе все больше и больше нравственных сил в кровавой и беспощадной войне, где только победа или смерть, — все настоятельней требует от своей литературы больших слов. И советская литература в дни войны становится истинно народным искусством, голосом героической души народа… Пусть это только начало. Но это начало великого".

К этому времени уже напечатаны или создаются поэмы А. Твардовского "Василий Теркин", «Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, повести «Радуга» В. Василевской, «Непокоренные» Б. Горбатова, "Дни и ночи" К. Симонова, "Рассказы Ивана Сударева" А. Толстого, первые очерки книги "Ленинград в дни блокады" А. Фадеева, пьеса А. Корнейчука "Фронт"…

В ноябре 1941 года на страницах "Ленинградской правды",

расклеенной по этому случаю на стенах больших домов, появилась написанная в осажденном городе поэма Н. Тихонова "Киров с нами". Текст поэмы передало Всесоюзное радио. Позже Федин назвал Тихонова "Денисом Давыдовым русской поэзии советского времени". "Тихонов — революционный писатель во всех отношениях… — писал он. — Глаз его меток, его товарищеский дух испытан огнем… За много лет до начала… войны, — отмечал Федин, — можно было с точностью видеть, что самым готовым к походу писателем… будет Николай Тихонов… В кампанию против белофиннов Тихонов вступил богато вооруженным. Герои его поэм и стихов… прошли со своим певцом обледенелыми лесами Карелии и Финляндии и спустя немного больше года вместе с ним построились в беспримерной обороне Ленинграда".

Маленький городок Чистополь находился в 180 километрах от железной дороги. Жизнь эвакуированных была трудной, хотя Фединых, согласно принятому порядку, и подселили в домике местного аптекаря с оконцами, глядящими даже на широкий затон Камы. Обитало в тесном жилище восемь человек."…Живу в проходной горнице, без дверей, — записывал Федин. — Весь домишка прослушивается насквозь… Писать я могу лишь при дневном свете. Никакого другого света у нас больше… не будет, последние капли керосина в моих самодельных коптилках я розлил, перековырнув их в темноте".

Если сценарий «Норвежцы» создавался под буханье переделкинских зениток, то обычным сопровождением литературных занятий в Чистополе были неизбежная людская толчея и густой запах жареной касторки, на которой в это голодное время вместо масла приготовляли картофельные оладьи. Для обдумывания очередных страниц писатель отправлялся с ведрами за водой к ледовым прорубям Камы, вызывался колоть дрова, разгребать снег.

Всем приходилось нелегко. Трудовой фронт требовал организации. Надо было наладить жизнедеятельность писательской колонии. Прежде всего позаботиться о детях, о семьях погибших фронтовиков, о стариках и инвалидах. Надо было поддерживать связь с Казанью и Москвой, с редакциями газет, радио, издательств, обсуждать коллективно новые произведения, да и вообще делать все, чтобы оказавшиеся в Чистополе писатели приносили больше пользы народу.

В Чистополе было создано местное отделение Союза писателей. В его правление вошли Федин (председатель), Асеев, Исаковский, Пастернак, Тренев… Активное участие в работе принимал Леонов.

"…Я… занят своим Союзом, — сообщал Федин 1 января 1942 года Мартьяновой. — Колония наша здесь обширна… Связь с Казанью труднейшая… Метели, пурга, морозы, иногда подводы идут по 12–14 дней. Но народ все-таки ездит. Упрямый у нас народ, и это — слава богу, — глядите, какие чудеса показал он под Москвой!.. Кроме общественных всяких обязанностей и работ, мы проводим "Чистопольские вечера Союза сов. писателей". У меня было два вечера, — прочел все о Горьком. Будут читать Пастернак, Асеев, Тренев и мн. другие…"

В статье "Молодежи Чистополя", опубликованной в местной газете "Прикамская правда" (23 ноября 1942 года), Федин писал: "…Вглядитесь в первого встречного человека — пусть это будет ученик ремесленной школы, бегущий к началу работы за своим станком, пусть колхозник, чуть свет привезший воз хлеба на склад «Заготзерно», пусть молодая девушка из Энского завода, вглядитесь в любого человека: как все они озабочены, как каждый торопится к своей цели, как серьезны и значительны их взгляды…"

Чувство долга перед Родиной, сплачивающее и объединяющее самых разных людей, озаряющее высшим смыслом их жизнь и поведение, порождающее дух самоотверженности, а в решающих ситуациях и самоотречение, — таков первейший из нравственных побудителей героизма в понимании Федина.

За три месяца весны 1942 года в Чистополе была написана пьеса «Испытание». Действие происходит в первые дни и недели войны… На оккупированной врагом территории жители маленького городка, рискуя жизнью, скрывают советского патриота, связанного с возникающим партизанским подпольем. В сложные ситуации ставятся при этом две любящие героя женщины. Да и другие персонажи должны пройти через крутую внутреннюю перестройку, чтобы научиться оценивать себя и происходящее вокруг иными, более высокими и крупными мерками, которые вызвала начавшаяся общенародная борьба против фашизма.

Личные чувства главных персонажей, как писал Федин, "должны быть принесены в жертву всеподавляющему внутреннему зову: исполнить долг перед Родиной, принять участие в ее защите…".

Героические характеры — волевая и сильная духом молодая женщина Аглая, которая добровольно берет на; себя вину за убийство фашиста, пенсионер-мастеровой Лукашин, взрывающий тщательно отремонтированное им машинное отделение парохода, чтобы речное судно не могло служить врагу… Кульминация пьесы — психологическая «дуэль» Аглаи и

гитлеровского служаки — прусского офицера Дегена, в которой обнаруживается нравственное обаяние и превосходство советской патриотки над жестокой бесчеловечностью фашизма.

Одновременно с «Испытанием» Федина создавались пьесы «Накануне» А. Афиногенова, «Война» В. Ставского, «Навстречу» К. Тренева… Все это были, как позже напишут историки театра, "самые ранние ласточки советской драматургии" периода Отечественной войны. Пьесы, обозначившие главное русло театрального репертуара военных лет, — «Фронт» А. Корнейчука, "Русские люди" К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова… — последовали позже, лишь в 1942–1943 годах.

Новый жизненный материал, который несла с собой всенародная война, явно не укладывался в традиционные рамки «семейно-бытовой» драмы. Это заметно и в пьесе «Испытание». На первом плане в ней все же оказываются интимные переживания героев, а "грозный образ войны", пользуясь словами авторских пояснений к пьесе, — "на втором плане", хотя и "все время занимающем внимание зрителя". Это несоответствие тактично отметил В.И. Немирович-Данченко, высоко оценивший пьесу и одобривший ее к постановке во МХАТе. Выделяя роль Аглаи как лучшую и, несомненно, заманчивую для актрисы, он писал Федину: "Между прочим, от этого образа веет романтизмом дореволюционной эпохи. Он как-то заведомо театрализованный… При постановке можно будет проследить, чтобы актриса больше опиралась на все живые черты, не слишком увлекалась внешней красивостью их, куда роль легко может потянуть. В то же время прекрасная работа для актрисы. Я понимаю, почему… автор одно время даже думал назвать пьесу «Аглая». Хотя, конечно, это решительно снизило бы содержание пьесы с огромного явления до частного любовного эпизода".

Тему долга перед Отечеством развивают также рассказы Федина, печатавшиеся на страницах массового журнала "Красноармеец".

9 сентября 1942 года, посылая для чтения с эстрады два недавно написанных рассказа ("Каша" и "Часики"), Федин давал такие авторские комментарии к их актерскому исполнению: "… они героичны, и я назвал бы их рассказами о *долге,* это — их тема, скрытая под суровым одеянием, под беспощадной сухостью изложения… В чтении же — голос, игра, чувство актера вырывают самую косточку плода, и испуг должен уступить место *благодарной вере в человека".*

Таков же и рассказ "Мальчик из Семлёва", с которым связана любопытная жизненная история.

Дело было так.

Прилетев 12 июля 1942 года в Москву, Федин сразу погружается в поток здешних событий. Новостей много. О них и сообщает Федин в первых же письмах жене, в Чистополь.

Тем первым из друзей, к кому чуть ли не с аэродрома кинулся писатель, был В.Я. Шишков. Еще в начале мая в Чистополе слышал Федин, что Вячеслав Яковлевич теперь в Москве. Потом узнал подробности. Все самое трудное и опасное время — осень сорок первого и зиму сорок второго, когда норма выдачи хлеба для рабочих доходила до 200 граммов, а для служащих и неработающих членов семей до 125 граммов на человека, — не соглашался выехать из осажденного Ленинграда Шишков. И только когда настала весна и исчезли всякие сомнения: Ленинград выстоял, самое тяжелое позади, — старик внял просьбам друзей. Теперь хворает, все еще не может оправиться от последствий блокадного голода.

"Вчера был у Шишковых… Чудно и трогательно провел с ними вечер" (13 июля).

С того дня уже почти все дальнейшее московское пребывание было шишковским. "К Шишковым — милым Шишковым! — захожу", — восклицает Федин в другом письме жене (2 сентября).

Дважды встречался Федин с А.А. Фадеевым. Первый раз — в неофициальной, домашней обстановке: "Был у Фадеева, виделся с Линой (артистка МХАТа А.И. Степанова, жена писателя. — *Ю.О.)* … Он много рассказывал о Л[енин]граде!" (13 июля).

Александр Александрович только что вернулся из трехмесячного пребывания в осажденном Ленинграде и уже печатал первые очерки будущей книги "Ленинград в дни блокады". "На всю жизнь останется в моей памяти этот вечер конца апреля 1942 года, когда самолет, сопровождаемый истребителями, низко-низко шел над Ладожским озером, — так начинается первый очерк Фадеева, — и под нами на растрескавшемся пузырившемся льду открылась взору дорога, единственная дорога, в течение зимы связывавшая Ленинград со страной. Ленинградцы назвали ее Дорогой Жизни. Она уже сместилась, расползлась и местами тоже была залита водой… Спутником моим по самолету был поэт Николай Тихонов, постоянный житель Ленинграда. Эту суровую зиму… он провел в Ленинграде, в рядах армии. На короткое время он был вызван в Москву… и сейчас возвращался в родной город. Он получил Сталинскую премию 1941 года за поэму "Киров с нами"… Целая группа писателей, в том числе и Тихонов, пожертвовали свои премии на строительство танков…"

В письме от 7 сентября Федин сообщает о второй встрече с Фадеевым, теперь уже в его кабинете секретаря правления Союза

писателей СССР — требовалось подробно обсудить нужды чистопольской колонии: "Фадеев «принимает» меня у себя для разговора о 1000 дел…"

Видится Федин также с Алексеем Толстым. В его квартире на Малой Никитской слушает в авторском чтении первое из произведений будущего цикла "Рассказы Ивана Сударева", куда позже войдет и знаменитый рассказ "Русский характер".

В Лаврушинский приходят письма от Соколова-Микитова. Иван Сергеевич с семьей провел трудную военную зиму в одной из деревень Новгородской области, затем был эвакуирован на Западный Урал. "Я очень тоскую об Ив. Серг., - записывал Федин летом 1942 года, — но надеюсь, что судьба доведет когда-нибудь свидеться". Теперь Соколов-Микитов извещал, что хочет написать книгу о партизанах и собирается приехать в Москву.

Только в октябре наконец произошла долгожданная встреча. "Приехал три дня назад Ваня… — сообщал Федин. — Он живет со мной, и я его временно пропишу".

Были и еще события, иные весьма значительные. О двух из них Федин оповещает родных в письме от 9 августа:

"…С Чагиным (П.И. Чагин — тогдашний директор Гослитиздата. — *Ю.О.)* заключил договор на всю книгу о Горьком… Срок короткий — ноябрь…" Создание второй части художественного полотна "Горький среди нас" превращается в неотложную работу писателя.

И еще: "Стал вести в Литературном] институте семинар по прозе, раз в неделю. Леонов тоже". С этого момента Литературный институт имени А.М. Горького (где Федин, подобно Л.М. Леонову, открывает постоянный творческий семинар) на семь лет стал для него местом штатной работы.

Среди множества подобных событий, в суровой атмосфере военной Москвы лета 1942 года и произошла встреча, в результате которой на одном и том же жизненном материале возникло два рассказа — "Мальчик из Семлёва" К. Федина и «Сережа» Вяч. Шишкова.

…Вячеслав Яковлевич чувствовал себя уже крепким настолько, что однажды смог выступить на литературном вечере в Центральном Доме Красной Армии вместе с Фединым.

Там кто-то и указал им на мальчика-сержанта, на вид, может быть, лет четырнадцати-пятнадцати. Курносого, веснушчатого, словом, ничем особым не примечательного, если бы подросток не носил треугольников в петлицах гимнастерки и не находился в кругу взрослых. Был это не совсем обычный "сын полка". Тихий, застенчивый мальчуган, как оказалось (на это имелись документы и наградные листы), участвовал в рискованных партизанских

операциях и сверх того в одиночку добыл нескольких «языков». То был мальчишка отчаянной храбрости. Даже по лихим временам характер, конечно, необыкновенный. Встреча сильно подействовала на обоих писателей. Они договорились — каждый по-своему написать об этом мальчугане, по рассказу, у кого как выйдет.

"Вечер, на котором я и Шишков встретили отважного сержанта-малолетку, — сообщал позже Федин автору этой книги, — происходил в Центральном Доме Красной Армии, летом 1942 года. Мы действительно договорились написать о мальчике и выполнили это. В.Я. читал мой рассказ, а я — его. И, помнится, что при встрече в 1943 году в санат[ории] «Архангельское», где оба мы провели совместно несколько недель, мы обменивались впечатлениями своими об этих рассказах с известным интересом, но теперь уже не скажу о существе беседы ничего. Кто-то из нас присочинил насчет числа «языков», добытых молодцом, скорее — я, поскольку у меня десяток, но могло быть, что по скромности своей Шишков сильно убавил число, поелику у него — пяток… Свой рассказ я считаю по типу приближающимся к очерку: фактичность материала его *безусловна* — это я твердо знаю и подтверждаю истинность написанного…" (14 октября 1965 г.).

Семлёво была та самая желанная незабываемая железнодорожная станция на Смоленщине, добравшись до которой Федин считал себя когда-то почти дома. Здесь с трясучего ночного поезда он пересаживался на лошадей, чтобы катить дальше, в Кочаны, к дорогому куму Ивану Сергеевичу. Лошади тащились, но зато летела душа! Э-эх, была молодость, было время! Теперь вот каких удальцов рождает эта земля…

"Мальчик из Семлёва" — лирический рассказ, близкий к очерку, в котором подлинным сюжетом становятся переживания повествователя под влиянием происходящей встречи. Слушая малолетнего сержанта, повествователь мысленно сопутствует ему во всех партизанских делах, с почти осязаемой яркостью представляет его среди издавна знакомых смоленских лесов, старается увидеть мальчишку таким, каким тот был, когда в одиночку вел в лесной чаще двух пленных немцев и застрелил сопротивлявшегося фашиста.

Весь рассказ, по существу, — развитие сложного чувства повествователя к мальчику, чередование любопытства, изумления и нарастания какой-то новой внутренней собранности при виде происходящей на глазах метаморфозы, когда в курносом прилежном слушателе на литературном вечере вдруг раскрывается "лик народной войны". Персонажи произведения — пожилые писатели, поначалу снисходительно разговаривающие с

мальчуганом, — превосходят его по всем статьям — и культурой, и своей значительностью в глазах окружающих, но это глубоко штатские люди; вероятно, им не случалось самим брать пленных, не приходилось убивать. А когда ребенок в каких-то жизненных отношениях искушен больше взрослых — это всегда действует сильно. Все эти движения чувства хорошо переданы в "Мальчике из Сем лева". Наблюдая юного партизана, повествователь все время вглядывается в себя, побуждая к внутренним самооценкам и читателя. Если таков этот мальчик, то какими же должны быть мы, взрослые, ответственные за все происходящее, за нашу землю, за будущее наших детей, — вот, приблизительно, тональность рассказа.

Есть очерк Федина, который, хотя и несравним по литературным достоинствам с рассказом "Мальчик из Семлёва", но прямо дополняет его. Он посвящен труженикам тыла и также интересен жизненной встречей.

Очерк написан в феврале 1943 года для Совинформбюро, в котором сотрудничал Федин. Тема в нем — героизм обыкновенного человека-тыловика, ни разу не стрелявшего, женщины, к тому же имеющей самую прозаическую профессию — заведующего хозяйством крупной больницы.

Писатель осматривает стационарную клинику Гражданского воздушного флота на окраине Москвы. Великолепна клиника, искусны ее лучшие хирурги, вроде профессора Огнева, операции которого вызывают у Федина сравнение с работой хирурга Ивана Ивановича Грекова в стенах ленинградской Обуховской больницы. Но все это лишь фон очерка, а в центре его хозяйственница, которую зовут тем не менее "душой учреждения".

Ольга Викторовна Михайлова — "женщина лет 30-ти, южного типа, смуглая, с прядью седых волос, которые только молодят красивых женщин" — один из самых давних работников отраслевой лечебницы нашей гражданской авиации. В годы второй пятилетки она участвовала в строительстве здания, в непростых тогда хлопотах по обеспечению клиники медицинским оборудованием и аппаратурой. Со своей стороны делала и делает все от нее зависящее, чтобы врачам здесь легче работалось, а больные успешней лечились. Когда фашистские войска приблизились к столице, Михайлова была среди тех, кто наладил скорую эвакуацию клиники на восток. Оставшись в пустых стенах с несколькими рабочими — с истопником и уборщицами, — превратила клинику в санитарный пункт для рывших окопы защитников Москвы. И она теми же натруженными руками, как пишет Федин, собиралась взорвать здание, когда немцы находились вблизи столицы.

Таким может становиться самый дальний тыловой «обозник», если жизнь поставит его в исключительные обстоятельства, а вчерашний обоз окажется на переднем крае… "Вот когда я вспомнил о двух чертах русского характера, часто забываемых, — заключает свои наблюдения Федин, — о нашей приспособляемости, то есть способности трудиться в самых изменчивых условиях, быстро приноравливаясь к ним, и о нашей решимости, то есть готовности без колебаний пожертвовать плодами своего труда, если это нужно в наших целях и мешает целям нашего противника".

Героиня очерка стала впоследствии близким другом писателя, до самой его смерти…

Победа под Сталинградом, достигнутая в феврале 1943 года после почти трех месяцев кровопролитных сражений наступающих советских войск с врагом, обозначила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Попытка гитлеровской Германии вернуть утраченную стратегическую инициативу в битве на Курской дуге в июле 1943 года привела к новому поражению немецко-фашистских захватчиков, в результате чего были освобождены Орел и Белгород. Началось массовое изгнание оккупантов с советской земли.

В первой половине января Федин окончательно возвращается из эвакуации в Москву.

Писатель, работающий в это время над книгой "Горький среди нас" и над романом "Первые радости", осмысливает в своей публицистике историческое значение побед советского оружия.

5 августа столица впервые салютовала в честь советских воинов, освободивших Орел и Белгород… Двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Салют был произведен в 12 часов ночи.

Картина народного ликования встает из очерка "Музыка победы" ("Правда", 1943, 6 августа). "В двенадцать ночи Москва салютовала победе, — пишет Федин. — Улицы Москвы переполнились народом. С первых залпов салюта в темноте — с тротуаров, из открытых окон и с балконов — начали раздаваться рукоплескания, и они росли, росли с каждым залпом, перекатываясь из квартала в квартал, охватывая великий город, наполняя его праздничным шумом, таким необычным и торжественно-веселым для строгой, настороженной ночи войны… Это была музыка Победы — награда за мужество, стойкость, за труд и выносливость нашего народа. Это был счастливый роздых в огненную боевую страду…"

С тех пор победные салюты стали традицией. В конце августа

наступающие советские войска освободили Харьков, распрямив так называемую "харьковскую дугу". На это событие Федин отозвался статьей под обобщающим названием "Разогнутые дуги" ("Правда", 1943, 26 августа). "Через восемнадцать дней после попытки немцев выпрямить Курскую дугу их план летнего наступления потерпел чудовищный провал… И вот… новый приказ нашего Главнокомандующего сообщил стране и армии об освобождении второй столицы Украины — Харькова… В этот час мы были душой с Украиной, ее надеждами и мечтами, с ее верой в скорое освобождение родной многострадальной земли…"

В самом конце августа вместе с группой московских писателей Федин выехал на Брянский фронт.

До того, как разделиться в расположениях дивизий и полков, писательская группа проезжала местами недавних боев. Ее старейшиной был Александр Серафимович, а еще, кроме Федина, в «доджах» ехали Всеволод Иванов — "самый хороший спутник из всех, каких мне давал в жизни бог" (выражение из тогдашнего письма Федина родным), Павел Антокольский, Борис Пастернак, армейский газетчик батальонный комиссар Семен Трегуб и еще один писатель, оказавшийся случайным попутчиком на первую часть пути.

Уже места недавних боев являли картину гитлеровских злодеяний во всем размахе и полноте. Картины намеренных разрушений советских городов, освоения завоеванного "жизненного пространства" на гитлеровский манер произвели на Федина сильное впечатление. Писатель правдиво обрисовал людей фашистского склада в романе "Города и годы". Казалось бы, кому, как не ему, знать, наперед видеть, ничему не удивляться!.. Однако надо было самому наблюдать не только присмиревших пленных гитлеровцев, но и то, что творили они и им подобные на советской земле. Идеология фашизма, демагогическая и бесчеловечная доктрина и основанный на ней государственный строй обращали миллионы немцев не просто в рабов, а в активных разбойников и убийц.

Известно, что представления и отношения к предметам и явлениям иногда менять тем труднее, чем глубже они затрагивают человека. Все было тысячу раз ясно, а вот требовалось удостовериться самому! Уж не Федин ли изучил немецкого обывателя, знал, на что тот способен. И все-таки… Невозможно было до конца уразуметь, вообразить и постичь истинные масштабы тех внутренних превращений и перемен, что произошли с людьми, чтобы они могли творить *такое,* с теми людьми, с кем жил когда-то бок о бок, которых покинул каких-нибудь десять лет назад… На Брянском фронте, по

проницательному замечанию одного из мемуаристов, у Федина лопнула "последняя нитка недоумения".

Шестым попутчиком Федина был писатель нового поколения, кажется, самый обстрелянный и бывалый в группе, хотя и самый молодой. Человек с лицом слегка кавказского типа, усмешливо лукавым взглядом быстрых черных глаз, подвижный, энергичный. В качестве корреспондента "Красной звезды" он исколесил фронтовые дороги и снискал к тому же популярность и славу как поэт, драматург, прозаик, сценарист. Вначале он показался Федину, может, излишне самонадеянным и деловитым. Возле разрушенного Карачева у них даже случился крохотный дорожный конфликт. Попутчик настаивал, чтобы быстрей ехать, а Федин хотел остановиться. Впрочем, когда в беседе выяснилось, что молодой человек тоже провел детство и юность в Саратове, Федин подобрел к новому знакомому. Этим соседом по машине на первом участке пути был 27-летний Константин Симонов.

Вот как много лет спустя передавал впечатления, вынесенные из совместной поездки, К.М. Симонов:

"Нам предстояло проезжать через Карачев, позади были уже освобожденный Орел, впереди еще не взятый Брянск. Мы подъехали к взорванному и дотла сожженному немцами Карачеву и у самой его окраины остановились. Остановились по просьбе Федина, именно по его просьбе. Я запомнил это потому, что у меня были в тот день причины спешить засветло добраться до места назначения и останавливаться я не хотел. Федин вылез из машины как-то особенно неторопливо, как это бывает с человеком не то заколебавшимся, не то задумавшимся. Вылез и долго неподвижно стоял, глядя на город.

…Хотя наш «додж» остановился у самой окраины города — но города впереди, в сущности, не было. Карачев был виден насквозь; а вернее, сквозь него, как сквозь нечто почти несуществующее, было видно все, что продолжалось там, за ним, — продолжение дороги, продолжение леса. Дорога уходила вдаль через несуществующий город, уходила между печных труб и холмов битого кирпича. И Федин… стоял рядом со мной… и смотрел туда, вперед, сквозь этот несуществующий город.

В жизни каждого из нас бывают особо значительные минуты, иногда это остается не замеченным другими, а иногда столь отчетливо выражается на лице человека, что не заметить этого невозможно. Не знаю, может быть, я заблуждался в своем ощущении, но во время этой остановки перед переставшим существовать Карачевом, по лицу Федина мне показалось, что в душе его происходит какой-то окончательный расчет. Не могло быть сомнения, что в уме он уже давно сопоставил тех немцев,

которых знал по первой мировой войне и в среде которых прожил несколько лет интернированным русским студентом, с теми немцами, которых привел в Россию Адольф Гитлер. Все это к осени сорок третьего года уже было многократно прокручено в логическом фединском уме, и баллы за поведение — если то, что делали у нас немцы, можно назвать поведением, — были бесповоротно выведены. И все-таки, мне кажется, я не ошибаюсь: во время остановки под Карачевом с Фединым что-то случилось, оборвалась какая-то нитка, еще продолжавшая незримо скреплять для него немцев той и немцев этой войны: скреплять каким-то чувством, может быть, чувством недоумения, но все-таки чувством. Но и эта последняя нитка недоумения лопнула, и те немцы, которых он знал до войны, вдруг даже в самом дальнем уголке его души перестали быть теми самыми немцами".

Психологический момент проницательно и чутко уловлен К. Симоновым. Верность наблюдений подтверждают собственноручные строки письма Федина, которые возникали как раз в один из тех дней. Он записывал их, может быть, где-то на краю стола в редкой уцелевшей хате, прежде чем расположиться спать на полу, или во время недолгих передыхов этого фронтового маршрута у одиноко торчащего стога сена, на заемном офицерском планшете, положенном на колени (в дивизии его уже экипировали по всем правилам).

Письмо от 31 августа 1943 года предназначалось родным.

"Я много видел, а предстоит мне еще больше, — писал Федин. — Проехал всем путем наступления 3-й армии… Последовательно, по возвышающейся степени, возрастали впечатления от Мценска до Карачева. Страшен Орел. При нас еще продолжались взрывы мин замедленного действия — подрывались дома, в которых немцы оставили адские машины перед отходом из города. Из Орла сделана слобода. Города нет. Ни одного большого дома… Но Орел — только преддверие к Карачеву. Этот старый городок исчез навсегда. *Ни одного дома,* ни одного здания, ни одной печи. Из центра ты видишь далекие горизонты полей, во все стороны…

Весь путь — великая пустыня… Почти ни одной деревни. Люди — в землянках, как первобытные. Да и мало людей.

…Тяжкая, но полезная школа… Очень большая картина германской души и германского духа, эта война. Я, вероятно, и напишу больше всего о немцах. Поглядел, нечего сказать…"

Федина, Вс. Иванова и Антокольского направили в расположение 269-й стрелковой дивизии, продолжавшей наступление. Федина встретил редактор дивизионной газеты "За Отчизну" Иван Михайлович Орлов. Ему поручено было принять

гостя. Орлов вспоминает, как загрубелые, отвыкшие от «гражданки» фронтовики с любопытством всматривались в новоприбывших пожилых писателей — "в их полосатые пиджаки, цветистые галстуки, брюки навыпуск". Из обменного пункта обмундирования приезжие вышли "в новеньких красноармейских гимнастерках, пилотках, сапогах и сразу стали похожи на бойцов сверхсрочной службы… У нас остался один Федин".

Брянское направление для поездки на фронт и воинское соединение на нем были избраны Фединым не случайно.

Писателя поглощала мысль об исторических судьбах народа на решающих, переломных этапах жизни страны, на которых сосредоточены романы трилогии. Курско-Орловская битва принадлежала к числу важнейших событий в "биографии народа". Как отметит Федин в очерках "Освобожденная Орловщина", для тех, "…кто всем сердцем прислушивается к движению души солдата Красной Армии, необычайно ценно увидеть людей, добившихся победы в переломной Орловской битве, после которой гитлеровские войска начали свое роковое отступление на Запад". 269-я стрелковая дивизия была сформирована в основном из москвичей-добровольцев и считалась одной из головных в 3-й армии, взявшей Орел.

Из совместных с Фединым выездов на передовые позиции Орлову особенно запомнились "дни посещения… 1022-го стрелкового полка… Полк вел наступление на левом фланге и за одну ночь освободил три населенных пункта западнее Карачева". Писатель был в роте старшего лейтенанта Хмелева, разговаривал со многими солдатами и офицерами. Посетил также 1018-й стрелковый полк, роту лейтенанта Клюева. Был на полковой батарее Мороза, в саперном взводе Кудрявцева.

Вдвоем с пилотом Федин поднимался на стареньком самолете У-2, с мотором-трещоткой и беспрепятственным обзором из открытой кабины, считай, на все шесть сторон, чтобы сверху осмотреть места боев. И снова видел, как он передаст затем ощущение в очерке: "Карачевский лунный ландшафт — тени мертвых кратеров, фурункулы и пузыри извержений", показывающие "не только возросшую злобу, но и прогрессирующую болезнь рассудка нашего врага".

Федин активно помогал новым друзьям из дивизионной газеты. "Мы остро нуждались в его опыте военного журналиста… — пишет Орлов. — Надежды больше чем оправдались. Хотя Федина все время тянуло на передовую… но и для нас выпадали часы, чаще всего ночные: он присутствовал на наших планерках, слушал рассказы вернувшихся с передовой в редакцию работников, был первым читателем газеты и

листовок…"

Выпускать газету, печатать экстренные телеграммы, — напишет затем в очерке Федин, — надо было "в условиях, где небо является крышей, поваленное дерево — корректорской, ноги печатника — типографским двигателем… Сама типография, в кузове грузовика, стояла под придорожной липой, маскируясь от немецких самолетов".

В дни, когда писатель возвращался с передовой, ночлег ему давал редактор в своей палатке. (Тут было "сыро и холодно. На полу лежит добрая охапка овсяной соломы, укрывшись шинелями, мы укладывались спать. Федин долго ворочается…".) Это было явно не на пользу слабым легким писателя. Но бодрого настроения сентябрьские ночевки не снижали."…Я уснул, согретый фронтовым разговором, — читаем в очерке Федина, — а проснулся на рассвете от свежести утренника… Я быстро встал и вышел из палатки. Дорога уходила далеко по отлогим песчаным холмам, и, освещенные в спину с востока, подтягивались на холмы колонны пехоты…

По лесенке я взобрался в типографию. Листовка была готова. Печаталась газета, и мастер, накладывая бумагу, размеренно давил ногою педаль «американки». Сколько раз он сделает это движение за время войны? Это — его марш, неустанный, тяжелый, все преодолевающий поход за победой, в которой он, как всякий солдат, не может ни на минуту отойти от своего оружия".

3-й армией командовал известный генерал Александр Васильевич Горбатов. "Я имел радость его лично знать, встретив на Орловском фронте", — вспоминал Федин. Это был старый коммунист, участник гражданской войны, умный, мыслящий. Духом "суворовско-кутузовской школы" повеяло на писателя и во время встречи с командиром 269-й дивизии Кубасовым и командиром полка Макаровым.

Самые разные люди фронтовой полосы вошли в жизнь писателя… Сержант Аникеев, который, приняв командование остатками роты, успешно завершил наступательную операцию, а затем вдвоем с другом вынес с поля боя тридцать два истекавших кровью товарища; сапер Кудрявцев, редкий мастер по обезвреживанию немецких минных ловушек, который всегда работает "одними руками", без щупа и миноискателя; девушки-воины: медсестры, санитарки, связистки, регулировщицы, — в группе которых фотоаппарат запечатлел Федина.

Писатель беседовал с мирными жителями — и теми, кто возвращался на пепелище, и теми, кому выпало хлебнуть тягот оккупации. В одиночестве бродил по вчерашним фашистским

окопам и блиндажам, перечитывал письма из захваченной немецкой полевой почты, стараясь точнее представить облик современных варваров, которые оставляют после себя зону пустыни…

Возникала картина освобождения исконной Русской земли, ликвидации Орловского плацдарма — "кинжала, направленного в сердце России — Москву". Федин изобразил ее в большом цикле очерков "Несколько населенных пунктов" ("Освобожденная Орловщина"). В журнале «Знамя» очерковый цикл появился в ноябре — декабре 1943 года…

Одной из глубоких, долго кровоточивших ран периода войны оставался блокадный Ленинград.

Для Федина это был не только город друзей, родных, но и город-друг — величайшее создание народного русского гения, его культуры, передовых устремлений и революционных традиций. И та мука и казнь, которую на глазах всех почти два с половиной года терпел и переживал город, сдавленный клещами блокады, осквернённый, изуродованный, где только голодная смерть уносила ежедневно более тысячи человек, страшная эта трагедия постоянно напоминала о себе, не давала покоя. Вместе с тем мужество ленинградцев, их повседневный подвиг, стойкость "вечного, раненого города" (как напишет Федин одному из читателей на обложке первого издания очеркового сборника "Свидание с Ленинградом") изумляли, вселяли гордость. Это был ярчайший пример массового народного героизма.

…Голодной смертью погиб друг юности страстный книжник Николай Коппель… "Дора Серг. получила грустное письмо из Ленинграда, — записывал Федин в мае 1942 года, — мать пишет, что два месяца ничего не имела во рту, кроме кусочка хлеба с чаем. А было это два месяца назад. Что с ней теперь, можно лишь домышлять, и Д.С. весь день плачет…" В июле дошло известие о гибели тещи.

Событием для Федина в те месяцы были встречи е кем-нибудь из знакомых ленинградцев… Писатель А. Дорохов попал в Москву осенью 1942 года из действующей армии, и Федин, находившийся тогда в Москве, затащил его к себе на городскую квартиру."… Дружно уничтожив единственную в доме селедку и несколько вареных картофелин, — вспоминает Дорохов, — мы едва ли не всю ночь беседовали…" Конечно, в сознании Федина нынешняя героическая эпопея Ленинграда глубоким внутренним смыслом связывалась и с той обороной Петрограда от полчищ Юденича, в которой в молодости участвовал и он сам, и А. Дорохов, и Н. Тихонов, и многие другие их сверстники.

18 января 1943 года освобождением Шлиссельбурга

(Петрокрепость) в кольце ленинградской блокады была пробита брешь.

Федин переживал это событие как огромную радость. Его печатный отклик появился два дня спустя в газете «Труд». Статья названа торжественно и в полный голос: "Слава городу Ленина!", а звучит с интимностью личного признания.

"Я услышал эту весть, — пишет Федин, — в доме президента Академии наук Владимира Леонтьевича Комарова.

Позвонил телефон. Женский голос, дрогнув, раздался в коридоре:

— Что?.. Ленинград?.. Блокада?.. Прорвана?!.

Мы стоим, вслушиваясь в едва уловимые звуки, булькающие в телефонной трубке.

Да, да! Все повторено еще и еще раз. Блокада прорвана, путь к любимому городу открыт,

Мы переглядываемся молча. Еще не найдено нужное слово… Ленинград мы носим в себе, как часть нашей души… Какое счастье, что наша культура, наша история, вся наша жизнь обогащена гордым, умным, красивым существованием Ленинграда…"

27 января 1944 года было завершено освобождение Ленинграда от вражеской блокады. 10 марта Федин, приехавший в Ленинград в качестве корреспондента Совинформбюро, в письме к родным делился первыми впечатлениями об увиденном:

"О городе сказать ничего не в силах — это очень тяжело. Как будто тот же и — совсем другой — устрашающе бедный, одинокий, обиженный… Был в Пушкине, в Александровской, в Пулкове. От Пушкина — только одни стены. Он весь без крыш. Учинен кошмарный погром. Дворцы умерли, и трупы их обворованы, раздеты, поруганы.

Парки осквернены порубками. Везде завалы деревьев, мусора, снега. Ни души…

Сотни знакомых объявляются из нор и щелей. Был на Литейном, у Сергеева, у Коппеля, т. е. *ходил по дворам и лестницам.* И это *самое страшное*…

Картину фашистского разора, учиненного городу и его окрестностям, и героизма тех, кто сумел вынести все это и не покориться врагу, жить и сопротивляться, нарисовал Федин в цикле очерков "Свидание с Ленинградом". Писался цикл с яростной стремительностью, был передан "прямо в номер" и опубликован уже в № 4–5 журнала "Новый мир" за 1944 год.

Есть в этом цикле групповые и индивидуальные портреты и картины быта, труда и борьбы города в блокаду, и его нынешний день возрождения ("Ленинградка", "Живые стены", "Во времена

блокады", "Партизаны на Невском проспекте"). Есть и зримо написанный обличительный образ фашистского летчика, одного из тех оккупантов, которые совершали налеты на Ленинград и грабили музейные ценности в Гатчине ("День оккупанта"). А встреча с городом Пушкином (бывшее Детское Село), с Екатерининским дворцом и его Зубовским флигелем, где жил некогда с композитором Г. Поповым, в недалеком соседстве от дружеской компании А.Н. Толстого — В.Я. Шишкова, вылилась у Федина в лирическую новеллу, которая так и названа — "Рассказ о дворце". Об этом очерке, пронизанном, как и весь цикл, высокого гражданской страстью и глубоко личностном, Н. Тихонов написал, что при чтении не покидает чувство постоянного присутствия автора."…Я видел его, — писал Тихонов, — как будто он сидел передо мной, читая его очерк о разрушенном дворце, о сожженных деревьях, об уничтоженном городе Пушкине, видел его гневное лицо…"

"У порога", "Приговор истории", «Вершина» — уже сами названия этих публицистических выступлений Федина января — мая 1945 года говорят об оценках писателем завершающих этапов Отечественной войны… Окончательное освобождение советской земли от немецко-фашистских оккупантов и перенос войны на территорию врага, великая освободительная миссия Красной Армии в Европе… Ялтинская конференция трех союзных держав по антигитлеровской коалиции, определившая условия безоговорочной капитуляции нацистской Германии и основные принципы послевоенного устройства в Европе, ее итоговая декларация, огласившая "приговор истории"… Полный разгром Германии, взятие Берлина советскими войсками и "вершина славы" — День Победы…

Этот день Федин встретил в Москве. Весь город вышел на улицы, от радости обнимались и целовались незнакомые люди… "Гитлеровская Германия не существует… — писал Федин. — Новый Гомер воспоет величие Красной Армии, пронесшей на своих плечах самый тяжелый груз испытаний тогда, когда германская армия... бросала на Советский Союз неисчислимые стада железных чудовищ истребления… Много славных книг будет написано… И самая великая из них запечатлеет на своих страницах наш народ в счастливый день… — в День Победы" ("Вершина", «Известия», 1945, 11 мая).

….С декабря 1945-го по февраль 1946-го Федин наблюдает поверженную Германию. Сначала в Берлине, потом в Нюрнберге, на процессе главных немецких военных преступников. Статус корреспондента газеты «Известия» и неограниченный срок

командировки дают писателю возможность ездить, всюду бывать, все смотреть, встречаться с теми, кого он хотел бы видеть.

Рождество, которое по здешнему обычаю встречают вместо Нового года, он отмечает на квартире своего многолетнего знакомого и друга поэта Иоганнеса Бехера, возглавляющего теперь новое демократическое объединение немецкой культуры и искусства «Культурбунд», Один в компании немцев…

За столом с картофельным салатом и сосисками человек десять. Посреди комнаты — наряженная елка, вырубленная в развороченном снарядными воронками соседнем сквере. На книжном шкафу — пестрая коллекция ватных Дедов Морозов. Радио передает благостные рождественские мелодии и умасливает слух детскими голосами: "Heilige Nacht, stifle Nacht…"[12] Под окнами прохаживается красноармейский патруль, в белых дубленых полушубках, валенках и с воронеными автоматами на груди… Бехер счастлив: это первое рождество, которое он празднует дома, после двенадцати лет изгнания…

С напряженным вниманием вслушивается Федин в застольный диспут, который ведут между собой писатель-реалист Ганс Фаллада и руководитель немецких коммунистов Вильгельм Пик… Они говорят о сегодняшнем позоре и будущем Германии…

Сложные, противоречивые чувства вызывает многое у Федина: перед глазами стоят глубокие раны, нанесенные родной земле… Но история движется… И вчера есть вчера, а завтра есть завтра. Он слушает людей, которые так же, как и он, ненавидят фашизм, видит перед собой немцев-единомышленников, немцев-друзей…

Пройдет четыре года, и Вильгельм Пик станет первым президентом Германской Демократической Республики, социалистического государства на немецкой земле… Федина впоследствии изберут председателем правления Общества дружбы СССР — ГДР. Тринадцать лет кряду деятельно станет он исполнять эти обязанности, приезжать сюда вновь и вновь…

"Я встречал Вильгельма Пика раньше, встречал и позже, — вспоминал Федин. — Но эта рождественская ночь в Берлине, кажется, самой судьбой выдалась мне, чтобы я увидел его с такой разносторонней полнотой как личность — человека, революционера, политика…

Нервический, болезненно-нетерпеливый Ганс Фаллада говорил обрывисто, внезапно задавая вопросы…

— Простые немцы должны знать: что же дальше?.. Обыкновенный немец видит, что опять началось соревнование газет, война слов! Ему ничего не дается положительного. Он ждет положительного, больше ничего!

— Обыкновенный немец — это народ. Народ не должен ждать, чтобы ему кто-то что-то дал. Только он сам, немецкий народ, во главе с рабочим классом, может себе что-то дать. Это «что-то» — его демократия, то есть социализм.

В конце концов писатель Фаллада не мог не сказать того, без чего не обходился никогда спор писателя с политиком:

— …Дело политика — подчинять себе действительность, а дело художника — показывать, какова она есть!

Вильгельм Пик вдруг с мягкой улыбкой покачал головой:

— Не спорю, это так. Но неужели писателю безразлично, какую действительность он показывает? И если политик подчинит себе действительность, чтобы сделать ее прекрасной, неужели писателю не будет более приятно показывать действительность прекрасную, чем мерзкую и преступную, а?

Я не забуду этой встречи и этой ночи, когда у Иоганнеса Бехера я увидел так близко и почувствовал так тепло Вильгельма Пика…"

…В берлинском районе Карлсхорст, где размещается теперь Главная советская военная администрация, Федин три часа беседует с маршалом Г.К. Жуковым в его кабинете. Тогдашняя запись в дневнике: "…Рассказ Жукова о своей жизни, импровизированная автобиография, тридцатилетний путь от солдата до маршала… История обучения скорняжному ремеслу, у дяди в Москве (все очень близко к горьковскому детству); история Халхин-Гола и оценка японской армии, эпизоды обороны Москвы… и особенно Ленинграда…

Я хочу попробовать написать нечто вроде портрета-биографии… Впечатление у меня такое после этой встречи, что фигура Жукова будет привлекать к себе внимание историка и художника не меньше, чем военного специалиста: благодарная, яркая личность с чрезвычайно индивидуальными особенностями и одновременно удивительно русская, соединяющая в себе судьбы современных революционных характеров с судьбой национальной" (2? декабря 1945 г.).

…Нюрнберг был сильно разрушен. Но неподалеку от центра города, словно намеренно для такого случая, война пощадила старинный Дворец правосудия. Яростные бомбежки и обстрелы наступавших американских войск чудом его почти не коснулись. Дворец правосудия, составлявший гордость баварских королей, вместе с находившейся на задворках внутренней тюрьмой, занимал целый квартал, но только стены его были изъедены оспинами бомбовых осколков и пуль, а сам дворец сохранял независимо-уверенный вид среди соседних руин и груд щебня. Здание было огромным, в несколько этажей, и в то же время из-за

размеров своих как будто приземистым, с красным треугольником черепичной крыши, с аллегорическими древними гербами, лепными фигурами мудрецов, князей, крестьян и ремесленников по верхнему фронтону, сложенное из кирпичей розового песчаника, такого, каким был прежде почти весь розовый, теплый и чуть самодовольный, Нюрнберг…

Да, Федин хорошо знал, помнил это здание еще с тех времен, когда 22-летним юношей жил в Нюрнберге. Какое странное стечение обстоятельств! Здесь его застало начало первой мировой войны, столь желанной для германского империализма и предтеч немецкого фашизма, и здесь теперь держат ответ главные преступники второй мировой войны. Вот и это конечные результаты их бредовых планов — розовые городские руины… "В Нюрнберге в куче щебня уцелела сводчатая дверь, из которой я бежал, надеясь покинуть Германию в 1914 году, — вспоминал Федин. — Отсюда началось мое познание Запада. Здесь я сейчас лицезрел плоды "европейской мудрости". С юных лет слышал я вопли о «спасении» Европы. Семь недель кряду смотрел на нюрнбергский паноптикум новейших и самых радикальных «спасителей» Европы, и то, что говорил международный трибунал об этих духах подземелья за барьером скамьи подсудимых, вселяло в меня некоторую надежду, что, может быть, Европа и правда будет спасена".

Нюрнберг был городом съездов нацистской партии. Здесь проходили многотысячные факельные шествия, отсюда с переполненных стадионов неслись кичливые крики Гитлера и его приспешников о мировом господстве. И Нюрнбергу, по замыслу устроителей суда народов, предназначалось стать могилой германского нацизма.

Ярко, почти скульптурно вылеплены в очерках Федина мрачные фигуры обвиняемых на процессе. Уловлены характеры, передана индивидуальная реакция каждого во время слушания дел. Чиновные убийцы, палачи, мелкие людишки и разбойники международного масштаба — Геринг, Гесс, Розенберг, Кейтель, Франк, Шпеер, Зейс-Инкварт… ("Развеянный дым"). Гитлеровские гросс-адмиралы — пираты Редер и Дениц ("На разбитом баркасе") …

В цикле очерков "На Нюрнбергском процессе" им противостоят люди иного склада, иной души, других характеров. Это — антифашисты, уцелевшие жертвы, несломленные борцы. Свидетели обвинения. Они представляют не только себя, но и миллионы убитых и замученных, их голосом говорят страны, страдания народов. Ярко нарисованы портреты узников концлагерей Маутхаузена и Освенцима, дающих показания в суде

— француженки Мари Клод Вайян-Кутюрье, ее соотечественника Мориса Лампа, норвежца Капелана, испанского республиканца Буа… ("С высоты последней ступени").

Наряду со многими томами документов на суде демонстрировались вещественные доказательства чудовищных преступлений. С корреспондентских мест, где советскую прессу в числе других представляли также Б. Полевой и Вс. Вишневский, Федин смотрел диапозитивы и ленты о фашистской «индустрии» массового уничтожения — о душегубках, газовых камерах, километровых рвах, наполненных телами расстрелянных, о действовавших в нацистских концлагерях мастерских для промышленной утилизации тел умерщвленных… Обвинение показывало абажуры, дамские сумочки, изготовленные из человеческой кожи, мыло, сваренное из человеческого жира.

На Нюрнбергском процессе Федин собственными глазами как бы дочитывал эпилог того долгого исторического противоборства, которое вел советский народ и все прогрессивное человечество с коричневой чумой фашизма. Еще раз публицистически осмысливал значение той победы, которая была достигнута в Великой Отечественной войне.

За долгие и тяжелые недели процесса в Нюрнберге, которые с утра до вечера почти каждый день проходили во Дворце правосудия, Федин обрел новых друзей. Он сблизился с корреспондентом «Правды» Борисом Полевым, уже начавшим работать над "Повестью о настоящем человеке", и с известным украинским писателем Юрием Яновским, автором яркой романтической повести о гражданской войне «Всадники», писавшим для одной из украинских газет. Среди корреспондентского корпуса, представлявшего советскую прессу, Федин привлекал внимание не только мастерскими публикациями из зала суда. Б. Полевой вспоминает, как читался в Нюрнберге в свободное от заседаний время роман "Города и годы".

Началось с прогулки, при которой Федин показал двум-трем коллегам ту самую "сводчатую дверь" среди руин, откуда он бежал в 1914 году. "Я знал, конечно, фединскую биографию, — рассказывает Б. Полевой, — И вдруг ясно вспомнилась давно уже читанная книга "Города и годы"… Возник перед глазами… Курт Ван… Андрей Старцов и, конечно же, с особой четкостью… обер-лейтенант фон дур Мюллен-Шенау… Вспомнилось высокомерное выражение его тонких жестких губ, вспомнились е(го рассуждения о приоритете северной расы над всеми расами мира, его надменные речи, его бредовые мечты.

Здесь, в Нюрнберге, который… был колыбелью нацизма…

именно здесь, на месте описанных событий, эта оригинальная фигура литературного героя вспомнилась с особой четкостью… И тут, у старых ворот, которые никуда не вели, я как-то новыми глазами увидел… Федина…

…Мне… очень захотелось перечитать "Города и годы". Но где их достанешь?.. Послал в Москву жене телеграмму. Она взяла эту книгу в библиотеке «Правды» и прислала ближайшим самолетом. Перечитал. Еще раз поразился точности творческого предвидения. Потом книга эта, которую большинство из нас, конечно, знало и раньше, пошла по рукам. Ее перечитывали, взвешивая, так сказать, в свете Нюрнбергского процесса… Из журналистских рук книга перекочевала к юристам… Это качество литературы Всеволод Вишневский… обожавший военную терминологию, определил словом: дальнобойность".

"…Как сложна сейчас жизнь души! — писал Федин Мартьяновой *iO* августа 1942 года. — Если бы весь этот дымовой клуб воспоминаний, тоски, грусти, возмущения, мечты о работе и любви к людям, отвращения к ним и веры в них — если бы этот клуб пропустить через книгу — какая это была бы страшная книга! Очень хочется, сверхпрофессионально хочется писать…" И дальше в этой исповеди чувств перед своим "идеальным читателем" — а письма к В.И. Мартьяновой военных лет отличаются особой литературной «программностью» — Федин выделяет главное в ближайших планах:

"Представьте, сначала это будет продолжение «Горького». Потом — м.б. — тот роман, к[ото]рый начат и брошен, — о росте девушки, девочки, женщины, о славе и борьбе, о сугубом саратовском быте… и о… месте искусства в жизни…"

Советская литература в годы битвы с фашизмом не только воплощает героику настоящего, но и стремится исследовать истоки подвигов народа в Отечественной войне. Важная роль в этом отношении принадлежит историческому роману и родственным ему документально-художественным жанрам.

Прошлое советских народов, героика их борьбы за свободу и независимость, против поработителей и иноземных захватчиков, за лучшее будущее, дают неисчерпаемый материал искусству для притягательных и вдохновляющих образов. Лики Александра Невского, Кутузова, Суворова, Нахимова недаром отчеканены на боевых орденах, утвержденных в годы войны для отличившихся на поле брани, — в своей героической истории сражающийся народ черпает новые силы.

В годы войны А. Толстой трудится над третьей книгой романа "Петр Первый", где изображается борьба со шведской

интервенцией. Преодолевая смертельный недуг, Ю. Тынянов пытается завершить роман «Пушкин». Над эпопеей "Емельян Пугачев" работает Вяч. Шишков. Появляются романы «Багратион» С. Голубова, «Батый» В. Яна, «Порт-Артур» А. Степанова, "Георгий Саакадзе" А. Антоновской, "Михайловский замок" О. Форш…

"Испытание чувств" — так была названа в окончательной редакции пьеса «Испытание». И название это емко выражает смысловой ряд многих других произведений Федина периода войны.

Долг перед народом, перед Отечеством, перед делом революции — главное мерило поведения личности в пору исторических испытаний. Таков пафос не только публицистики, рассказов и очерковых циклов Федина. В полной мере эта мысль звучит и в тех крупных полотнах, которые были задуманы раньше, тематически обращены к прошлому и продолжены теперь.

Утверждая те же самые гуманистические и революционные идеалы, строй чувств и мыслей, тип отношения к миру, писатель прослеживает историю характеров и истоки идей, которые подверглись теперь жестокой проверке в горниле борьбы с фашизмом.

Имея в виду два главных замысла ("Шествие актеров" и "Горький"), Федин в те же самые летние месяцы 1942 года писал В.И. Мартьяновой: "…Моя мечта — опять… писать. М. б., роман, в большом, широком плане, об *истоках наших чувств, которые позже подверглись испытаниям…* Хочется и о Горьком… Вот было бы чудно!" (Выделено мной. — *Ю.О.)*

Неотложная теперешняя обязанность писателей, полагает Федин, — объяснить "своими пластическими образами русскую жизнь во всей ее широте, которой исторически порожден советский человек, наш современник". Характерно, что мысль эта неизменно прослеживается в литературно-критических выступлениях Федина.

Именно такими достоинствами привлекает его эпопея А. Толстого "Хождение по мукам", когда в марте 1943 года Федин публикует две статьи в связи с присуждением книге Государственной премии; с помощью этого мерила выделяет он принципиально новые черты советской исторической прозы, представленной именами Чапыгина, Форш, Тынянова, Новикова-Прибоя (портретные очерки "Юрий Тынянов", 1943 и «Новиков-Прибой», 1944); такой взгляд ощутим и при оценке явлений театральной сцены, вроде спектакля МХАТа 1943 года "Последние дни Пушкина"…

Как критик Федин во многом высказывает то, что занимает и

волнует его как художника, автора книги "Горький среди нас" и романов трилогии — произведений, над которыми он работает в это время…

ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ

…В 1943 и 1944 годах в Гослитиздате двумя пузатыми томиками карманного формата, рассчитанного на массовое чтение, вышла сначала первая, затем вторая часть книги "Горький среди нас". Обе вместе они представляли период с 1920 по 1928 год, а вся книга должна была охватывать события за шестнадцать лет, когда Федин знал Горького и наблюдал его в центре общественно-литературной среды, в повседневных трудах и заботах по строительству советской культуры.

Автор намеревался последовательно обрисовать все важнейшие моменты своих отношений с Горьким — от первой встречи и беседы с ним в издательстве Гржебина до последнего февральского письма 1936 года, содержащего совет быстрее уезжать из Ленинграда, и включая июньские дни прощания в Колонном зале, когда перед лицом страны довелось говорить речь у гроба учителя. Словом, книга обращена была к основным событиям отношений обоих писателей, которые составили важнейшие стороны житейской, творческой и духовной биографии Федина, связанной с Горьким. В качестве документальной основы воспроизводились выдержки из двусторонней переписки.

В книге обрисован Петроград первых лет Советской власти, среда революционной художественной интеллигенции Дома искусств и литературная молодежь, в кругу которой проходило идейно-творческое формирование автора. "Поэтому я находил целесообразным, — пояснял Федин, — ввести в книгу портреты Всеволода Иванова, Николая Тихонова, Михаила Зощенко и других своих товарищей". Наконец, выведены в книге и представители буржуазной художественной интеллигенции — «антиподы» и «противоположности» Горького, группировавшиеся в основном вокруг претенциозного Дома литераторов.

В центре повествования — Горький и другие "фигуры положительного влияния", в том числе Александр Блок и Ромен Роллан. Автор не стремился привлекать дополнительные книжные источники. Он писал только о том, что сам видел и пережил. Но зато своеобразным был жанр книги. "Я хочу показать все это в свободной форме, сочетающей портрет с рассказом, воспоминания с критическим очерком, биографию с документом", — передавал свой замысел Федин.

Такова была эта автобиографическая и мемуарная книга, обращенная к явлениям новейшей истории советской культуры. Смысл и цель повествования, по слову Федина, состояли в том,

чтобы, попытавшись широко запечатлеть характер главного героя, изображая его деятельность по собиранию сил новой советской литературы, "на примерах показывать ту высокую, живую правоту Горького, которую можно назвать исторической".

Яркий, живой и многогранный образ Горького составляет главную художественную удачу автора. Федин хорошо передает глубоко народные начала в личности и облике Горького, его страстную натуру, кипучую революционную энергию, богатство и мощь духа, широту и разнообразие обуревающих его идей, жадный, неутолимый интерес к людям. Горький обладает способностью как магнит стягивать к себе все истинно талантливое, молодое, проникнутое энтузиазмом строительства новой жизни. Он — собиратель, «ищун», как назвал это свойство Федин. Великое и простое сочетаются в его облике. Он — великий художник, мыслитель, общественный деятель и новый человек, который "обладал исторической перспективой, был носителем новой морали". Одна из самооценок, которую дает себе Горький, как бы само собой подразумевается: "Я привык смотреть на литературу как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой…"

Основу художественного портрета Горького составляют, пожалуй, Два взаимодополняющих начала. Он в равной мере — патриот и революционер. Сочетание таких черт в духовном облике Горького особенно дорого автору книги. Образ Горького действительно многосторонне и крупно воплощает "истоки наших чувств", которые подверглись испытаниям в борьбе с фашизмом.

Единство революционного и национально-патриотического начал — мысль, художественно выраженная еще в романе «Братья», получает дальнейшее развитие у Фёдина, теперь уже в крупных фигурах положительных героев.

Максим Горький — художник, строитель советской культуры и человек — счастливо и наиболее полно сочетает в себе оба качества., Точно так же, добавим, как соединение "судьбы современных революционных характеров с судьбой национальной", согласно записи в дневнике с набросками одноименного очерка, Федин увлеченно распознает, например, в личности полководца Г.К. Жукова (очерк "Маршал Жуков", 1945).

Революционность Горького — это и есть высший патриотизм. В главном и решающем деятельность великого пролетарского гуманиста по собиранию сил новой советской литературы отвечает линии партии в области культуры. Недаром важнейшим эпизодом книги являются те страницы, где Горький выведен рядом с Лениным после окончания Второго конгресса Коминтерна. "Я увидел на лице Горького новые черты, — пишет

Федин, — каких не помнил из прежних встреч. Он был, наверно, до глубины взволнован и преодолевал волнение, и это сделало его взгляд жестким, всегда живые складки щек — неподвижными. Он показался мне очень властным, и все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвенела в речи Ленина и которой дышал весь конгресс.

Стиснутый толпой, глядя через плечи и головы людей, я изо всех сил старался не пропустить какого-нибудь движения этих двух человек, стоявших рядом, — Ленина и Горького. И мне казалось: все лучшее, что я когда-нибудь думал о Горьком, воплощено в нем в этот миг, в этой близости к Ленину — к высшему осмыслению всего происходившего в мире".

Благодаря силе и художественной красочности изображения главного героя книга Федина занимает особое место в поистине необозримой мемуаристике о Горьком. Общественно-литературное ее звучание широко. В документально-мемуарном жанре она стала одним из образцов лепки масштабного характера, находящегося в центре событий, и тонкого проникновения в мир людей искусства, изображения гражданского и духовного развития и мужания художника…

Вместе с тем книга "Горький среди нас" не лишена недостатков, признанных и самим автором. В обилии воспроизводя разнообразные высказывания Горького, Федин не всегда отмечает противоречия, свойственные подчас позиции великого писателя в 20-е годы. При изображении литературной атмосферы времени и истолкованиях некоторых литературно-художественных явлений Федин также не всегда отчетливо корректирует прежние свои, порою незрелые общественно-эстетические восприятия молодых лет нынешними ясными, четкими, определившимися оценками, в результате чего на иные фигуры, весьма двойственные или даже отрицательные, по замыслу, ложится невольный отсвет идеализации. Это касается и некоторых черт в литературных портретах представителей старой буржуазной интеллигенции (Ремизов, Аким Волынский, Сологуб), и того, как преподносятся порой собственные идейно-эстетические заблуждения автора и его коллег по кружку "серапионов"."…Я остался слишком беллетристом, художником в книге, преимущественно публицистичной, — обобщал позже Федин. — Публицистика требует точных формулировок и ясной обдуманности оценок. У меня этого не обнаружилось, где особенно нужно".

Первая часть книги, охватывавшая 1920–1921 годы, где повествование только начало развертываться, вызвала восторженные оценки критики. "В мастерском описании

Константина Федина перед нами возникает фигура А.М. Горького как живая, — писал, например, один из критиков. — …Кажется, нельзя в этих описаниях ни одного слова ни прибавить, ни убавить. Рисунок филигранной работы радует сердце. Новая книжка Федина родит поэтому чувство благодарности к автору".

Иной оборот приняли события, когда вышла вторая часть, обращенная к гораздо более широкому периоду и сложным общественно-литературным проблемам. И хотя образ главного героя книги не только не потускнел, а предстал во всей своей могучей полноте, упоминавшиеся реальные недостатки книги вызвали резкую и огульную критику в печати и на писательских собраниях, перечеркивавшую всю книгу. "Ложная мораль и искаженная перспектива", "Вопреки истории" — так назывались статьи лета 1944 года.

Федин болезненно переживал несправедливо обрушившиеся нападки. Он прервал работу над третьей частью. Попытки вернуться к завершению замысла книги в последующие десятилетия, когда силы художника поглощали произведения трилогии, результата не дали. Из третьей части написанными остались лишь отдельные очерки — "Дни прощания", "Егор Булычев" и "У Ромена Роллана"…

Появление весной — осенью 1945 года романа "Первые радости", где были созданы яркие образы большевиков — Извекова и Рагозина, подорвало критические домыслы, бросавшие тень на общественную репутацию писателя. Но история эта навсегда сделала Федина особенно чутким к несправедливым литературным обидам, отзывчивым к чужой боли.

…Обращаясь к советскому историческому роману в новогодней статье 1945 года и не упоминая себя, Федин выдвигал задачу создания произведений, находящихся как бы "на стыке" между исторической и современной прозой. В отличие от собственно исторического романа это произведения о недавнем прошлом. По возрасту герои таких книг — отцы бойцов и командиров, которые сражаются сейчас на фронте. У этих произведений есть свой предмет изображения и своя задача. Они должны художественно исследовать и объяснить тот недавний период русской жизни, которым "исторически порожден советский человек — наш современник"; "вся сложность прошлой жизни… отложилась в сознании современного человека, и это должно стать предметом изображения". "Хотелось бы, — заключал Федин, — читать книги о наших отцах и детях, завязывающих в один узел поколения революции и Отечественной войны".

Именно такими особенностями отмечен цикл романов, над

которым уже активно работал Федин.

Художник накопил к тому времени огромный опыт переживаний истории. Не говоря уже о прочем, Федин пережил две революции и три больших войны, две из них мировые. Решающее значение в истории страны Федин отводил при этом двум событиям — Октябрьской революции и Великой Отечественной войне.

Коренной перелом в ходе войны произошел зимой 1943 года, в результате битвы под Сталинградом. И именно в начале 1943 года, если обратиться теперь к замыслу "Шествия актеров", к идейному смыслу последующей трилогии, Федин "увидел весь роман другими глазами".

Конечно, трилогия Федина, "главная книга", как ее иногда условно называл писатель (рассчитывая на понимание, что для истинного художника каждая значительная книга — главная), три этих романа вызваны всем духовным опытом автора, всем, что было ранее испытано, увидено и пережито. Но событиям Великой Отечественной войны, тому, что было воспринято и понято тог да, принадлежит особая роль в духовном созревании, в побудительных мотивах появления на свет романов трилогии.

В первоначальном замысле произошли глубинные перемены.

На передний план выдвинулась теперь тема истории, изображение потока общенародной жизни. Проблемы искусства обратились лишь в один из художественных мотивов. Пафосом эпического повествования стало изображение главных деятелей новейшей истории — героев современности, борцов за народное счастье, строителей нового мира. "Тема истории, — пояснял автор, — выдвинувшись как главная, расставила по новым местам героев, перераспределила их вес и показала, кому быть в центре. Она поставила впереди других героев людей, содержанием жизни которых было будущее нашей страны, была борьба за революцию".

"Обращение к чисто русскому материалу, — обобщал Федин в автобиографии, — после того, как все прежние мои романы были, больше или меньше, связаны с темой Запада, явилось не только давно созревшим сильным желанием, но было выражением моих поисков большого Современного героя. КогДа войной решалась судьба родной страны, еще крепче, чем прежде, упрочилось убеждение, что будущее русской жизни нераздельно с советским строем и что истинно большим героем современности должен и может быть признан коммунист, деятельная воля которого однозначна Победе".

Название "Шествие актеров" отпало вместе с двумя десятками других вариантов названий. За последующие шесть лет, пока шла

работа над двумя первыми романами, не раз менялись авторские представления о конструкции вещи. О том, чтобы уложиться в одну книгу, теперь не могло быть речи. Писателю то виделась дилогия, то он отдавал предпочтение трилогии. Во всяком случае, четкие очертания двух романов уже были ясны. Имелись для них и названия — "Первые радости" и "Необыкновенное лето"…

…За первое полугодие 1945 года советская литература потеряла пять крупных писателей. Люди, стойко продержавшиеся военное лихолетье, словно уверившись в необратимом повороте событий, зачуяв первые расслабляющие ветры, начали уходить один за другим. Скончались Д. Бедный, К.А, Тренев, В.В. Вересаев… Им предшествовали еще две смерти, особенно чувствительные, для Федина.

О подробностях тяжелой болезни Алексея Николаевича Толстого в декабре 1944 года Шишков узнал от Федина. Во всяком случае, в письме своему другу, ленинградскому литературоведу Л.Р. Когану, В.Я. Шишков, в ту пору редко отлучавшийся из дому, сразу же вслед за рассказом об этой болезни приводит новости из семейной жизни Федина, возможно, только что его навестившего. Он упоминает, что "Ниночка Федина — артистка, кончила театральные курсы при МХАТе и уехала в Таганрог", а "Костя пишет чудесную повесть".

"…Алексей Николаевич, — сообщал Шишков 2 декабря, — этот обаятельный и человек, и писатель болен. У него что-то нехорошее с легкими. Но путем никто ничего не знает. Он у себя в Барвихе, под Москвой, к нему никого не допускают. Я тоже не видел его с лета. Он, говорят, приезжал посмотреть свою пьесу (театральную постановку "Иван Грозный". — *Ю.О.),* но ему стало опять плохо…"

Алексей Николаевич умер 23 февраля 1945 года, в возрасте 62 лет, в Барвихе, от рака легких.

Федин находился в этот момент в Подмосковье, работая над романом "Первые радости". Гроб с телом А.Н. Толстого был установлен для всенародного прощания в Колонном зале Дома союзов. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище 26 февраля. Федин сообщал близкому своему другу О.В. Михайловой: "…Вчера поехал в город — проститься с Толстым — и вынес его на «машину»… Это не то что «глава» из моей жизни, а целый том. Я с ним дружил, ссорился, приятельствовал, собутыльничал, расходился и мирился на протяжении более чем двадцати лет. И вот все".

Неожиданная и быстротечная болезнь А.Н. Толстого, о действительном характере которой долго ничего не было

известно, имела отношение и к работе над романом "Первые радости". В фигуре драматурга Пастухова обобщались многие наблюдения из жизни людей искусства, включая самоощущения автора.

26 февраля Федин писал Мартьяновой: "23-го сочинял главу о Пастухове (помните, драматург) и думал весь вечер о Толстом. Потом всю ночь видел его во сне, смешно и бестолково. А утром узнал, что в эти часы он был уже мертв… Мне вчера показалось, что выпал камень из кольца, в котором я жил много лет и от которого остаются уже только обломки. Ведь меня связывало с Толстым более двадцати лет самых разнокрасочных… Почтя все оттенки чувств слились в какое-то чувственное обожание мною его художнического дара. Это не значит, что я относился к его писаниям безразборчиво — они были чересчур неодинаковы…"

Вызвать восторг и поклонение у Федина было непросто. Но А. Толстой стоял для него особняком среди литературных современников. Очерк "Он будет жить", написанный Фединым для газеты под свежим впечатлением утраты, выделяет главные черты в облике А.Н. Толстого. По силе, красочности описаний и точности оценок эта очерково-критическая миниатюра является одной из лучших в обширной галерее портретных характеристик писателя.

Толстой в изображении Федина — это художник-патриот, крепко связанный со своим народом. Именно это знание истории народа, его культуры — источник оптимизма Толстого. Федин вспоминает о своих разговорах с ним осенью 1941 года, во время немецких бомбежек Москвы. В самые тяжелые дни Толстой верит в "величие советской исторической стратегии и ожесточение народа".

"Уверенность свою в победе и какой-то особый, толстовский оптимизм, — пишет Федин, — он черпал в знании народа и его истории. Пожалуй, именно история упрочила, установила господство положительных, оптимистических прогнозов во всей его военной публицистике, что совершенно естественно отвечало его природной радости жизни".

Будучи продолжателем традиций русской классики XIX века, Толстой в таких своих созданиях, как "Петр Первый", "Хождение по мукам", воплотил лучшие черты литературы советской. Есть гармония между тем, что писал Толстой, и как жил этот "художник весенней жизнерадостности". "С кем только не сталкивался, не общался, не дружил Толстой, утоляя свою жажду к человеку?.. — писал Федин. — И кто не испытывал удовольствия от освежающих, насыщенных остроумием встреч с Толстым? Крупнейшие советские политики и писатели,

прославленные авиаторы и ученые, бойцы и генералы Красной Армии, художники, актеры…"

Тогдашние студенты Литературного института, которые были на похоронах Толстого и, проходя Колонным залом, видели своего преподавателя стоящим в почетном карауле, вспоминают, как, придавленный горем, неузнаваемо померк, согнулся, постарел Федин.

Одиннадцать дней только прошло… 6 марта от разрыва сердца умер Вячеслав Яковлевич Шишков.

Потеря таких друзей враз — это было слишком много для одного человека… Знакомые видели безмерную усталость на лице Федина.

Живой Шишков встает из статьи Федина, написанной в те дни для "Литературной газеты". Сознательно стремился к этому автор или нет, но только перед нами вновь образец героя-современника, пример жизни писателя-гражданина: "…Рукопись «Пугачева» лежит развернутая на столе, от которого Вячеслав Шишков только что оторвался. Два-три письма — ответы читателям, еще не отправленные, — лежат рядом. Жизнь оборвалась так, как обрывается с дерева лист — внезапно, легко и невозвратно… Мы видим его все таким же красивым, каким он нам всегда казался.

Это был человек любви, человек сердца, человек нежной души. Вряд ли у другого нашего современника-писателя найдется столько преданных друзей, сколько оставил сейчас на земле Вячеслав Яковлевич Шишков… На своей груди Шишков уносит не только ордена за заслуги в писательском труде. Он уносит еще зеленую ленту медали "За оборону Ленинграда". Он отдал Ленинграду четверть века жизни, и он пребывал его верным сыном в самый тяжкий час испытаний, когда враг бил в ворота великого города… Он сделал в этот час все, что может сделать писатель и гражданин".

Боль и горечь потерь умеривало только то, что в последние месяцы самозабвенно и азартно писалось. Вдруг будто распахнулись все окна в долго дремавший мир "Шествия актеров". Мир этот очнулся, задвигался, ожил. В нем затевалось и происходило такое, что властно влекло к себе, чему ты безраздельно принадлежал, что одаривало за это ясностью и гармонией. Голова была полна лиц, красок, событий, картин. Долгожданное шествие развертывалось, шествие началось!

1943–1948 годы-время напряженной, стремительной: работы над "Первыми радостями" и "Необыкновенным летом".

…К середине августа 1945 года первый роман был завершен. В сентябрьском номере журнал "Новый мир", который помещал

роман начиная с № 4, напечатал заключительные главы. "Да, работа кончена, и теперь, подходя к столу, я чувствую некоторую пустоту в руках, — сообщал Федин Мартьяновой, — кажется, что я что-то потерял, утратил. Кажется, что надо немедленно продолжать почему-то остановившуюся мысль. Да ведь и правда: это сделано только начало!"

Уже в октябре, находясь с женой на отдыхе на Черноморском побережье Кавказа, в Адлере, Федин приступил ко второй книге — "Необыкновенное лето".

Слишком долго складывался, внутренне осматривался, вынянчивался замысел! Увлечение писанием было настолько сильным, что о прерванном романе Федин тоскует в любой свободный час, даже находясь в Германии, захваченный другими делами и переживаниями.

"Первые радости" уже начали независимую жизнь, успев за какие-нибудь три месяца после выхода сентябрьского номера "Нового мира" даже перешагнуть через океан, а этот роман просился на бумагу…

Первые послевоенные годы насыщены бурными переменами в мире. "У порога второй половины века мир неузнаваемо переменился. Земля переменилась", — передавал эти ощущения Федин.

Безвозвратно ушло в прошлое время, когда Советский Союз был единственной страной победившего социализма, охваченной кольцом государств с иным, враждебным ему общественно-экономическим строем. В результате разгрома германского фашизма и японского милитаризма, успехов освободительной миссии Советской Армии и революционной борьбы трудящихся стран Европы и Азии начала образовываться мировая система социализма, внутри которой складывается и формируется новый тип межгосударственных экономических, политических и культурных отношений, основанных на принципах пролетарского интернационализма, идейного единства, братского сотрудничества и взаимопомощи. "Они буйно растут, эти силы, — писал в «Правде» Федин, — они организуются к охране и действенной защите своих идеалов… Образовалось могучее единство народов, независимость которых обеспечила свободное проявление их воли к мирному развитию" ("Факты истории", «Правда», 1951, 1 января).

С этими необратимыми переменами не хотели смиряться влиятельные круги империалистических государств во главе с США. В 1946 году Черчилль произнес свою печально известную поджигательскую речь в Фултоне, провозгласившую идеи

"холодной войны". В 1949 году возник агрессивный военный блок НАТО. Империалисты все чаще прибегали к открытым военным авантюрам — в Греции, в Корее, во Вьетнаме и т. д.

Над человечеством нависла угроза новой мировой войны, еще более ужасной. При наличии новых видов оружия массового уничтожения такая война легко обратилась бы в ядерную. Остановить грозную опасность для жизни на Земле могли только сплоченные усилия миролюбивых государств, всех людей доброй воли.

Всемирному движению сторонников мира, возникшему в 1949 году, укреплению дружбы и сотрудничества между народами Федин отдает много сил. Писатель представляет Советскую страну на многих форумах деятелей зарубежной культуры. Он — делегат и участник многих всесоюзных и международных конференций, конгрессов и ассамблей мира. Он ведет диалог с зарубежной интеллигенцией, с самыми широкими слоями общественности. "Вместе со многими моими товарищами по литературе, а иногда и в одиночестве, — отмечал Федин в «Автобиографии» (1957), — мне довелось снова и не раз побывать за границей. Я увидел бурно растущий мир освобожденных от капитализма народов… Я посетил начиная с 1950 года страны, которых в прошлом не знал, — Чехословакию, Румынию, Венгрию, Англию с Шотландией, Бельгию, Финляндию, был и в таких, которые… были мне известны по давним временам, — Италии, Германии, Австрии, Польше".

Никогда до этого международная общественная деятельность писателя не была столь обширной и напряженной, как в послевоенный период, и в особенности с 1950 года, когда в ответ на резкое обострение международной обстановки активизировало свою деятельность всемирное движение сторонников мира. В печати регулярно публикуются статьи Федиua, посвященные самой животрепещущей теме современности — сохранению мира на Земле. Некоторые из них являются откликами на происходящие события — «Весна» ("Известия", 1946, 30 апреля), "Интеллигенция в борьбе за мир" ("Литературная газета", 1949, 20 апреля), "Во имя счастья народов" ("Правда", 1950, 4 августа)… Другие представляют собой тексты выступлений на форумах, посвященных борьбе за мир и сотрудничество народов, или же обобщают впечатления от этих встреч… Вот только выборочный календарь международной общественной деятельности Федина за 1950–1952 годы.

1950. Июль — речь на Втором конгрессе писателей ГДР в Берлине и поездка по стране с выступлениями в

связи с пятилетием создания Союза немецкой демократической интеллигенции — Культурбунда.

Октябрь — ноябрь — Бухарест, Неделя румынско-советской дружбы.

Ноябрь — Прага, Варшава, участие в работе Всемирного конгресса сторонников мира.

1951. Апрель — май — Будапешт, речь на Первом съезде венгерских писателей.

Октябрь — ноябрь — Вена, Неделя австрийско-советской дружбы.

1952. Апрель — Вена, Конгресс в защиту детей. Ноябрь — декабрь — поездка вместе с К. Симоновым в Англию и Шотландию с выступлениями по стране в защиту мира.

Декабрь — Вена, Конгресс народов в защиту мира.

Борьба против военной опасности сливалась для Федина в одно целое с разоблачением реакции, с защитой культуры от мракобесия, с утверждением идеалов прогресса и гуманизма, с борьбой за освобождение и счастье народов. В этом смысле литераторы социалистических стран и все прогрессивные писатели мира, как он неоднократно подчеркивал, являются прямыми наследниками и продолжателями традиций таких страстных борцов за мир, как Максим Горький и Ромен Роллан… "Я бы сказал так: если бы меня лишили права писать о мире, я перестал бы быть писателем и стал бы несчастнейшим человеком!" — заявил Федин с трибуны Второго конгресса писателей ГДР.

Свои статьи, очерки и выступления, накопившиеся за первый послевоенный период, писатель объединил в цикл "В защиту мира". Этот публицистический цикл — прямой литературный вклад Федина в самое представительное общественное движение современности.

…В тяжелых условиях обострившейся международной обстановки советский народ поднимал из руин и отстраивал заново города и села, восстанавливал и развивал разрушенное войной народное хозяйство. Темпы трудовых свершений были поразительными. Уже в 1948 году советская промышленность, вернувшаяся к выпуску мирной продукции, производила столько же, сколько до воины. На территории страны росли новые гигантские стройки — огромные гидростанции, каналы, которые раньше казались несбыточной мечтой. Заботясь о гармоническом развитии экономики во всех республиках и географических зонах, Советское государство улучшало размещение производительных

сил. Продолжает возрастать промышленный потенциал восточных районов, Урала, Сибири, Дальнего Востока, все ощутимей становится их вес в хозяйственной и культурной жизни страны.

Значение экономических достижений, строительной и индустриальной нови, созданной в первую послевоенную пятилетку, Федин обобщал в июльском очерке 1952 года, посвященном пуску Волго-Донского канала. Для писателя стокилометровый канал между двумя великими реками — не только шедевр инженерной мысли и подвиг строителей, но и более широкое завоевание социалистического общественного строя, культуры масс, союза труда и науки.

Свой вклад в созидательную деятельность народа вносит советская литература.

Продолжается художественное осмысление подвига в Великой Отечественной войне. Во второй половине 1945 года на страницах "Комсомольской правды" публикуется роман А. Фадеева. "Молодая гвардия". Документальная достоверность и, сила художественных обобщений отличают это произведение, написанное по самым горячим следам событий.

Федин высоко оценил роман, едва полностью ознакомился, с ним в отдельном издании. "Твою книгу давно прочел… — писал он А. Фадееву 26 сентября 1946 года. — Сделал ты очень, трудную вещь, потому что для тебя обязательны живые люди, а это для создания образа — тяжкие оковы… Книга дала представление о типе нашей молодежи — не только таком, каким он должен быть (что не слишком ново, потому что известно из романтической литературы), но каков есть — в лучшей, «идеальной» ее части… Последняя часть книги — о страданиях молодежи — написана очень высоко".

Теме Отечественной войны посвящены многие произведения первого послевоенного десятилетия: "Повесть о настоящем человеке" Б. Полевого, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В., Пановой, «Буря» И. Эренбурга… "У поколения советских людей, видевших вторую, мировую войну, все сеновалы памяти забиты военным материалом, у них воспитаны войною все чувства", — отмечал позже Федин, давая высокую оценку некоторым из названных выше книг. Но ни одна из них, пожалуй, не вызывает столь настойчивого интереса у Федина, как "Молодая гвардия". Несомненно, это связано, помимо прочего, с обрисовкой положительных героев современности, которые занимают писателя.

К развернутой оценке "Молодой гвардии" Федин вернулся в статье 1951 года, когда автор, доработав роман, создал вторую его редакцию. Приведя некоторые подтверждающие факты из

жизни, Федин задается вопросом: почему "юношество наше справедливо считает роман Фадеева книгой о себе".

Причин тому, конечно, не одна. Прежде всего "типичность героев литературного произведения зачерпнута глубоко из типичности героев… жизни. Факты Краснодона… так или иначе повторялись в сотнях советских городов и поселков, где комсомольцы, следуя за большевиками и защищая Родину, совершали подвиги, не щадя своей крови". Однако же фактом литературы все это стало благодаря крупному таланту художника и его особой идейной направленности. "Я не помню из истории литературы, — пишет Федин, — чтобы романист в такой близости шел следом за действительными событиями, художественно воплощая их в романе… Казалось, можно допустить такой опыт лишь теоретически. Но "Молодая гвардия" из романа-документа выросла в роман-обобщение". Фадеев — художник-новатор.

Много внимания уделяет литература послевоенного периода созидательному труду советских людей, а также другим темам — борьбе за мир и демократию, героическому прошлому страны и т. д. ("Русский лес" Л. Леонова, «Кружилиха» В. Пановой, "Далеко от Москвы" В. Ажаева, автобиографическая тетралогия Ф. Гладкова, "Первенцы свободы" О. Форш, "Степан Разин" С. Злобина, «Строговы» Г. Маркова, «Даурия» К. Седых и др.). Лучшие из этих произведений оцениваются Фединым на страницах печати, в выступлениях на творческих Дискуссиях, во внутренних рецензиях, в письмах.

Федин продолжает вести большую общественную работу внутри Союза писателей. С 1947 по 1951 год он возглавляет секцию прозы писателей Москвы.

Характерно, что работу секции новоизбранный председатель начал со встречи с автором романа "Молодая гвардия". "Дорогой Саша, — писал Федин Фадееву 21 января 1947 года, — на первом заседании Бюро нашей секции все его члены единодушно выразили желание — открыть нашу работу встречей с тобой… Я тоже прошу тебя об этом. Многое будет зависеть от начала… Мы бы хотели придать встрече форму беседы на тему о том, как ты работал над "Молодой гвардией". Опыт твой именно в этой работе чрезвычайно поучителен, и это все понимают. Поэтому, пожалуйста, не отказывайся". Выступление Фадеева на секции состоялось 4 февраля. Как сообщалось в заметке «Правды», "оно вызвало глубокий интерес многочисленного собрания писателей".

Внимательно отмечает Федин успехи в развитии литератур братских советских народов. Он участвует в совещании по туркменской литературе ("Ключи живые и мертвые".

"Литературная газета", 1945, 29 сентября). Выступает в 1950 году на обсуждении произведений таджикских писателей, приуроченном к декаде таджикской советской литературы в Москве. В течение нескольких лет, до весны 1950 года, является председателем Комиссии по азербайджанской литературе правления Союза писателей СССР.

Судя по статьям, выступлениям и письмам тех лет, внимание Федина привлекают прежде всего художественные явления, обогащающие фонд всей многонациональной советской литературы, — произведения Б. Кербабае-ва, романы "Наступит день" М. Ибрагимова, «Абай» М. Ауэзова, «Знаменосцы» О. Гончара, поэзия М. Турсун-заде…

Обобщая развитие литературного процесса, давая оценки и разборы рукописей и книг, Федин помогает иным авторам в дальнейшей работе над произведениями. Такова творческая история романа Мирзы Ибрагимова "Наступит день".

Впервые роман был опубликован на азербайджанском языке в 1948 году. Произведение посвящено актуальной теме — борьбе за мир и демократию. Драматург и поэт, народный писатель Азербайджана, академик АН республики 37-летний М. Ибрагимов напечатал первый большой роман.

Рукопись в русском переводе была дана на оценку Федину как председателю Комиссии по азербайджанской литературе. 21 июня 1949 года Федин писал автору: "Дорогой товарищ Мирза Ибрагимов, наконец я вторично и весьма внимательно прочитал Ваш роман и дал отзыв размером в добрый реферат… В Ваших интересах и в интересах читателя, от которого будет зависеть, как будет встречен роман в России, надо еще основательно поработать как над азербайджанским оригиналом, так и над русским переводом. Я уверен, что Вы согласитесь со мной, ибо я думаю о судьбе книги, достойной того, чтоб к ней отнеслись хорошо… Вы извините меня, что я не захотел положиться целиком на первое беглое знакомство с романом и не отделался краткой одобрительной рецензией".

Прислушавшись к советам и предложениям Федина, М. Ибрагимов вновь засел за работу. Это пошло на пользу делу. Книга, вышедшая в русском переводе, была отмечена Государственной премией СССР. А между двумя писателями возникла дружба.

Отзывы размером "в добрый реферат" нередко получали от Федина и другие писатели. Особенно часто — авторы журнала "Новый мир", где он в течение долгих лет был членом редколлегии.

Своим учителем в прозе называет Федина Константин

Симонов. В 1952 году Симонов представил в "Новый мир", выходивший под редакцией Твардовского, роман "Товарищи по оружию". Это произведение было прологом к циклу романов о Великой Отечественной войне — к будущей трилогии К. Симонова "Живые и мертвые", удостоенной Ленинской премии. Одним из первых читал рукопись Федин.

Эпизод с получением отзывов-писем Федина Симонов воспроизводит в двух очерках, каждый из которых назван характерно, — "То, чего не забудешь" (1965) и "Уроки Федина" (1978).

Федин высоко оценил намерения автора и четко формулировал задачу. "Мне хочется, — писал он, — чтобы большой Ваш замысел, очень важный для нашего времени, очень удачно выбранный, претворился бы в большое достижение русской советской прозы. Вы можете сделать так, что роман займет очень видное место в текущей литературе, но можете сделать так, что он войдет в историю литературы. Вот этого я Вам и желаю". Пока что Федин находил в романе недостатки, мешающие произведению подняться над текущим книжным потоком. Свое мнение Федин обосновывал в двух больших письмах.

Ненавязчивость тона и деликатность манеры изъяснен ния помешали Симонову, по его словам, сразу оценить всю глубину и серьезность замечании.

"К тому времени, когда я получил от Константина Александровича Федина эти два письма, мы уже давно были знакомы с ним, — вспоминает Симонов. — И, однако, письма эти были для меня открытием… Не хочу этим сказать, что мне никто и никогда не помогал до этого… Но письма Федина — это была не просто помощь добрым и умным советом, за его письмом стоял большой писательский труд, потраченный на меня… И я понимал меру этого труда, понимал, что прочесть мою рукопись так, как прочел ее Федин, и написать о ней так, как он о ней написал, — значило истратить на литературное воспитание прозаика Симонова не часы и не дни, а, очевидно, две-три недели, оторванные от собственной работы, от фединской прозы.

Труд такого рода всегда, в той или иной мере, — жертва, всегда — самоотречение. Но в данном случае мера этой жертвы поразила меня и оставила благодарным на всю жизнь… Много лет спустя, готовя "Товарищей по оружию" к новому изданию, беспощадно сокращая их, а многое переписывая, строчку за строчкой, я с благодарностью по многу раз заглядывал в лежащие передо мной на столе письма Федина… Другой вопрос: в какой мере и на этот раз пошли на пользу ученику уроки учителя? Об

этом судить не мне. Но понял теперь в этих письмах я, кажется, все… И их чтение помогает мне сейчас не только трезвее относиться к сделанному до сих пор, но и помогает думать над тем, что еще не написано. А это, может быть, самое важное в жизни писателя, если он еще продолжает писать".

…Федин живо отзывается на события культурной жизни — отечественной и зарубежной. Только к 1949 году в связи с проводимым на освобожденной немецкой земле 200-летием со дня рождения Гёте Федин печатает очерк-исследование "Великий немецкий писатель" и в те же летние месяцы отзывается на 150-летие со дня рождения Пушкина исполненной любовью лирической миниатюрой, которую даже и называет — "Стихотворение в прозе". Он выступает от имени писателей на Всесоюзном съезде профсоюза работников полиграфического производства и печати и публикует статью-разбор о фильме "Академик Иван Павлов"… И так год за годом…

* * *

Литературный институт, в штате которого работал Федин, размещался в старинном особняке, знаменитом доме Герцена на Тверском бульваре. Он был невелик числом студентов и преподавателей. Осенью 1942 года, когда Федин принял творческий семинар, здесь училось человек пятьдесят-шестьдесят поэтов, прозаиков, драматургов. Параллельные семинары по прозе открыли также Л.М. Леонов и затем К.Г. Паустовский. Каждый молодой литератор был на виду.

Но работы и хлопот это не убавляло, а прибавляло. Обучение начинающих литераторов Федин рассматривал не просто как очередные. занятия и прохождение курса. Он не был обычным преподавателем, призванным сообщить другим установленные программой сведения. Не ощущал себя и цеховым старшиной, вокруг которого толкутся непосвященные, перенимая ремесленные навыки и умения. Нет, тут дело было нравственное, тонкое, полюбовное.

Федин не льстил себя надеждой, что кого-либо можно научить стать писателем. Каждый художник развивается согласно свойствам натуры и таланта, наблюдает жизнь, формируется атмосферой времени, общественной средой, идет своим путем. Мастер, в его представлении, мог лишь научить новичка, "как избегать ошибок, которые когда-то сам делал, а потом выучился их не делать. У него тоже были учителя…". "Открытия рождаются там, где кончается знание учителя и начинается знание

ученика", — внушал Федин.

Но это-то и предполагало в мастере способность к самоотдаче, без чего не вникнешь в столь разные миры начинающих художников, не увлечешь горячие, нередко ломкие еще души. Тут требовалось повседневное общение, умение сказать под руку верное слово, помочь "найти себя", поддержать, ободрить, разбить иллюзии, остеречь от ошибок и поспешных ходов. Одним словом, ничего нельзя было добиться без активной доброты старшего художника по отношению к младшему.

Занятия в институте строились на основе обсуждений рассказов, очерков, глав из повестей, написанных студентами. Одна из участниц семинара первого послевоенного выпуска, А. Перфильева, вспоминает, что они были"…праздниками. Мы ждали их с волнениями, со страхом, особенно «именинники»… Толпясь в коридоре, высматривали в окна, когда покажется из ворот фигура Федина, всегда подтянутого, элегантного… — сами были в шинелях, в сапогах, в чем попало… Константин Александрович бывал не только добр… Иногда почти жесток. Ко всему серо-стандартному или неряшливому по языку он относился без скидок, непримиримо… У студентов была в ходу поговорка: "…Учитесь у Федина прозрачности Флобера". Штамп, бесцветность, неотработанность всегда подвергались суровой критике…"

Федин ставил в пример самые крупные образцы — Л. Толстого, Чехова, Горького, Бунина… Он воспитывал высокую художественную взыскательность. Но главное, чему он учил на своем семинаре, — мыслить.

"Воспоминания о муках немоты, или фединский семинар сороковых годов" — так озаглавил воспоминания о писателе Юрий Трифонов. Благодаря Федину он стал студентом Литературного института. Повесть «Студенты», которая обсуждалась на семинаре, в 1951 году была удостоена Государственной премии СССР.

По двум тетрадкам ученических виршей и слабенькому рассказику восемнадцатилетнего юнца летом 1944 года председатель приемной комиссии Федин высмотрел дарование. Федин способствовал публикации первой повести Ю. Трифонова в журнале "Новый мир", и он же первым дал ей трезвую оценку: Федин"…позвонил Твардовскому… и порекомендовал меня… Со звонка Федина Твардовскому началась моя судьба как писателя". "Повесть "Студенты", — продолжает Ю. Трифонов, — едва появившись, завоевала успех, и это ввергло меня в пучину заблуждения — простительного, ибо я стал самым молодым лауреатом, двадцати пяти лет, — будто я уже крупный писатель,

от чего я избавился не скоро и с усилием. Дискуссии, конференции, статьи в газетах, переводы на иностранные языки, и среди этого шума и треска — холодноватый голос Федина. Он сказал о «Студентах» лишь одну фразу: "Трифонов написал хорошо, но мог бы написать лучше". Меня, оглушенного треском, тогда это, признаться, удивило… Зачем же о «лауреатской» книге говорить: "Зал был наполовину пуст"? Но прошло очень недолгое время, и я понял, что Федин был прав. И стал понемногу стараться "написать лучше".

В 1947 году Федина утвердили в звании профессора. На штатной должности в Литературном институте он работал до 1949 года.

К началу 50-х годов возрос общественный авторитет Федина. Писатель — член Комитета по государственным премиям в области литературы и искусства, член редколлегии журнала и редсоветов издательств. В 1951 году его избирают депутатом Верховного Совета РСФСР.

Все более расширяется круг знакомств Федина. Новые люди пополняют их. Иногда случается это как бы ненароком, но потом оказывается, что встречи имеют продолжение в будущем. Так, однажды происходит знакомство с сибирским литератором, с которым Федин затем почти два десятилетия будет работать в секретариате правления Союза писателей СССР. Этим писателем был Г.М. Марков — автор историко-революционного романа «Строговы», удостоенного в 1952 году Государственной премии СССР.

"Живя в Сибири, — вспоминает Георгий Марков, — я довольно часто приезжал в Москву… Я был знаком и часто встречался и с Фадеевым, и с Павленко, и с А. Макаренко, и с Л. Сейфуллиной, и с другими видными писателями. Но увидеться с Фединым, познакомиться с ним мне долго не удавалось… И вот однажды я снова оказался в Москве. Отзаседав в областной комиссии в связи с рассмотрением плана "Сибирских огней", мы вместе с Саввой Кожевниковым отправились в клуб писателей обедать… Мы сели в уголок за единственный свободный столик.

Вдруг дверь зала раскрылась, и в ресторан стремительно вошел Константин Александрович Федин. Я моментально узнал его по фотографиям и портретам, напечатанным в книгах. Остановившись, он окинул быстрым взглядом переполненный зал…

— Я вам не помешаю, товарищи, если на полчаса окажусь вашим соседом? — строгим, очень четким голосом спросил Константин Александрович.

Наперебой мы принялись приглашать Федина присесть за

стол… Узнав, что мы сибиряки, Константин Александрович шутливо сказал:

— Вот оно что! В хорошую компанию я попал! Сибиряк — ведь это у нас почти почетное звание. Обедал с сибиряками! Шутка ли?! И говорят, у вас, в этой холодной стране, успешно процветает литература! Жаль, что не знаю я творчества сибирских писателей.

Савва Кожевников, написавший к тому времени десятки статей о творчестве писателей-сибиряков, не упустил случая и сел на своего любимого конька…

…Мы рассказали Федину о зиме. Она оказалась неодинаковой. В Новосибирске стояла оттепель, а в Иркутске ударил сильный мороз, и на Ангаре случилось зимнее наводнение — местами лед стал преграждать путь воде и выжимать ее на поверхность.

— Смотрите, как у вас необычно, — сказал Федин, с интересом слушавший наши рассказы о Сибири. — Кстати, вот совсем недавно я узнал, что у вас в прошлом были своеобразные "кедровые бунты". Узнал я это из романа «Строговы». Автор для меня новый.

Федин произнес несколько похвальных слов о романе и, полураскрыв портфель, в котором лежала моя книга, как-то одобрительно хлопнул ладонью по желтой коре.

Я страшно смутился. Савва представил меня. Константин Александрович в упор взглянул мне в глаза, и взгляд этот был жестким и каким-то очень требовательным, бескомпромиссным.

— По роману я считал вас старше, — сказал Федин…

Я опустил голову. Самым тяжким было бы сейчас для меня, если б Федин начал, как это случается порой с иными даже очень опытными людьми, расспрашивать: "А над чем вы трудитесь теперь, что пописываете?" — или, достав книгу, принялся бы не спеша полистывать ее. Но тонким внутренним чутьем Константин Александрович угадал мое состояние… заговорил о другом".

24 февраля 1952 года Федину исполнилось 60 лет. За выдающиеся заслуги в области литературы писатель был награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени.

Юбилей широко отмечался. Сохранился короткометражный фильм, запечатлевший широкое общественное чествование в Центральном Доме литераторов и ответную речь, которую произнес юбиляр.

…После выхода отдельной книгой романа "Первые радости" волна безостановочной, шквальной работы над "Необыкновенным летом" началась с июля 1946 года, на даче в Переделкине…

"Переселился и вживаюсь в новый роман, — писал Федин Мартьяновой 4 июля, — нахожусь по ту сторону черты, за которой лежит бурный 1949 год с его надеждами, его ожиданиями. Весь окружающий быт кажется поэтому сторонним и немного механичным, — живу без отчетливого участия в жизни, как нанятой".

В повести о писательском труде "Золотая роза" К. Паустовский рассказывает об одном из таких моментов, когда Федин работал над романом "Необыкновенное лето". Было это в Гаграх, в местном Доме творчества, где во всем еще чувствовались послевоенная бедность и разруха: "Шили мы… на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу… Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись… Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр ночевали под террасой этого дома… Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под неумолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, мировая тишина остановилась над берегом… Федин в ту ночь не работал.

Все это — рассказ о непривычной для него обстановке, в какой ему пришлось работать. Мне думается, что эта простота и неустроенность жизни напоминали ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила, — при любых условиях".

В данном случае о молодости напоминала не только обстановка работы — молодость, можно сказать, стояла за спиной романиста, водила его пером. Создавая своих героев — Извекова и Рагозина, — Федин как бы различал черты их характеров в воспоминаниях и ощущениях собственной молодости, во всем опыте прожитых лет. Достигнута была та полная слитность деятельных героев повествования и автора, о которой когда-то мечтал, которую предрекал себе писатель. Оттого-то так споро писалось, так ярко вставали фигуры, эти люди! Но до такой слитности надо было дойти, ее надо было дождаться.

"Достичь свободы в суждениях о самом себе, — замечал

Федин в раннем варианте «Автобиографии» (1939), — мне кажется существенной задачей писателя. С трудом распутываешь себе руки, когда надо вынести себе приговор или посмеяться над собою. Но оглянешься — и видишь, как много пропустил ты из своего прошлого! Надо только разглядеть его новыми, нынешними глазами. И тогда обнаружишь, что где-то совсем рядом с твоей жизнью рос современный герой, о котором ты так мечтаешь и которого так недостает у тебя в книгах. Надеюсь, что новые герои моих книг помогут мне взглянуть на пристрастия и привязанности прошлого с полной свободой".

Теперь это получилось так полно… Киров, Горький, Жуков, да и другие лучшие образцы борцов и созидателей, запечатленные в прежних книгах Федина, за немногими исключениями, — это были так или иначе документальные портреты, герои, пришедшие из жизни в литературу. Теперь персонажи, как будто полностью вымышленные им, художником, уверенно дополняли собой действительность, смело отправлялись из литературы в жизнь. Только ведь и вопрос весь в том — вымышленные ли? Не были ли они выражением того, что он видел, усвоил, познал, того, что явилось итогом жизни, всей биографии?

В дневниках Федина есть характерная запись. Сделана она уже через десять лет после того, как роман "Необыкновенное лето" был завершен. Но не подлежит сомнению, что он и создавался с подобным чувством. "С возрастом меня все больше привлекает фигура Дм. Фурманова, — записывал Федин 28 июня 1958 года. — В ней целиком мой 1919 год. И не только мой, но, вероятно, всех нас, тогдашних молодых, — и мальчика Александра Фадеева, и мальчика Алексея Колосова (среди них я был почти «старик» — на десять лет старше обоих), и многих, многих других… Я прочитал на днях свидетельство, что Фурманов во время острейшей борьбы в Семиречье на сумасшедшем перевале Курдай подбадривал своих изнуренных людей, читая им из… ибсеновского "Бранда":

Мой долг, как я сказал,
— вперед! '
Коль вера есть —
как посуху пройдем мы морем.

Цитировать Ибсена! Символиста!.. На память! Надо было его знать, помнить, увлекаться им, чтобы в нечеловечески трудном походе пришли на ум его слова… Цитирует Ибсена политкомиссар Красной Армии, уполномоченный Реввоенсовета Туркестанского фронта… Позже он нашел для героев своего

«Мятежа» завет, подсказанный ему не Ибсеном, а опытом героической гражданской войны: "Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза".

Каждый писатель раннего поколения советской литературы немало передумал о том, как надо умереть, потому что каждый второй был на фронте и почти каждый прошел службу в Красной Армии".

В биографиях зачинателей советской литературы, как о том писал еще Фадеев, действительно было много общего. И почти каждый из них на разных этапах исторического и литературного развития обращался к изображению незабываемой молодости, поры гражданской войны.

Наделяя действующих лиц опытом своей жизни, художники трактовали этот опыт в свете понятий и задач своего времени. Так возникали книги близкие, друг друга дополняющие и вместе с тем очень разные.

…Только в 1948 году в октябрьском номере журнала "Новый мир" было напечатано окончание романа "Необыкновенное лето", самого большого из всех произведений Федина. Последние месяцы автор снова сидел за письменным столом по шестнадцать часов в сутки, доводил себя до полного изнурения.

Наконец все готово. Завершена огромная литературная работа (общий объем обоих романов — 60 авторских листов). И на каком-то этапе писатель решает: достаточно двух книг… Он даже публично объявляет, что считает замысел исчерпанным. Дилогия — это все, что он хотел написать.

Оба романа имеют большой успех. В короткий срок "Первые радости" издаются во многих странах на разных континентах, на двух десятках иностранных языков. Не меньше зарубежных изданий будет иметь и "Необыкновенное лето".

10 апреля 1949 года постановлением Совета Министров СССР К.А. Федину присуждена Государственная премия СССР первой степени за романы "Первые радости" и "Необыкновенное лето".

…Намерение остановиться на двух романах историко-революционного полотна сохранялось у Федина ровно столько, сколько нужно было, чтобы отдохнуть от воистину сокрушительного труда над огромной дилогией. Вскоре мысли писателя уже снова заняты дальнейшими судьбами своих героев.

На машинописном титульном листа прежнего начала романа «Костер» среди авторской датировки хода работы есть пометка: "Начат 24.VII-1949… особенно с сентября 1952".

"…Сообщаю тебе, — писал Федин Н.П. Солонину 12 сентября 1949 года, — что начал новый роман, который по замыслу будет концом двух предыдущих, то есть окончанием трилогии. Это

опять большая работа, года на два. И тема нелегкая: 1941 год, начало войны, битва под Москвой. Старые герои частью будут действовать и в этом романе, но многих надо слепить из пустоты, так что трудов предстоит много". И затем Федин задает несколько конкретных вопросов своему безотказному "эксперту".

Идея завершающего "синтеза человеческих судеб", представленного с новым интервалом в десятилетия, занимавшая Федина еще задолго до войны, — судя по интервью 1938 года в газете "Красная Карелия", — и воплощается в конечном счете в романе «Костер», где непосредственно запечатлены также наблюдения и переживания периода войны; вбирает в себя роман, естественно, и важнейший исторический опыт последующих лет.

Заставляя своих героев, основные из которых проходят через всю трилогию, действовать и мыслить в поворотные моменты более чем тридцатилетнего отрезка русской истории, писатель вглядывался вместе с тем и в разные периоды собственной биографии. Воистину читателю готовился и предлагался как бы цикл художественных итогов.

Что же представляет собой трилогия в целом?

Построена она своеобразно. Каждый из романов — относительно самостоятельное произведение со своим сюжетом, особенным жанровым рисунком и складом композиции, отличающимся от других. Каждый из них можно читать и отдельно, независимо от предыдущего и последующего. И вместе с тем цикл романов явно распадается как бы на две «серии», разграниченные между собой и более значительным промежутком по времени действия (двадцать два года!), и различием большинства персонажей.

Если вторая «серия» художественного цикла (роман о начальном периоде войны «Костер» в двух книгах) осталась незавершенной, то историко-революционная дилогия Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" уже с момента появления вошла в фонд лучших произведений советской литературы. Широкая популярность, экранизации и театральные инсценировки на протяжении трех с лишним десятилетий уже сами по себе свидетельствуют об относительной независимости, какую обрели романы "Первые радости" и "Необыкновенное лето" в читательском восприятии. И, однако, зная все это, нельзя отвлечься от контекста всего художественного цикла.

Не только формальной общностью судьбы основных героев, но, что важнее, и смысловым развитием, и тональностью своей романы трилогии Федина составляют часть одного обширного архитектурного ансамбля.

Действие романа "Первые радости" протекает в 1910 году в

провинциальном поволжском городе, многими очертаниями и признаками напоминающем губернский Саратов. Момент в истории русского общества отображен переломный. 1910 год — это самый конец в ночи глухой реакции, наступившей после подавления первой русской революции, и уже занимающаяся заря революционного подъема.

В провинции многое тянется медленней, настает постепенней, чем в Петербурге или Москве, но именно ощущением зреющих перемен, новизной чувств, молодостью основных героев, которые эти перемены переживают, овеяно название произведения — "Первые радости". Хотя внешне, как окажется в итоге, не столь уж вроде бы и радостны они, эти "первые радости". Во всяком случае, для главного героя — Кирилла Извекова. Разбитая, порушенная любовь, тюрьма, ссылка…

"Счастлив, несмотря на несчастья" — так в одном из черновых набросков определил писатель облик Кирилла Извекова, каким тот рисовался его воображению при работе над "Первыми радостями". Действительно, открывающий трилогию роман полнится светлыми, жизнеутверждающими красками даже в самых драматических сценах. Описания эпохи революционного подъема как бы вобрали в себя и ту "музыку победы" уже обозначившегося разгрома врага поры, когда создавался роман.

Сквозная сюжетная история, которая проявляет характеры, увязывает и развивает отношения действующих лиц произведения, психологически напряженна. Местное жандармское ведомство расследует «дело» о подпольной типографии, обнаруженной на квартире железнодорожного слесаря Петра Рагозина, который скрылся. Втянутыми в «дело» оказываются самые различные люди — и распространитель революционных прокламаций старшекурсник технического училища Кирилл Извеков, и набожный ханжа, купец и владелец многой недвижимости Меркурий Авдеевич Мешков, в доме которого квартировал Рагозин, и девятнадцатилетняя дочь Мешкова Лиза, любящая Кирилла, и случайно навлекший на себя полицейские подозрения столичный драматург Пастухов…

Не очень громкая судебно-следственная история по достаточно рядовому делу о революционной пропаганде. Таких «дел» в переломную пору от реакции к новому общественному подъему, надо полагать, немало возбуждалось по всей России жандармскими чиновниками. Но Федин так раскрывает содержание события, что происходящее становится важнейшим нравственным испытанием, а иногда и решающим рубежом в жизни большинства персонажей. Излюбленный художественный

прием — испытание разных характеров в сходных жизненных обстоятельствах — используется Фединым в произведении.

"Свобода. Независимость" — пишет на подарке любимой им Лизе в счастливый для обоих день Кирилл Извеков. Это его всегдашний девиз. Уже с детских лет мечтал Кирилл о справедливости, о счастье. Дружба с большевиком Рагозиным обостряет жизненную зоркость юноши Извекова, придает целостность его воззрениям, утверждает его на путях революционной борьбы, в практике которой только и можно добыть свободу для угнетенных. Пользуясь выражением самого Кирилла, — лишь так "мечта устройства будущего становилась делом устройства".

Арест и тюрьма обращаются для Кирилла в новую школу жизненной и идейной закалки. Конечно, в характере юноши и раньше были эти нравственные черты и свойства, которые отличают большевика, — преданность революционной идее, стойкость и мужество, готовность выдержать личные невзгоды и принести жертвы ради дела, которому служишь, ради товарищей. Но только теперь, очутившись в лапах врагов, в полной их власти и беззащитности перед ними, Кирилл проявляет эти качества с такой полнотой и силой. Сцены духовного единоборства Извекова со следователем — изощренным тюремным садистом подполковником Полотенцевым — принадлежат к числу кульминационных в романе…

Не выдерживает обрушившегося удара судьбы милая, добрая, но слабохарактерная Лиза Мешкова. Не смея пойти против воли отца, она дает согласие на скоропалительный брак с преуспевающим купчиком Витенькой Шубниковым… Услужливым наушником и приспешником властей оказывается на поверку богобоязненный Меркурий Авдеевич Мешков…

Словом, широкую картину быта, нравов, разнообразие человеческих судеб позволяет обрисовать художнику негромкая судебно-следственная история 1910 года. И в центре произведения — то, что составляет вместе с тем и главное содержание всей трилогии Федина — *становление и развитие русского революционного характера.* "Я посвящал все внимание жизни русского человека на самых решающих переломах истории страны, — писал уже в 1961 году о трилогии автор. — Это романы русских судеб и, может быть, история того характера, которым стал известен советский человек, выросший из небывалого испытания народа революцией, войнами, строительством нового мира".

Дальнейшему этапу "биографии русского революционного характера" посвящен роман "Необыкновенное лето". Основные

герои первого произведения переходят во второе, минуя временной отрезок большой протяженности; из 1910 года в 1919-й. Центральное событие, стягивающее к себе и определяющее судьбы действующих лиц, выражено в словах названия — "необыкновенное лето" — решающая, переломная пора гражданской войны.

В том же губернском городе работает секретарем городского Совета вернувшийся с фронта большевик Извеков. Здесь он вновь встречается со старым товарищем по революционному подполью Петром Рагозиным. К Извекову приходит добравшийся до родных мест из германского плена поручик Дибич, фронтовой командир, некогда обсуждавший с ним большевистские взгляды на характер империалистической войны… В доме Извековых часто бывает Аночка Парабукина, большая поклонница нового революционного театра, который организует актер Цветухин. В здешние места волей обстоятельств попадает давний друг Цветухина драматург Пастухов…

Фон происходящего в стране, общее развитие дальнейших событий, которые меняются подчас с головокружительной быстротой, дополнительно изображаются с помощью "военно-исторических картин", рассказывающих о положении на фронтах гражданской войны. Своим содержанием роман "Необыкновенное лето" воссоздает, по слову автора, "решающий перелом в судьбе России, кризис гражданской войны, преодоленный Красной Армией и народом в пользу революции".

В одном из писем к Вс. Вишневскому, в прошлом бойцу Первой Конной армии, который в 1947–1948 годах помогал автору в сборе исторических материалов для "Необыкновенного лета", Федин определил жанровые особенности романа. "Вы, разумеется, правы, — писал он Вс. Вишневскому, — что «психологический» профиль романа неизбежно приводит к раскрытию политической сущности событий 19-го. Я и раньше представлял себе всю коллизию как политическую. Мне важно преломление сознания героев на фоне и *под воздействием* событий. Поэтому без знания исторических фактов я ничего бы не мог сделать".

Если политический конфликт в "Первых радостях" — расследование дела о подпольной типографии — сравнительно локален и на многих действующих лицах отражается опосредствованно, лишь через сложную цепь житейских и семейно-бытовых отношений, то в "Необыкновенном лете" судьбами людей правит главная политическая коллизия эпохи — гражданская война. Она затрагивает, не может не затронуть всех.

В этом романе писатель прямо изображает панораму

(Исторических событий. "Необыкновенное лето" — произведение более суровое, философичное. По-своему запечатлелись в нем и горячее стремление писателя внести свою лепту в народную страду по восстановлению народного хозяйства, в борьбу за предотвращение новой войны, многие признаки той общественной атмосферы, в которой создавался роман.

Охват исторических событий в трилогии Федина, таким образом, широк. Жизнь героев развертывается на крутых гребнях больших общественных переломов, становящихся этапами «биографии» различных социальных (Слоев, мужания и проявления русского революционного Характера. 1910 год, конец столыпинской реакции — "Первые радости"… 1919-й, переломный год гражданской (войны, — "Необыкновенное лето"… «Костер» — первые шесть месяцев Великой Отечественной войны, июнь 1941-го, воскресное утро, разбуженное взрывами фашистских бомб… Такое повествование близко к эпическому. Многие сюжетные «узлы» при этом передают важнейшие коллизии эпохи, а повороты в судьбах персонажей нередко определяются движениями и переменами в судьбе народной…

Неторопливый, более других традиционный по жанру «семейно-бытовой» роман о 1910 годе "Первые радости" подготовляет драматизм "Необыкновенного лета", а в событиях 1941 года, обрисованных в «Костре», порой неожиданно и странно прорывается как будто бы скрыто и мирно дремавшая до того энергия людских страстей и побуждений 1919 года…

Когда Кирилл Извеков в «Костре», получив известней нападении фашистской Германии на Советский Союз, извлекает из-под спуда старую комиссарскую форму времен гражданской войны, такое переодевание полно для него смысла. Этим он как бы окончательно и даже чуточку торжественно отчеркивает для себя мирную жизнь от новой. И в то же время новая экипировка отвечает в какой-то мере глубокому ходу раздумий вызванного в обком партии Кирилла (а также романиста, добавим мы), для которого исход схватки с фашизмом связывается в первую очередь с судьбой революции. "Да, с первого часа войны надо думать о ее исходе, потому что уже в первый бросается жребий последнего, а последний решает народную участь. Дело сего дня — судьба революции". Масштабно-историческое понимание Кириллом происходящего автор стремится оттенить в этих сценах «Костра» еще и возникающими через его воспоминания эпизодами гражданской войны, вставной новеллой об участии Извекова в борьбе с белобандитами.

Необычностью происходящего, чрезвычайностью обстановки дополнительно продиктованы особая, предельная высота

нравственного счета, прямота и бескомпромиссность оценок, которыми руководствуются в собственном поведении и нередко измеряют поступки окружающих Извеков и Рагозин.

В романе "Необыкновенное лето" есть сцена, где на новом этапе круто определяются отношения почти всех основных героев. Актер Цветухин с Аночкой Парабукиной и драматургом Пастуховым пришли к только что назначенному городским комиссаром финансов Рагозину; просить денег на открытие театра. В комнате у того еще, двое посетителей. Завязывается общий разговор, долгий сложный спор, который нередко уходит в сферы эстетики и театрального искусства, далекие Рагозину. Денег у молодой Советской Республики почти нет, и окончательное решение надо принимать ему, комиссару финансов. "Рагозин мало что понимает в словах актера и в расхождениях его с Пастуховым, — замечал Федин, — но обоих их мерит своим испытанным принципом — что на пользу революции, то хорошо и правильно, что во вред — плохо".

Подобным же образом решает для себя сложную нравственную дилемму Кирилл Извеков в той сцене, которая вызвала в свое время споры критиков. Он отказывается поставить подпись под смертным приговором контрреволюционеру Виктору Шубникову, мужу юношеской своей любви Лизы Мешковой, осужденному за измену. Тот — бывший его счастливый соперник. "Меняется ли что-нибудь, — мысленно спрашивает Извеков самого себя, — по существу от того, что Кирилл не дает своей подписи? Да, меняется многое. Меняется то, что отказом подписать приговор Кирилл разоблачает клевету, будто Шубников его жертва. Разоблачается ложь, которая стремится нанести вред солдату революции и, значит, самой революции. Нет, нет, Кирилл прав!"

"Дело *сего* дня — судьба революции" — вот общность и преемственность проблематики, которая объединяет в одно целое три довольно непохожих произведения Федина.

Рагозин и Извеков — люди высокой мысли, сильных страстей, сложных переживаний, смелых и крупных поступков. Они очень разные, два этих идейных соратника, два друга — внешне сдержанный, рассудительный, практичный, подчас сурово почитающий букву долга Рагозин и более вольный, страстный, открытый, склонный идти наперекор всяческим догмам, порывистый Извеков. Роднит их главное: каждый по-своему — натура духовно богатая, цельная, гармоничная, это люди, которых зовет служить революционной идее влечение сердца. Оба они глубоко человечны. Вот почему столь естественную часть картин тяжелых будней и боев 1919 года в романе "Необыкновенное

лето" составляют всегда откровенные и новые для обоих встречи и беседы Кирилла с Рагозиным, окрашенные разве едва заметным оттенком неизбывного уважения младшего к своему первому учителю, и история настойчивых поисков Рагозиным своего исчезнувшего "тюремного сына" Ивана, и сложности отношений Извекова с контрреволюционером Витенькой Шубниковым, и крепнущее чувство Кирилла к Аночке Парабукиной.

В трилогии получают развитие почти все основные темы, которые волновали Федина на протяжении писательского пути, которые можно назвать сквозными в его творчестве. Обозначим их тут: это — движение истории и частная жизнь человека, соотношение интересов отдельной личности и общества, гуманизм истинный и мнимый, нравственные принципы старого и нового мира, рождение характера человека социалистической эпохи, судьбы людей искусства в революции…

В начале романа "Необыкновенное лето" Федин обрисовал главную цель своего писательского обращения к прошлому. "Исторические события, — пишет автор, — сопровождаются не только всеобщим возбуждением, подъемом или упадком человеческого духа, но непременно из ряда вон выходящими страданиями и лишениями, которые не может отвратить человек. Для того, кто сознает, что происходящие события составляют движение истории или кто сам является одним из сознательных двигателей истории, страдания не перестают существовать, как не перестает ощущаться боль оттого, что известно, какой болезнью она порождена. Но такой человек переносит страдания не так, как тот, кто не задумывается об историчности событий, а знает только, что сегодня живется легче или тяжелее, лучше или хуже, чем жилось вчера…"

Пробуждение и формирование у читателя чувства понимания крупнейших событий времени, помогающее ему сознательно строить окружающую жизнь, — вот цель писательского обращения к прошлому.

Многие люди из тех, которых близко знал, встречал, наблюдал Федин, несомненно, вживе проходили в картинах его памяти и воображения, когда писалась трилогия. Были тут и долголетние знакомцы, и люди, только однажды увиденные с необычной стороны и незабываемые навсегда. Вроде, например, того слесаря-соседа по Смурскому переулку, который, вырвавшись из рук виснувшей на нем и голосившей жены, отважно примкнул к малочисленной вооруженной рабочей дружине в Саратове в 1905 году… (Именно воспоминание об этом событии стало первым автобиографическим «зерном» образа

Рагозина.) Были тут и рядовые скромные работники, и выдающиеся деятели партии, замечательно воплощающие новый революционный характер, представления о нравственном образце человека и коммуниста… С.М. Киров, И.Г. Лютер, рабочие-коммунисты Путиловского завода…

"Человеком красивого, умного сердца" называл Федин С.М. Кирова. Впечатление, оставленное в нем личностью большевика-ленинца, было столь велико, что писатель не однажды мысленно возвращался к связанным с Кировым воспоминаниям, фактам и представлениям, стремясь передать сложность эмоционального и духовного мира своих героев и в первую очередь — энергичного и волевого интеллигента-большевика Извекова.

Это сходство не замедлили отметить читатели. Уже вскоре после появления на свет романа "Необыкновенное лето" в 1949 году группа металлургов из Донбасса писала в редакцию журнала «Звезда»: "Передайте писателю Федину, что мы его Кирилла любим, как живого, что он пример для нас, пример стойкости и бесстрашия, пример большевистской организованности и беззаветного патриотизма… Сильно напоминает нам Кирилл Сергея Мироновича Кирова, даже во внешности есть сходство — это радостное, горячее, уверенное в своей силе выражение лица и всей его небольшого роста широкоплечей и крепкой фигуры".

Творческий опыт изображения героев-большевиков, накопленный в предшествующих произведениях, конечно, весьма пригодился Федину при создании масштабных фигур Извекова и Рагозина. Однако дело не ограничилось только этим.

Нельзя считать случайным и тот факт, что в период окончательного созревания замысла трилогии Федин снова обращается к образу В.И. Ленина, запечатленному в рассказе "Рисунок с Ленина". Зимой 1942 года В.И. Мартьянова известила, что актер МХАТа В.В. Белокуров читает этот рассказ с эстрады. Чуть ли не ответный письменный трактат вызывает у автора это краткое уведомление. Писатель придает небольшому, в десять страниц, произведению огромное значение. И поясняет — почему! "Конечно же, история с Рисунком и художником, «муками» творчества — лишь сюжет, и он передается, так сказать, верхним течением, а тема лежит именно в образе Ленина, в его объемлющей множество черт Человека силе".

Требовательный мастер недоволен произведением, он пишет: "…Прежде всего о «Рисунке». Я недоволен этим рассказом. Это один из четырех вариантов одного и того же эпизода… Т. к. эпизод историчен, т. е. имел место в действительности, и я видел Ленина и слушал его сам (при этом — трижды видел и дважды слушал), то мне хотелось прежде всего создать каноническое (по

правде) изображение и затем — не отступать от него… В словаре рассказа есть разнородность, отдельные места кажутся макетными. Мне надо было бы весь рассказ переписать еще раз, тогда почерк был бы ровнее и кое-что картонное выпало бы совсем. А сейчас оно торчит. Работа эта почти пинцетная, и рассказать — что, собственно, следует изменить, нельзя. Две, три фразы, два, три угла, поворота перестроить да добавить два-три солнечных зайчика — и все заиграет. А то — хорошо, не глупо, но плосковато и где-то несвойственно для меня, протокольно. Помешало мне даже не коронное мое качество (лень), а некоторая боязнь. Вы видите, я несколько раз обращаюсь к этой теме, значит — не ленюсь, но она сложна своей идеологичностыо и видимой наружной холодноватостью, ее простой рукой не возьмешь (как искусственный лед — с виду холоден, а жжется!)".

Появление крупных и многогранных образов коммунистов в романах трилогии нельзя понять, если не учитывать «лабораторию» долголетней работы писателя по воплощению образа вождя партии В.И. Ленина.

Ленин непосредственно не действует в романах трилогии. Но на ленинских идеях не только воспитаны герои-большевики. Слово вождя партии многое значит подчас и в прямом развитии сюжета…

Глава двадцатая романа "Необыкновенное лето" открывается письмом В.И. Ленина к организациям партии "Все на борьбу с Деникиным!", опубликованным от имени ЦК РКП (б) в июле 1919 года. "Товарищи! — писал Ленин. — Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции".

Это обращение вождя партии многое переменит в жизни и судьбах основных героев романа.

"Рагозин, прочитав письмо один раз на службе… другой — у себя дома, при свете керосиновой лампы и с карандашиком в руке, написал заявление в две строки о том, чтобы его перевели на военную работу…"

Чуть позже Извеков увидел в письме конкретное предвосхищение возможного поворота событий на Южном фронте. Ленин прямо писал, что следует остерегаться военных авантюр со стороны деникинцев. Такой авантюрой и явился глубокий рейд по тылам кавалерийского корпуса Мамонтова, захват им Тамбова, Козлова…

Комиссаром отряда на борьбу с лесными бандитами отправляется Извеков… Нечаянное участие драматурга Пастухова в верноподданнической депутации к генералу Мамонтову в Козлове окончилось для него печально, и в тюремной камере он

должен решать неотразимый вопрос: с кем он? красный? белый? «ультрамариновый»? "межеумок"?..

Когда несколько недель спустя Извеков навестил в госпитале раненого Рагозина, они с тревогой обсуждают смутное и опасное положение на Южном фронте… И именно в этот день, как сказано в романе, "Ленин написал письмо, явившееся приговором виновникам поражений Красной Армии"… Так ленинская тема проходит через весь роман, а можно сказать и шире — через все творчество художника…

Особое значение имеет в глазах Федина народность великих революционеров, их связь с судьбами страны, Родины, Отчизны. Эти качества широко проявлены в образах В.И. Ленина, С.М. Кирова, А.М. Горького.

Эти же черты писатель отмечает в полководцах Великой Отечественной войны. И подобно тому, как, например, в характере маршала Г.К. Жукова Федина привлекает соединение "судьбы современных революционных характеров с судьбой национальной", то же самое во многом можно сказать о смысловой наполненности образов коммунистов Рагозина и Извекова, какую стремится придать им автор трилогии…

В цикле романов Федина ощутима преемственность с литературной традицией, которую в широком смысле можно назвать «толстовской», и, пожалуй, в первую очередь ее вдохновляют художественные открытия автора "Войны и мира" в жанре социально-философской исторической эпопеи. В статье "Искусство Льва Толстого", относящейся к 1953 году, Федин писал: "По-моему, одним из основных приемов, которым Толстой пользуется в своей лепке образа, является испытание нравственной ценности героя у решающей черты жизни и смерти. Прием этот вытекает из главной темы Толстого — художника и философа, — из темы о смысле, о содержании жизни".

Высказывания эти представляют дополнительный интерес из-за времени, когда они сделаны. Уже с некоторого отдаления воспринимался и осмыслялся писателем опыт работы над дилогией, и уже начат был и внутренне вымерялся роман «Костер». А размышляя над созданиями другого художника, писатель делает вывод не только для читателя, но и для собственной творческой практики. "Война и мир", — продолжает Федин, — роман особенно показательный в этом смысле. Судьба всех героев, счастливых и несчастных, поставлена здесь перед испытанием, до того невиданным в новой истории России. Сложнейший сюжет давал Толстому неограниченную возможность проверять любой характер на страшной грани между жизнью и смертью. Тут уже подвергался проверке характер целой

нации…"

Но выдвижение в качестве критерия оценки героев их отношения к народу, проверка духовного и нравственного мира личности "народным углом зрения", испытание характеров на решающих поворотах и переломах истории, вплоть до "черты жизни и смерти", и есть принцип построения образа в трилогии Федина. Причем от романа к роману, по нарастающей, история все полновластней и круче правит частными судьбами… Не случайно, например, в «Костре» временем действия избрано первое полугодие войны, битва под Москвой, оборона Тулы, самая тяжелая и опасная пора…

Так в решениях больших и сложных проблем, по-новому поставленных ходом истории, Федин использует близкий Л. Толстому прием лепки образов. И в этом смысле автор трилогии принадлежит к тем мастерам советской литературы, кто близко воспринял и развил толстовскую эпическую традицию.

Но создатель социально-философской исторической эпопеи "Война и мир" — не только вдохновляющий литературный образец для писателя. Лев Толстой вместе с тем нравственный и жизненный пример, который образными средствами воплощен в трилогии.

После заседаний суда, наблюдая бездны нравственного падения на Нюрнбергском процессе, Федин записывал в дневнике: "В моменты самые тяжелые, в тоску, в боль, в такое знакомое ощущение беспомощности, есть у меня только одно утешение и действительно высокое убеждение — это то, что, если существует русская литература — с Чеховым, Толстым, — значит человек достоин имени человека… Здесь, в этом американо-немецком аду, в ежедневном созерцании страшных уродов, торчащих куклами паноптикума из-за загородки скамьи подсудимых, я думаю о человеческом лице Чехова, и прищуренный взгляд его через пенсне, шнурочек этого докторского пенсне, и докторский туго накрахмаленный прямой воротник так умно просты, что, вспоминая этот образ, выпрямляешься и понимаешь, что ты не согнулся, не можешь и не смеешь гнуться под грузом облепивших тебя уродств!" (14 февраля 1946 г.)

Вот таким же нравственным образцом и жизненным примером является в романах трилогии образ Льва Толстого.

Известно, что в прозе и драматургии существуют косвенные пути создания персонажа, когда он сам ни разу не появляется на «сцене». Лев Толстой в трилогии Федина — именно такой персонаж, материализованный многими и разными средствами художественной изобразительности.

Вот он глядит с газетных страниц, крикливо сообщающих последнюю сенсацию об «уходе» Льва Толстого — "большеголовый старик… с пронзающе-светлым взглядом из-под бровей и в раскосмаченных редких прядях волос на темени. Старик думал и слегка сердился. Удивительны были морщины взлетающего над бровями лба, — словно по большому полю с трудом протянул кто-то борозду за бороздой. Седина была чистой, как пена моря, и в пене моря спокойно светилось лицо земли — Человек" ("Первые радости").

Толстой — за рабочим столом, как его мысленно представляет себе пришедший на поклон в яснополянскую усадьбу драматург Пастухов: "И с ясностью внезапной Пастухов разглядел низко опустившуюся над столом бородатую голову с огромным ухом и лбом в жилах, ниточками, сбегающими к темным, насупленным бровям. Толстой сидел сгорбившийся, в длинной холщовой блузе, обнимавшей колени, подложив одну ногу под себя. Он легко и так порывисто двигал по листу бумаги, будто не писал, а быстро штриховал строки тонкими, в волосок, черточками, и только нет-нет слышалось, как вспискнуло перо…" ("Костер").

"Тема" Льва Толстого завязывается уже на первых страницах трилогии, едва вступает в нее драматург Александр Владимирович Пастухов, и проходит затем, развиваясь, во многих сценах романов "Первые радости" и "Необыкновенное лето", чтобы снова возникнуть в «Костре». Таковы мучительные переживания Пастухова, связанные с последним подвигом Льва Толстого — его уходом из Ясной Поляны, — и изображенное по контрасту с величественной смертью писателя суетное, неблаговидное поведение Пастухова в деле о подпольной типографии (роман "Первые радости"); или многочисленные споры и размышления героев "Первых радостей" и "Необыкновенного лета" о месте искусства и художника в жизни, при которых постоянно возникает мысль, пример или образ Толстого…

Среди действующих лиц, в точном значении этого слова, Льва Толстого нет, и, однако, это очень важный персонаж трилогии. В поворотные, решающие для судьбы Пастухова минуты «тень» великого старца все время является ему.

Лев Толстой в трилогии — это неподкупная, мятежная совесть русской литературы, неколебимо убежденная в своем высоком народном предназначении, та самая совесть, с которой не в ладах Александр Владимирович, которую ему временами удается обхитрить, усыпить, но окончательно отделаться от которой он не может.

Пастухов во многом приспособленец, отступник от великих

гражданских заветов русской классики. Но талант, зоркость художника, остатки внутренней честности, сознание единственной истинности этих подвижнических традиций, к которым он и тянется и которых себялюбиво страшится, заставляют Пастухова в нерешительности топтаться где-то неподалеку от последней роковой черты.

Вся мера этого отступничества начинает открываться Пастухову в суровую годину народной войны, летом 1941 года… В жизненной многогранности этой фигуры, одной из самых ярких в трилогии, в глубине внутренних исканий, искренности драматизма и состоит ее впечатляющая сила. Так, в некоторых отношениях носителем авторского идеала оказывается Пастухов, лицо далекое от нравственных совершенств.

Можно напомнить об автобиографических истоках «темы» Льва Толстого в романах трилогии (собственные переживания Федина в молодости, связанные с «уходом» и смертью писателя, художническое преклонение перед Толстым с начала 30-х годов, многие последующие посещения Ясной Поляны и т. д.). Однако побудительные мотивы, повлекшие возникновение в трилогии персонажа, который находится все время как бы "за кулисами" действия, но является одним из важнейших действующих лиц романов, конечно, гораздо более многообразны. Причем в последнем романе «тема» эта обретает более широкое звучание.

Образ Льва Толстого в «Костре» — уже не только одновременно идеал и антипод писателя Пастухова, не только представление в сфере искусства о подлинно народном предназначении художника. Но и олицетворение одной из тех всеобщих опор национального духа, патриотического сознания и культуры, которые дают поддержку в лихую годину, когда решается сама судьба и будущее народа. Роман "Война и мир" в Великую Отечественную войну вдохновлял советских людей на отпор врагу. Характерно, что в самый тяжелый момент войны, когда из-за недостатка бумаги были закрыты многие газеты, "Войну и мир" Толстого издали стотысячным тиражом…

На социально-нравственные мотивы, повлекшие возникновение «темы» Льва Толстого в трилогии, указывал Федин. "Замысел в целом, — отмечал писатель, — определился временем действия — 1910 годом. А можно ли было, изображая тогдашнюю русскую интеллигенцию, людей искусства, обойти такое событие этого года, как смерть Льва Толстого?.. По моему представлению, исторически существенные мотивы вынесли опять на важнейшее место «тему» Льва Толстого и в «Костре»… Прежде всего — это элементы духовной переклички двух Отечественных войн, что возникла в самой жизни с момента

немецко-фашистского вторжения и в которой особое место занимала фигура создателя национально-исторической эпопеи "Война и мир". Далее, что также немаловажно для «Костра» как произведения исторического жанра, — это роль Тульской обороны в событиях первого военного полугодия, благодаря чему был сорван фашистский план захвата столицы, близость к Туле Ясной Поляны, осквернение оккупантами могилы Толстого и т. д. Все это, вместе взятое, открыло писателю новые грани в продолжении «темы» Льва Толстого в романе, которым замыкается сюжет "Первых радостей" и "Необыкновенного лета"…

То, что продолжение дилогии — роман «Костер» — можно будет завершить в два года, как поначалу намеревался Федин, оказалось иллюзией. Напротив, работа растянулась почти на три десятилетия. Причин для этого было много, и самых разных. Слишком большие внутренние задачи ставил художник. Много сил и времени поглощала деятельность в Союзе писателей, которой Федин отдавался с обычной добросовестностью, а груз обязанностей возрастал. Начинало сдавать здоровье, пришла старость… Работа растягивалась, прерывалась долгими паузами, потом затевалась с новым жаром….

Первая книга романа «Костер» — «Вторжение» была опубликована лишь в самом конце 1961 года, в четырех номерах журнала "Новый мир". Но вопреки прежним намерениям и она не исчерпала замысла, а требовала продолжения. Логика повествования диктовала необходимость второй книги романа, получившей название "Час настал". Только она должна была открыть читателю окончательную взаимосвязь, соотнесенность и цельность всех частей многотомного ансамбля. Время от времени автор передавал в журнал и газеты новые главы. Трилогия уже, по существу, превращалась в тетралогию…

К своей растянувшейся работе над романом Федин относился то с веселым вызовом, то с горькой иронией. Тема была болезненная, но он отшучивался. Однажды на даче в кругу друзей даже актерски разыграл в лицах такую воображаемую сцену. Якобы подходит к нему раз некий иронически настроенный критик, этакий "литературный волк", и заводит разговор с намеком.

— Как, Константин Александрович, — спрашивает, — «Костер»? Горит?

— Да… вот подбрасываю полешки…

— Наверное, много всяких отвлечений, общественная работа заедает? — деланно сочувствует притворщик.

— Да, хватает… совсем запредисловился, — вздыхает

романист.

— Восхищаюсь вами… Наверное, нелегко столько лет держать в голове одну вещь? — льстиво продолжает притворщик. — Если не ошибаюсь, кажется, еще до войны начали трилогию?

— Да, уже больше тридцати лет сочиняю… — соглашается автор. — Но, знаете, Гёте работал над «Фаустом» пятьдесят семь лет. Так что срок еще не вышел…

— Не люблю второй части «Фауста». Туманно, аллегорично, вымученно… — морщится критик.

— Но все-таки это "Фауст"! — победно изрекает романист.

Работа над «Костром» продолжалась. Федин словно бы не хотел или не мог оторваться от любимых героев, боялся отпустить их от себя. Он питал их тем, чем жил сам. Произведение, которое с перерывами писалось почти три десятилетия, оставаясь романом, поневоле обращалось в художественный дневник мыслей и чувств писателя за столь долгое время и, как дневник, оборвалось на полуслове…

Федина считали трезвым, рассудительным человеком. Он и действительно был таким. Во всем, кроме искусства. Тут он не знал удержу, был азартен, ставил перед собой тайные гордые задачи. С кем состязался он, мучительно вытачивая каждую фразу, каждое слово своего эпического полотна о войне?

Федин не смог закончить последнего романа трилогии, снедаемый, быть может, среди прочего и недостижимой высотой тех требований, которые себе определил… Но то, что написано даже уже и слабеющей рукой больного, полуслепого человека, написано с той полнотой самоотдачи и тем вершинным представлением об искусстве, которое всегда носил в себе Федин. Он хотел идти, ползти, карабкаться в гору до конца…

В ПЕРВЫХ РЯДАХ МАСТЕРОВ КУЛЬТУРЫ

…Весна 1953 года, отмеченная многими переменами в жизни страны, была особенно трудна для Федина. Долго и тяжело болела Дора Сергеевна. 11 апреля она скончалась.

Когда во время ленинградской блокады у Доры Сергеевны умерла мать, Федин, находившийся в отъезде, среди слов участия и ободрения написал жене то главное, чем она для него являлась: "Ты ведь настоящая сердцевина нашей жизни, без тебя мы жить не можем". Такой она и была, эта маленькая мужественная женщина, легкая, приветливая, с добрыми, ласковыми глазами…

"Снова на даче, со вчерашнего дня вместе с Ниной, — записывал в дневнике Федин, еще не придя в себя, на шестой день после смерти жены. — То, что здесь никогда не будет Д., чувствуешь сильнее всего в вещах: вдруг становится понятно, что их не было бы без нее, что сейчас они потеряли свое содержание, потому что стали не нужны, что смысл их состоял только в моих разговорах о них с нею, в том, что они служили нам, а не в отдельности мне или ей…

О счастье. Конечно, это было счастье. Ведь не состоит же счастье из довольства, удовлетворенности во всех без исключения отношениях и всегда без изъятий. Но всем главным мы оба обладали — для жизни вместе. Не знаю, кто из нас получал в жизни больше. Я получил очень много… Прожили… мы неразлучно тридцать три года…"

Главной поддержкой и опорой всех этих месяцев и дней были друзья, которыми щедро наделила судьба.

После смерти Доры Сергеевны многообразные бытовые и организационные дела, труды и заботы по дому переняла на себя дочь Нина, оставившая работу в театре и решившая отныне посвятить свою жизнь отцу.

Запись в дневнике от 6 декабря 1953 года: "Очень хороша со мною все время Нина… Видимо, она решила для себя быть со мною до конца моей жизни, и не ради своего места в доме, а ради любви, в которой мы сейчас живем с ней. Меня это наполняет внутренним спокойствием и внешней моей жизни дает опору и равновесие".

Федин старается больше бывать на людях… Газеты и радио приносят новости… Благодаря активной миролюбивой внешней политике СССР, превращению мировой социалистической системы в решающий фактор общественного развития появляются

признаки некоторого ослабления международной напряженности. Потушены очаги войны в Корее и Индокитае… Продолжается распад колониальной системы империализма, за короткий срок много новых независимых государств возникло в Азии и Африке… Партия дала новый творческий импульс общественно-государственному, экономическому и культурному строительству внутри страны. Торжествуют испытанные ленинские нормы законности, правопорядка, социалистической демократии… Расширяются права союзных республик… Особое внимание уделяется отстающему сельскому хозяйству, поощряется материальное стимулирование труда в колхозах и совхозах… Начинается освоение почти сорока миллионов гектаров целинных и залежных земель Казахстана и Сибири…

Уже объявлено о предстоящем Втором съезде Союза писателей СССР. В газетах и журналах вспыхивают творческие споры, разгораются предсъездовские дискуссии. На передний край в литературе вышел очерк на деревенскую тему во главе с "Районными буднями" Валентина Овечкина. Публикуются главы из второй книги "Поднятой целины" М. Шолохова и главы поэмы "За далью — даль" А. Твардовского…

На 1953 и 1954 годы приходятся крупные общекультурные события — 125-летие со дня рождения Л.Н. Толстого и 50-летие со дня смерти А.П. Чехова. Председателем обоих всесоюзных комитетов по проведению памятных дат утвержден Федин.

Важно, чтобы жизненный и творческий подвиг корифеев отечественного искусства, их пример служения своему народу деятельно участвовал в современном культурном строительстве, влиял на атмосферу подготовки к писательскому съезду. К этому и прилагает усилия Федин.

"Толстой… из тех гениев искусства, слово которых "живая вода", — заявил Федин в речи о Л. Толстом в сентябре 1953 года. — Это — школа, в которой наша советская литература черпает познание искусства и вдохновение к новым трудам о новом человеке".

Память о славных страницах истории и культуры советских народов — один из способов укрепления их братской дружбы. Эту мысль Федин развивает в статье "Великий пример" ("Правда", 1954, 29 мая), написанной в связи с 300-летием воссоединения Украины с Россией. На празднестве в Киеве писатель присутствовал в качестве члена делегации Верховного Совета РСФСР.

Образ "красиво простого" Чехова также объединяет собой советские народы и их художественные культуры. Об этом председатель Чеховского комитета пишет руководителям

писательских организаций союзных республик, обдумывая и намечая совместный план действий. Письма — личные, от руки, так как с большинством мастеров братских литератур Федин близко знаком.

В почте тех месяцев выделяется ответ Мухтара Ауэзова, выдающегося деятеля казахской культуры, автора романов «Абай» и "Путь Абая", ученого, переводчика русской и мировой классики. Письмо тоже подробное, личное. Смысл таков: Федин может не беспокоиться — помимо того, что состоится во всесоюзном масштабе, в Казахстане намечено множество собственных чеховских мероприятий: "Мы… постараемся провести юбилей Чехова в Казахстане достойно его имени и всенародной любви к нему народа Казахстана".

В марте 1954 года в рамках декады литературы и искусства Литовской ССР в Москве группа столичных писателей и критиков во главе с Фединым участвует в обсуждении работ литовских прозаиков. Заключительное слово Федина, произнесенное на этой встрече, превратилось в большую статью.

"Слово к литовским прозаикам" оценивает последние по времени и наиболее заметные книги, обращенные, как было характерно для литовской и латвийской литератур, по преимуществу к деревенской теме. Сформулировал Федин и общую цель такого рода обсуждений. "Нам нельзя не делиться практикой писательского труда между национальными советскими литературами, — отметил Федин, — нельзя замалчивать недостатки друг друга и необходимо ободрять друг друга при удачах и успехе… Смысл общения наших литератур в том, что мы помогаем друг другу практикой нашего труда… Мы рады, что… снова встретимся с писателями Литвы на Всесоюзном съезде".

Второй съезд писателей СССР состоялся в декабре 1954 года. На его открытии председательствовал Федин. С докладом "О состоянии и задачах советской литературы" выступил А. Сурков. Съезд обсудил итоги развития литературы за два десятилетия, минувшие со времени Первого Всесоюзного съезда писателей, и очертил новые творческие задачи, выдвинутые жизнью.

Основное внимание участников творческой дискуссии заняли проблемы метода советской литературы — социалистического реализма и пути его обогащения в новых исторических условиях. Дальнейшее сближение литературы с жизнью, взаимодействие братских советских литератур, образ современного героя, преодоление тенденций бесконфликтности и приукрашивания действительности, всестороннее повышение воспитательного воздействия советского искусства… — об этом говорили ораторы.

В главном русле дискуссии с речью, насыщенной творческими проблемами, выступил Федин.

Обращаясь к методу социалистического реализма, он высказался против попыток ограничить его понимание совокупностью художественных приемов и примет стиля. Социалистический реализм предоставляет свободу и широту для раскрытия и проявления самых разнообразных творческих индивидуальностей. "Когда говорится о социалистическом реализме как методе, — подчеркнул Федин, — это не значит, что художнику предлагается некий готовый орден литературной формы… Образ нового человека нашего мира реалистически дан такими несходными стилями, в такой несходной форме, как в поэмах Маяковского, Тихонова, Твардовского. То же самое можно видеть и на примерах романов Шолохова и Леонова".

Советское искусство — явление новое в истории человечества, оно отличается принципиальной новизной по своему содержанию, целям и задачам. "Советская литература… — отметил Федин, — составная часть новой культуры, которая возникла и зреет как плод величайшей в мире благодетельной революции. Советская литература — фактор созидательный, служащий переустройству старого общества и организации новой жизни, достойной человека…" В этой связи Федин вернулся к мысли, значимость которой утверждал еще с трибуны Первого съезда писателей. Все большую остроту приобретает вопрос о художественном качестве искусства.

"Сейчас мы стоим перед задачей подняться на высшую ступень качественного развития нашего литературного искусства, — заявил Федин. — Решая эту задачу, мы обязаны увеличить требовательность к таланту писателя и прежде всего — достичь в своих произведениях органичного единства формы и содержания". Эстетические образцы нынешним поколениям литераторов задает отечественная и мировая классика, опыт, уже накопленный советской литературой. Федин призвал к тщательному изучению и творческому усвоению этих эстетических богатств, включая наследие и таких классиков литературы, как Александр Блок или Иван Бунин…

В конце апреля 1955 года состоялось общегородское собрание писателей Москвы, посвященное созданию столичной писательской организации. Оно обсудило итоги Второго съезда писателей, избрало руководящие органы. В начале мая председателем правления Московского отделения Союза писателей стал Федин.

На новом посту ему очень пригодился опыт, накопленный в бытность председателем секции прозаиков Москвы. Федин

стремился сосредоточить общее внимание на крупных художественных явлениях, выражающих главное направление литературного развития, заботился, чтобы совещания и заседания помогали основному — 'творчеству. О том периоде, когда Федин возглавлял Московскую писательскую организацию, Сергей Баруздин вспоминает: "Вместе с ним работали С.С. Смирнов, Н.В. Томан, В.Н. Ильин и я. Это были бурные годы литературно-политических страстей, иногда, как думается, сейчас, несколько преувеличенных, суетливых. Но это и были и для меня, и для многих моих товарищей счастливые годы работы вместе с Фединым, общения с ним, наконец, учения у него… Помню, как всегда Константин Александрович нас интеллигентно, ненавязчиво утихомиривал, хотя сам был предельно активен…"

Предпринятые партией энергичные меры в экономическом и общественном строительстве, развенчание культа личности потребовали от писателей дальнейшего углубленного внимания к современности. В первой половине 1956 года, вскоре после XX съезда КПСС, на собраниях в Московской писательской организации обсуждался вопрос об укреплении связей художников слова с жизнью народа. Принятые решения рекомендовали расширить творческие поездки литераторов-москвичей на предприятия, стройки, в колхозы и совхозы.

Федин напоминал об опыте советской литературы — о поездках писателей по новостройкам первой пятилетки, о традиции, заложенной при Горьком. "В трудный переходный момент для развития советской литературы, — заявлял Федин, — писатель… вышел в мир и посмотрел вокруг себя. Были тогда поездки, они дали плоды. Сейчас наши товарищи поездками в Сибирь продолжают эти традиции".

Вместе с тем глава московских писателей не уставал ратовать за глубину содержания, за художественное мастерство. Создания классики — вот мерила и образцы для сравнения, на которые он ссылался. Б письме С.А. Баруздину от 18 июня 1958 года, поддерживая предложение "поставить на сентябрьск[ом] общемосковском собрании тему публицистики", Федин писал: "По-моему, это правильно, интересно, своевременно. О публицистике] мы почти не говорили, а ведь это традиционная направленность общественных интересов русской литературы, — тут они выражались в прошлом очень ярко (а нынче немного тускловато). Можно очень любопытно развернуть эту тему, хотя бы на сравнении трехтомника «Очерков» (Гослитиздат) с наиболее заметными публикациями советских] писателей-очеркистов в наших журналах".

Нового накала достигает во второй половине 50-х годов и

собственное публицистическое творчество Федина. Многие очерки, статьи, литературные портреты публикует он в газетах и журналах, отзываясь на разнообразные явления внутренней и международной жизни страны.

Среди газетно-журнальных выступлений Федина привлекает внимание очерк "К звездам", вызванный известием о запуске первого советского искусственного спутника Земли ("Правда", 1957, 12 октября).

Федин подробно описывает, как он воспринял выдающуюся победу советской науки и техники, обозначившую начало новой космической эры. "Утром 5 октября в автомобиле по дороге в Москву, — начинается очерк, — я прочитал в газете, что советские ученые создали первый в мире искусственный спутник Земли… Сообщение кончалось так: "Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями, как освобожденный и сознательный труд людей нового, социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества…" Какими словами передать чувство, охватившее меня в ту минуту?

Сложившееся на протяжении целой жизни представление мое о человеке испытало неожиданный скачок в своем значении. Человек, каким до той минуты я его знал, вдруг стал совершенно иным.

Я говорю об иллюзии, конечно. Но другим путем, нежели такой иллюзией, невозможно выразить состояние… Это было изумление, восторг, гордость — все вместе… Мне "захватило дух" — вот, пожалуй, самое близкое обозначение переживания… В такие мгновения останавливается дыхание и слезы выступают на глазах.

Глубочайшее личное и необъятно общее имя — Человек — прошло свое новое рождение".

Широко и философично развертывается дальнейшее очерковое повествование. Характерны подзаголовки: "Немного воспоминаний", "Немного фантастики", "Об ускорении прогресса"… Воссоздаваемую панораму эпохи с разных сторон высвечивают автобиографические воспоминания, свидетельства очевидца начала XX века, человека, на чьих глазах в губернском Саратове проводили первые телефоны, открывали первый немой синематограф, кто сам видел, как поехала самокатная карета — автомобиль, как взлетал фанерный биплан, когда у сидящего за рулем пилота ноги чуть ли не свешивались в воздух, и который теперь вот дожил до небывалой фантастики — до вторжения людей в космос! Удивление перед мощью человеческого разума,

гордость, что в прогрессе научной мысли лидирует Страна Советов! В одну общую картину сплетаются в очерке история, ушедшее прошлое и раздумья о дне сегодняшнем, о беге времени, о будущем человечества…

Во второй половине 50-х годов партия проводит важные совершенствования в сфере культурного строительства.

Осенью 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР вынесли решение о восстановлении Ленинских премий за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства. В 1957–1960 годах высшими литературными наградами страны были отмечены роман "Русский лес" Л. Леонова, "Поднятая целина" (I *в* II книги) М. Шолохова, драматургическая трилогия "Человек с ружьем", "Кремлевские куранты", "Третья патетическая" Н. Погодина, эпопея "Путь Абая" М. Ауэзова, поэзия М. Турсунзаде и М. Рыльского…

С 1955 года всесоюзная трибуна многонациональной советской художественной литературы — альманах "Дружба народов" — преобразуется в ежемесячный журнал. По прошествии лет этот журнал, равного которому по целям и направленности не знает история литературы, становится одним из самых популярных и читаемых в СССР.

Перед XX съездом КПСС (февраль 1956 года) или год-два спустя начинают издаваться новые литературные журналы — «Юность», "Нева", "Иностранная литература", "Молодая гвардия", «Москва», "Вопросы литературы", "Русская литература", «Дон», "Подъем".

В декабре 1958 года собирается Первый учредительный съезд Союза писателей Российской Федерации. Его создание направлено на то, чтобы преодолеть остатки областнической замкнутости, творческой разобщенности, обеспечить дальнейшее сплочение литературных сил на принципиальной основе служения делу партии, народа. "Нет писателей центра и периферии, есть писатели Российской Федерации!" — сказал в своем докладе на съезде Л. Соболев.

Важная роль в творческой жизни вновь созданного республиканского писательского Союза принадлежит его головному отряду — Московской писательской организации. От имени писателей столицы с большой речью на съезде выступил Федин.

Отметив, что Союзу писателей РСФСР следует особое внимание обратить на рост новых литературных сил на местах, на воспитание и поддержку талантливой молодежи, Федин основную часть выступления сосредоточил на проблемах художественного мастерства. Он развивал и детализировал

мысли о качестве словесного искусства, высказанные на Втором Всесоюзом съезде писателей.

Вопросу о мастерстве писателя надо придать характер обязательности, постоянства и лишить его сезонности. Рабочая задача Союза писателей — растить художников-мастеров. Причем задача эта не самодовлеющая, она впрямую затрагивает интересы миллионных читательских масс. На это и обратил внимание Федин, завершая выступление: "…Искусство должно пробуждать в массах художников и развивать их, сказал Ленин! Развивать! — сделаю я ударение на этом емком и всякому понятном слове".

В поездках по стране в пору создания Союза писателей РСФСР Федин избирал родные места Поволжья.

В конце ноября 1957 года в Куйбышеве проходила научная конференция литературоведов Поволжья, посвященная 90-летию со дня рождения А.М. Горького. На нее собрались ученые-литераторы со всех городов Волги. Вместе с другими гостями Федин появился в президиуме конференции. Рослый, седой, с откинутыми назад волосами, с крупным высоким лбом, тонким подбородком и большими светло-синими глазами. Во всем его облике, в том, как ладно облегал серый костюм его поджарую, при легкой сутулости фигуру, было что-то изящное, молодцеватое, артистичное. Федину было шестьдесят пять лет.

В этот вечер состоялось торжественное открытие конференции. С воспоминаниями об А.М. Горьком выступила Е.П. Пешкова, вдова писателя. Федин, когда дошел его черед, попросил разрешения прочитать отрывки из книги "Горький среди нас".

Несколько дней пребывания в Куйбышеве были насыщены встречами. Федин знакомился с местными литературными силами, выступал в областном клубе журналистов перед работниками газет и издательства, на многолюдном собрании интеллигенции города, успел немало осмотреть и объездить.

В те самые месяцы у Федина вышла книга, значение которой не все сразу оценили. В 1957 году он впервые собрал под одной обложкой свои статьи о литературе и искусстве. О содержании книги говорили ее разделы — "Вечные спутники", «Современники», "Труд писателя", «Пройденное», "Об искусстве". Сюда входили очерки, портреты, воспоминания, выступления и речи, рецензии и эссе о литературе, живописи, театре, кино. Это были и работы, столь активно создавшиеся в последние десятилетия, и те, что писатель отобрал из публикаций, рассеянных по малодоступным и забытым изданиям. Добавил Федин и то, что прежде не публиковалось. Получился том под названием "Писатель. Искусство. Время".

Действительно, это был рассказ о времени и о себе — о "вечных спутниках", классиках отечественной и зарубежной художественной культуры XIX–XX веков (о Пушкине, Гоголе, Чернышевском, Толстом, Чехове, Гёте, Т. Манне, Гюго, Франсе), включая и тех, кого автору довелось знать лично (о Блоке, Горьком, Роллане); и о современниках — мастерах советской и мировой литературы, с кем Федин бок о бок работал (об А. Толстом, А. Фадееве, Вяч. Шишкове, Н. Тихонове, И. Новикове-Прибое, И. Эренбурге, М. Зощенко, И. Соколове-Микитове, С. Цвейге, Б. Брехте, И. Бехере, Л. Франке, М. Андерсене-Нексе), а рядом — размышления об искусстве, о писательском труде. В запечатленной портретной галерее классиков и современных мастеров Федин выступает как писатель и критик. Воссоздавая живой облик человека, он всякий раз предлагает и прочерчивает концепцию творческой личности и пути художника. С другой стороны, самые широкие теоретические обобщения в статьях, речах и выступлениях Федина вырастают из опыта и практики искусства. Эпиграф из Гоголя: "В литературном мире нет смерти и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые" — объединял содержание и выражал общее дыхание книги.

В куйбышевском клубе журналистов его распорядители организовали ко встрече с Фединым выездной книжный киоск. Среди многих других новинок, разложенных на стеклянном лотке, продавался и только что вышедший сборник.

Книга эта оказалась событием в литературной науке. Крупнейший филолог, академик В.В. Виноградов написал статью "К.А. Федин как теоретик литературы". Ныне многие работы в различных областях литературной науки не обходятся без ссылок на эту книгу.

"…То основное, что представлено в сборнике "Писатель. Искусство. Время", — не претендуя на большее, пояснял Федин, — добыто из размышлений над собственным трудом литератора и, может быть, отчасти еще из чтения написанного другими, из желания постичь, благодаря чему достигали блистательного совершенства классики и чему можно научиться у коллег-современников… Это как бы дневник человека, прожившего в литературе несколько десятилетий, старавшегося посильно идти вперед, быть полезным товарищам по перу…"

В 1958 году К.А. Федин был избран действительным членом Академии наук СССР по отделению языка и литературы.

…Конец сентября 1959 года. Вдоль саратовских улиц уныло выстроились тополя и липы, холодный осенний сквознячок щупает дряблую, пожелтевшую крону и осыпает на мокрый

асфальт листья. С беспросветно-серого неба в который раз принимается надоедливо и тоскливо моросить. Но на улицах в эти дни было людно, возбуждение праздника чувствовалось даже в троллейбусах и трамваях. Саратов, город интеллигенции, город студентов, справлял 50-летие своего университета.

В один из таких дней Федин вернулся из-под Саратова в город. В живописных горах писатель провел около месяца, напряженно работая над романом «Костер». Теперь его ждали участники научной конференции библиотечных работников более чем 30 городов страны.

Почтительное отношение к библиотекарю, к труженику, который всего себя отдает книге, — традиция русских писателей. Словами, адресованными "Библиотекарю, уходящему на пенсию", Федин вместо послесловия закончил свою книгу "Писатель. Искусство. Время". Для него, библиотекаря, и на этот раз Федин нашел самые верные и точные слова.

После окончания научной конференции, как было обусловлено, Федин читал главы из романа «Костер», написанные в последний месяц. Набитый до отказа зал университетской библиотеки замер. У потухших юпитеров застыли даже неугомонные операторы кинохроники, которые перед этим сильно накалили своей осветительной аппаратурой и без того жаркую атмосферу многолюдного заседания. После погасших вдруг прожекторов казалось, что в зале наступила полутьма. Внезапная тишина делала каждое слово громче и отчетливее.

Федин читал неторопливо, "в лицах". Порозовевшее лицо писателя склонилось над кипой машинописных листков, покрытых жирными чернильными вычерками, разноцветными вклейками, одна его рука была вытянута на круглом столике, за которым он сидел. Длинные пальцы сжимались и распрямлялись в такт чтению, и он то кончиками пальцев, то всей ладонью похлопывал по столу.

…Вот актер Цветухин, седой, опустившийся, и только черносливины глаз, как прежде, молодые. За день до начала войны он встречает в Бресте былую свою ученицу Аночку Парабукину, Анну Тихоновну, теперь народную артистку, приехавшую на гастроли в приграничный город. Они сидят в дружеском застолье и долго-долго беседуют. Происходит, по существу, поединок, после которого Цветухин ощущает, что разгадан, что роли поменялись, ученица переросла учителя. А вот сцена — утро первого дня войны. Анна Тихоновна просыпается. Кругом уже бомбят, все ходит ходуном, а на полу в комнате дрожит такой уютный утренний солнечный зайчик, будто ничего не случилось…

На глазах слушателей, сходя с истерзанных страниц черновиков, отделяясь от автора, рождались зримые картины.

Федин был волжанином, как он говорил, по своему "чувствительному местному патриотизму". Со многими волжанами он поддерживал постоянную связь, переписывался. Причем это были не только саратовцы. Можно сказать: писатель не упускал из виду все места "главной улицы России", следил за многочисленным ее литературным населением…

В ноябре 1957 года, находясь в Куйбышеве, Федин познакомился с участниками здешнего литературного объединения "Молодая Волга". В заметке, написанной по этому случаю для редакции областной газеты "Волжский комсомолец", Федин с пафосом выразил свою мечту."…Старая Волга сохранит навечно поэтическую свою славу, — писал он. — Но новая Волга, где в различных областях и городах растет большой отряд молодых писателей, должна прогреметь на весь Союз Советов еще более поэтичной и громкой славой…"

За этим заявлением стояла и программа практических действий.

Через два года участники научной конференции в Саратове услышали похожую идею уже в таком выражении: "Я бы хотел, чтобы в Саратове, на Волге, — говорил Федин, — был создан большой журнал, который объединил бы весь верхний и нижний плес… Волга — это большая область, объединенная общим дыханием, это край колоссальный, и у него должно быть свое лицо, должен быть свой журнал, толстый, где бы участвовали все лучшие силы, начиная от горьковчан и кончая астраханцами".

Сохранившаяся переписка показывает, с какой кропотливой тщательностью подходил Федин к созданию нового печатного органа. Писатель изучал авторские и издательские возможности для открытия журнала, возбуждал широкий общественный интерес к его идее, составлял докладные записки. Когда же журнал был организован, в статье для первого номера Федин напутствовал его от полноты сердца: "Новорожденному журналу «Волга» я пишу с чувством, с каким заговорил бы — когда бы можно — с самою Волгой. А письмо ей начал бы я словом, которым начинал письма матери, или сестре, или первой — полуюношеских, отроческих лет — любви. Начал бы словом — дорогая. Удивительной реке своей написал бы: дорогая Волга…"

…Жизнь приносит все новые примеры того, как ширится и крепнет многообразное сотрудничество между социалистическими странами, как возрастает в мире авторитет культур социалистического содружества.

В марте-апреле 1958 года Федин вместе с Б. Полевым

участвует в заседаниях "круглого стола" Европейского общества культуры в Венеции. Там он впервые знакомится с виднейшим польским писателем, верным другом Советского Союза Ярославом Ивашкевичем. Идеи победившего социализма отстаивают теперь не одни посланцы советской культуры. Федину доставляет истинное удовольствие наблюдать, как элегантно и иронично, на прекрасном французском языке ведет идеологическую полемику Ивашкевич. "Участие Ивашкевича в состязаниях дискутантов удивительно стойко… — напишет позже Федин. — Кажется, вся гамма его мимических отзывов на споры сторон отражается… в его слове". И еще: "…Звучит животрепещущий разговор на жаркий мотив Востока и Запада. Ивашкевич не пропускает ни одной реплики: у него готовы предложения по каждой заминке в споре. Он помогает развязать либо разрубить узел расхождений, и — буду беспристрастен — он умеет и затянуть его потуже. Иногда ведь полезно показать, что расхождения непримиримы и надо отложить их до лучшего дня. Путь ко взаимности сложен. И надо только не сходить с пути, ведущего к миру".

В январе 1958 года в Москве учреждается Общество дружбы и культурного сотрудничества СССР — ГДР. Председателем общества избран Федин. Уже в марте вновь избранный председатель выезжает в ГДР, в Берлин, для участия в работе конгресса Общества немецко-советской дружбы. Трижды только в. течение 1958 года побывал Федин в ГДР, и каждый раз он возвращается оттуда с радостным ощущением идейного единства с мастерами социалистической немецкой культуры, с чувством, о котором он сказал за два года перед тем, выступая на Четвертом съезде писателей ГДР в Берлине: "Живые ключи творчества бьют из недр земель, хозяином которых стали народы. Сила этих литератур обретается в их гуманизме… Ею определяется интернациональный характер новых литератур".

* * *

В мае 1959 года собрался Третий Всесоюзный съезд писателей. Вступительную речь на нем, во многом обозначившую русло последующей творческой дискуссии, произнес Федин. С докладом "Задачи советской литературы в коммунистическом строительстве" выступил А. Сурков.

Основное внимание в своей речи Федин сосредоточил на воспитательной роли литературы социалистического реализма. "Переделкой массы" назвал Ленин коммунистическое

строительство… — подчеркнул Федин. — В ряду главных отличий нашей литературы от литературы буржуазной мы и считаем раньше всего то, что советская литература признает воспитательную задачу писательского дела основной". Советское искусство воспитывает строителей нового мира, отображая правду жизни. Писатель не избегает противоречий, существующих реально, в чем бы они ни заключались — в пережитках прошлого или ошибках в новой жизненной практике, ее искривлениях и т. д. Но изображение недостатков не может быть самоцелью для советской литературы. "Воспитание человека литературой только тогда успешно, — подчеркнул Федин, — когда порок не умалчивается писателем, но и не смакуется им, а изобличается ради искоренения и в интересах победного творчества новой жизни".

Воспитательная роль советского искусства тем более будет возрастать на новых этапах и рубежах коммунистического строительства. "Развитие нашей культуры убыстряется с каждым годом", — отметил Федин. Советская литература, опираясь на богатства своей многонациональной классики, совершенствуя мастерство, призвана искать новые средства художественности. Проблема традиций и новаторства выдвигается в центр внимания. "Глубокая работа предстоит братской семье писателей всех национальных литератур Советского Союза", — закончил Федин.

25 мая состоялся пленум правления Союза писателей СССР. Первым секретарем правления был избран Федин. В состав секретариата вошли представители всех пятнадцати союзных республик.

С тех пор до конца жизни Федин оставался главой писательской организации страны (с Пятого съезда писателей СССР, состоявшегося в июне — июле 1971 года, — председателем правления СП СССР).

Шестидесятые годы и начало 70-х годов — это время, когда культурное строительство в стране осуществляется в условиях борьбы советского народа за всестороннее совершенствование социалистических отношений. Выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства СССР (1959–1965), восьмой пятилетки (1966–1970) и работа по планам девятой пятилетки (1971–1975) создали могущественный экономический потенциал, способствовали повышению благосостояния и культурного уровня народа. На карте страны появились новые индустриальные гиганты — Братская и Красноярская ГЭС, Волжский автозавод, КамАЗ, сотни километров Байкало-Амурской магистрали… Широко используется в мирных целях атомная энергия…

Происходят дальнейшие изменения в социальной структуре советского общества, формируется новый уровень его идейно-политического и морального единства. Как отметил XXIV съезд КПСС, на основе повышения социальной однородности советского общества, возрастания его идеологического единства, расцвета национальных культур советских народов"…в совместном труде, в борьбе за коммунизм успешно развивается *новая историческая общность людей — советский народ".* Единая советская многонациональная культура еще интенсивней, чем прежде, формируется путем взаимодействия и взаимообогащения братских советских национальных культур.

Важнейшими событиями этих лет стало празднование 50-летия Великого Октября, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Растущее экономическое и оборонное могущество стран социалистического содружества, которые возглавляют широкое движение за сохранение мира, сдерживает международную империалистическую реакцию, склонную искать выхода из обострения противоречий общего кризиса капитализма в гонке вооружений и агрессивных авантюрах. Тем не менее действия руководящих кругов некоторых империалистических государств, и в первую очередь США, не однажды вызывают серьезные осложнения международной обстановки и ставят человечество перед угрозой истребительной войны.

Всестороннее сотрудничество социалистических стран достигает уровня экономической интеграции, координируемой деятельностью Совета Экономической Взаимопомощи. На основе активного взаимодействия культур стран социалистического содружества, руководимых марксистско-ленинскими партиями, возрастают идейная близость и единство этих социалистических культур.

В таких обстоятельствах проводил свою внутреннюю и международную деятельность один из отрядов советской художественной культуры — Союз писателей СССР. Вместе со штабом писательской организации — секретариатом — Федин определял главную линию работы писательского Союза, намечал планы его деятельности, руководил заседаниями секретариата и правления, участвовал в важнейших творческих дискуссиях, добивался проведения в жизнь принятых решений.

На момент Третьего съезда в рядах Союза писателей состояло около пяти тысяч человек, создававших произведения почти на 70 языках народов СССР. Это была большая творческая сила. Только за 1961–1967 годы Ленинской премии удостоены поэма "За далью — даль" А. Твардовского, "Ледовая книга" Ю. Смуула, "Повести гор и степей" Ч. Айтматова, "Избранная лирика" С. Маршака,

роман «Тронка» О. Гончара, "Брестская крепость" С. Смирнова, поэтические книги А. Прокофьева, П. Бровки, Р. Гамзатова, М. Светлова…

В первые десятилетия после Великого Октября русская советская литература произведениями Горького, Маяковского, Шолохова, А. Толстого и других писателей явила творческий пример и оказала большое воздействие на литературное развитие всех социалистических наций. По справедливому наблюдению критики, "…это влияние продолжается и развивается. Вместе с тем с каждым годом все очевиднее становится обратный процесс — процесс воздействия братских литератур на русскую". Действительно, достоянием всей многонациональной советской литературы, а не только породившей их национально-языковой среды, явлениями, без которых невозможно представить себе поступательное движение также и русской советской литературы, стали книги О. Гончара, М. Ауэзова, Ч. Айтматова, В. Быкова, Ю. Смуула, М. Стельмаха, Р. Гамзатова, М. Карима, Э. Межелайтиса, М. Слуцкиса, И. Друцэ, Й. Авижюса, К. Кулиева, Д. Кугультинова и других писателей.

Отзывом на насущные задачи развития литературы и культуры явилось одно из первых крупных творческих обсуждений, проведенных Союзом писателей СССР под руководством Федина. В октябре 1960 года состоялось расширенное заседание секретариата правления СП СССР, посвященное проблемам художественного перевода.

С большой речью о теории и искусстве перевода выступил Федин. "В молодости я живал в степях Казахстана, — привел он пример, — и немало видел тогдашних кочевников-казахов. Но только Мухтар Ауэзов сделал насыщенным мое знание казахского народа своим «Абаем», и близкие мне степи с их ветрами и ароматом дышат теперь в такт с моим дыханием, как будто я стал казахом… Благодаря искусству переводчика в нашей душе поселены миры и миры… Я говорю о переводческой деятельности в обмене достижениями художественной литературы между разноязычными народами Советского Союза и о переводной литературе с языков зарубежных стран… Для всего дела художественного перевода наступает как бы новая историческая полоса".

Рост национальных культур братских советских народов и усиление творческого взаимодействия между ними привели к тому, что наряду со всесоюзными традиционными смотрами, вроде декад литератур и искусств в Москве, все шире практикуются межреспубликанские недели культуры и двухсторонние писательские встречи в республиках — вроде дней

русской советской поэзии в Молдавии или Недели казахской литературы в Латвии и т. п. Этим выдвинутым жизнью новым формам общения деятелей советской культуры руководитель Союза писателей придает особое значение. Как отмечает Федин, они стимулируют"…более глубокое взаимное изучение литератур советских народов. Такие рабочие встречи, несомненно, будут способствовать серьезному развитию переводческой деятельности во всех национальных советских республиках". Федин заботится, чтобы нововведения внедрились, вошли в обиход, стали традицией.

Не устает Федин пропагандировать классику братских советских национальных культур. 150-летие со дня рождения Т.Г. Шевченко весной 1964 года отмечается в Киеве объединенным пленумом правления Союза писателей СССР и Союза писателей Украины. Федин произносит красочную речь, названную им "Свет шевченковского слова". Юбилей великого украинского революционного демократа руководитель Союза писателей СССР наполняет глубоко современным содержанием. "Основная тема пленума, — говорит Федин, — проблема народности и партийности советской художественной литературы… Никакой иной город, как Киев, и никакое иное имя поэта, как имя Тараса Шевченко, не могли быть нынче счастливее избраны для большого собрания писателей СССР, посвященного названной мной проблеме".

Можно сказать, нет таких форм, которые не использовал бы Федин для пропаганды богатств и достижений многонациональной советской литературы, для усиления взаимного общения и дальнейшего сближения разных ее творческих отрядов и подразделений.

Все крупное, яркое в братских художественных культурах вызывает любовь и гордость писателя. «Соратник» — так назвал Федин статью о Мухтаре Ауэзове, которой он отозвался на его безвременную кончину в июне 1961 года. Образ выдающегося представителя культуры своего народа, исполненной интернационального содержания, встает из статьи. "Как писатель, он в лице своем с яркостью необыкновенной воплотил символ совершенно нового революционного понятия, которое мы обозначаем "многонациональная советская литература", — писал Федин. — Он был выражением ее в новейшем казахском национальном творчестве… Тот факт, что не только наша страна, но также почти весь Восток и многие страны Запада услышали его голос и удивились ему, говорит нам об историческом рождении и взлете еще недавно малоизвестной страны степей и гор — Казахстана".

С радостью узнал Федин о появлении первого писателя народа нивхов. В январе 1962 года Владимир Санги, впоследствии один из создателей нивхского алфавита, прислал Федину из Южно-Сахалинска первую книгу записанных им "Нивхских легенд", которая вышла тогда еще на русском языке. Федин отозвался письмом, содержащим подробный разбор произведений сборника, которые показывают, по его словам, что "фольклор советских народов обогащается теперь еще одним красочным притоком". 15 января 1962 года Федин писал Санги: "Итак, появился первый нивхский писатель — певец нивхов, которому предстоит открыть другим народам душу и сердце своего… Велики перемены, которые принесла нашей стране Октябрьская революция… Невольно думаешь об этом, вспоминая горькое предсказание Чехова об обреченности судьбы «гиляков». Судьба переменилась — это можно с уверенностью сказать теперь, когда народности Севера и Дальнего Востока… возвышают свою национальную культуру в добытых своим трудом условиях социализма…"

Между Санги и Фединым завязалась переписка. Впоследствии Санги имел основания назвать Федина "патриархом многонациональной советской литературы".

Много внимания уделяет Федин разнообразной международной деятельности Союза писателей СССР. Стремясь к укреплению отношений со всеми писателями Запада прогрессивных воззрений, с набирающим силу и размах движением литераторов стран Азии и Африки, с писателями Латинской Америки, руководитель Союза писателей СССР четко обозначал основы, на каких эти отношения должны строиться. На представительной встрече литераторов социалистических стран в 1971 году Федин говорил: "Мы готовы спорить, объяснять, готовы вникать в особенности… положения, увеличивать число точек соприкосновения, ни в коей мере не поступаясь, разумеется, при этом своими коммунистическими принципами. Вот единственно верный плацдарм, на котором могут развиваться международные писательские связи".

Под руководством Федина готовились и проводились многие форумы, получившие широкое творческое и общественно-политическое признание, оставившие след не только в истории советской литературы. Таковы Международная встреча писателей Европы в Ленинграде (1963), посвященная настоящему и будущему романа; первое совещание руководителей Союзов писателей социалистических стран в Москве, которое положило начало ряду таких встреч, ставших с тех пор традиционными…

Некоторые тогдашние выступления Федина, например, его

речь на заседании Европейского сообщества писателей в Ленинграде летом 1963 года при обсуждении настоящего и будущего романа, когда среди съехавшихся из разных стран делегаций количественный перевес далеко не был на стороне приверженцев реализма и общественного служения литературы, показали образцы боевой публицистической критики… Произнеся речь, достойную одного из крупнейших романистов Европы, Федин четко сформулировал суть мировоззренческих расхождений: они состоят в различиях "между романистом, отвечающим за одного себя перед самим собою, и романистом, отвечающим перед всеми за все им содеянное… Может быть, еще во многом мы не найдем одного языка, — заключил Федин. — Но, чтобы искать, у нас есть очень просторная база — человечность, в понятие которой входит всеобщий мир".

Идейных соратников и друзей видел Федин в писателях социалистических стран. У него и в самом деле в их среде было множество долголетних личных привязанностей — в ГДР, в Чехословакии, в Польше, в Болгарии… Конечно, особенно в ГДР. Иоганнес Бехер, Леонгард Франк, Бертольт Брехт, Анна Зегерс, Вилли Бредель, Людвиг Ренн, Арнольд Цвейг… — только некоторые из тех, с кем он не упускал случая увидеться, о ком писал в очерках и статьях, встретить кого доставляло радость. Все это были идейные единомышленники, верные друзья Советского Союза, среди них Федин чувствовал себя как дома.

В 60-е годы Федин вновь несколько раз бывал в ГДР. В мае 1965 года глава советских писателей выступал в Веймаре на международной встрече писателей 50 стран, посвященной 20-й годовщине освобождения Германии от фашизма. "Высокий долг культуры" — так он назвал свою речь. В июне — июле 1967 года Федин приехал в Берлин на заседание Общества немецко-советской дружбы. Этот приезд в ГДР оказался последним, по состоянию здоровья врачи не отпускали больше его даже в такие сравнительно недальние поездки…

Зимой 1964 года в Москве, в Центральном Доме литераторов, состоялся вечер, посвященный 70; летию со дня рождения Ярослава Ивашкевича. В "Слове об Ивашкевиче", обращенном к человеку, которого Федин любил, он сказал многое из того, что мог бы сказать и о других писателях-соратниках из братских социалистических стран, испытанных на самых крутых поворотах и в трудной страде на дорогах века. "Советскую литературу сближает с творчеством Ярослава Ивашкевича его основные взгляды на художника, на искусство нашего времени… — говорил Федин. — Я не беру на себя смелость назвать нашу страну второй родиной Ивашкевича. Но не называет ли он ее таким именем

сам?.. Если внутренне наши литературы — польская и советская — будут тяготеть друг к другу, как две любви, наше искусство превратится в драгоценный слиток.

Ведь мы уже ныне живем в то время, о котором, по убеждающему слову Александра Пушкина, Адам Мицкевич говорил как "о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся"… Единая семья наших братских народов должна и будет иметь братскую литературу".

Внимательно следил старейшина писательского цеха за текущим литературным процессом. Своевременные оценки Федина в 60-е годы решающим образом отразились на творческих биографиях или судьбах книг таких мастеров, как А. Лебеденко, Г. Коновалов, М. Бахтин, М. Щеглов…

С радостью выделял Федин успехи крупных талантов, уверенно входящих в литературу, обращающихся к анализу глубин народной жизни. Об этом говорит обмен письмами с Василием Шукшиным.

25 сентября 1967 года, прочитав в верстке журнала "Новый мир" рассказы Шукшина, Федин отправил автору такое письмо:

> "Уважаемый Василий Макарович, — писал он, — сейчас, получив верстку 9-го номера "Нов[ого] мира", прочитал два Ваших рассказа и после первого сразу схватил перо, чтобы написать Вам — о чем? — только о том, как растроган, взволнован отличной Вашей прозой художника! Думал — похвалою рассказа "В профиль и в анфас" ограничусь, но, складывая листы, остановился на рассказе "Как помирал старик" и тоже прочитал, и тоже растрогался.
>
> Знаю, Вы поймете меня: в рассказе нет и тени сентиментальности, да и я никогда не страдал этой болезнью. А трогает, будит чувство разительная верность Вашей речи, воспринятой от героев и словом писателя героям возвращенной.
>
> Я и прежде дивился Вашему острейшему умению изображать лица средствами диалога. В мастерстве этом Вы, кажется, совершенствуетесь все больше.
>
> У меня нет никаких целей, кроме желания сказать Вам по-читательски — спасибо за доставленную радость превосходного чтения. Пишу же Вам, дорогой товарищ, с настоящим удовольствием…"

> "Дорогой Константин Александрович! — почти тотчас же отозвался Шукшин. — Знаю, Вы за свою славную, наверно, не всегда легкую жизнь одобрили не

одного, не двух. Но вот это Ваше бесконечно доброе — через Москву — прикосновение к чужой судьбе будет самым живительным. (Приму на себя смелость и ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — обещать.)

Получив Ваше письмо, глянул, по обыкновению, на обратный адрес и… вздрогнул: "от К. Федина". Долго — с полчаса — ходил, боялся вскрыть конверт. Там лежал какой-то мне приговор. Вскрыл, стал читать… Прочитал первые строки, стало больно и стыдно, что рассказы мои не заслуживают столь высокой оценки мастера. Захотелось скорей прочитать письмо и потом помучиться, помычать и сесть и писать совсем иначе — хорошо и крепко. А потом перечитывал письмо, немножко болело, но крепло то же желание: писать лучше. "Бог с ним, думаю, переживу я это письмо, но отныне нигде не совру, ни одно слово не выскочит так".

Спасибо Вам, Константин Александрович!

У Вас добрая, теплая, наработавшаяся рука.

Дай Вам бог здоровья!.. 30 сент. 67 г. Вас. Шукшин".

Вернейшим нравственным ориентиром, университетами идейно-художественного опыта для текущего литературного процесса руководитель писательской организации страны считал прежде всего классику советской литературы. Среди работавших рядом мастеров особое место в ней принадлежало М. Шолохову.

В мае 1965 года в Колонном зале Дома союзов состоялся вечер, посвященный 60-летию М.А. Шолохова. В зале, который был свидетелем крупнейших событий в истории советской литературы, Федин прочитал с листков свое яркое, отточенное "Слово о Шолохове".

Прежде всего Федин отметил мощь эпического таланта и широту диапазона художественных сил писателя. Он напомнил лишь об одном разительном факте, который уже сам по себе составляет подвиг для пишущего: в начале 30-х годов почти сразу вслед за публикацией второго и третьего томов "Тихого Дона" в советской литературе явилась первая книга "Поднятой целины". Писатель, казалось бы, без видимых усилий совершил переход от одного жизненного предмета повествования к другому — от сравнительно давней истории к стремительно бегущим событиям дня.

Федин выделил решающие особенности худоя?ествен-ного дара и творческого опыта Шолохова, чрезвычайно важные для советской литературы, для всей художественной культуры.

"Громадна заслуга Михаила Шолохова в той смелости,

которая присуща его произведениям… — подчеркнул Федин. — Он никогда не избегал свойственных жизни противоречий, будь то любая эпоха, им воображаемая. Его книги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего. И я невольно вспоминаю завет Льва Толстого, данный им самому себе еще в молодости, завет не только не лгать прямо, но и не *умалчивая.* Шолохов не умалчивает, он пишет всю правду. Трагедию он не переводит в драму, из драмы не делает занимательное чтение… Но сила правды такова, что горечь жизни, как бы даже ужасна она ни была, перевешивается, преодолевается волею к счастью, желанием его достичь… Недаром мы усвоили такое понятие, как "оптимистическая трагедия", зная хорошо, что это вовсе не пустая игра слов… Таков, в частности, великолепный заключительный том "Тихого Дона".

На высоких заветах классики, на традициях революционного искусства стремится воспитывать Федин и молодое пополнение советской литературы, к общению с которым испытывает особое влечение. "Учитесь у жизни" — так названа речь, которую произносит Федин на IV Всесоюзном совещании молодых писателей в мае 1963 года. В марте 1969 года происходит творческая встреча Федина с участниками V Всесоюзного совещания молодых писателей.

Глубина профессионального разговора, отличавшая работу Федина с творческой молодежью еще в пору преподавания в Литературном институте, сочетается с широтой обсуждения самых насущных мировоззренческих проблем. "Я думаю, мастерство художника — это прежде всего мастерство наблюдения и понимания жизни и только *вместе с тем* мастерство воплощения жизни в художественном образе", — повторяет он один из своих афоризмов.

В мае 1967 года собрался Четвертый Всесоюзный съезд писателей. Вступительное слово произнес Федин. Был зачитан коллективный доклад правления — "Советская литература и строительство коммунизма". С докладами по творческим жанрам — о развитии прозы, поэзии, драматургии и литературной критики выступили: Г. Марков, М. Дудин, А. Салынский, Л. Новиченко.

Четвертый съезд проходил в год 50-летия Великого Октября, и это определило основной угол зрения, под которым рассматривались творческие проблемы. Коллективно осмыслялись итоги развития литературы за полвека, обсуждалось значение традиций искусства социалистического реализма, заветов В.И. Ленина и А.М. Горького, накопленного идейно-художественного опыта в коммунистическом воспитании народа

и современной битве идей на международной арене.

О важности смотра идеологического оружия Федин сказал в своей речи на объединенном юбилейном пленуме творческих союзов и организаций СССР и РСФСР во Дворце съездов 21 октября 1967 года, выступая от имени всех родов и жанров советской художественной культуры (литература, музыка, архитектура, театр, живопись, скульптура, кино).

Четвертый Всесоюзный съезд писателей оказался последним писательским съездом, в работе которого Федин принимал непосредственное участие. На Пятом съезде (июнь — июль 1971 года), отметившем огромный общественно-литературный авторитет Федина избранием его председателем Союза писателей СССР, и на Шестом съезде (июль 1976 года) состояние здоровья уже не позволило Федину присутствовать лично, хотя председатель Союза писателей СССР внимательно следил за работой обоих литературных форумов, интересовался их подготовкой и делал все от него зависящее для их успешного проведения.

Обобщенное представление о Федине-руководителе дают его ближайшие коллеги. Из постоянных встреч и почти 20-летней совместной работы по руководству писательской организацией страны выводит Г. М. Марков наблюдения о чертах Федина как общественного деятеля, о разнообразии его обязаностей. "Огромное личное обаяние, — вспоминает он, — спокойствие и мудрость, неохватный литературный опыт, высокая принципиальность во всем, какая-то необыкновенная проницательность в понимании сложностей не только социальной борьбы, но и житейских обстоятельств — качества Константина Александровича… За эти годы я провел бок о бок с ним многие часы, многие дни и даже месяцы. Мы не просто встречались для случайных бесед в Союзе писателей на Воровского, или на Лаврушинском… или в Переделкине, или в Узком и Барвихе, или в Карачарове Калининской области. Мы вместе работали — читали рукописи и книги, обсуждали их, готовили доклады на наши совещания, пленумы и съезды, встречались с писателями, иногда представляли Союз писателей в государственных и партийных организациях. Неоднократно бывал я с Константином Александровичем и в поездках — в ГДР, в Ленинграде, на Украине, на Кавказе… Считаю, что под его руководством я прошел хорошую школу и как литератор, и как работник на культурном и общественном поприще".

* * *

…Последний период жизни Федина полон крупных, неизгладимых переживаний.

60-е годы начались с великого события в истории человечества. 12 апреля 1961 года, облетев земной шар на советском космическом корабле-спутнике «Восток», Юрий Гагарин открыл эру полетов человека в космос. То, о чем Федин не так давно размышлял в очерке "К звездам", свершилось раньше, чем он мог предположить. "Дерзновенный сын народа" — так назвал Федин короткий отклик, который он напечатал на следующий день в «Правде». По газетной заметке видно, что писатель не в силах справиться с охватившим его чувством, он обрадован, изумлен, буквально не может еще подыскать слов, чтобы выразить свой восторг. "Где то слово, которое вместит в себя волнение этого дня! — пишет Федин. — Такого слова я не могу найти…"

Меньше чем через месяц Федин встречался с Гагариным. 4 мая писатели столицы принимали у себя в Доме литераторов Юрия Алексеевича Гагарина — "любимца народа, живую легенду этой весны", как написал о нем один из присутствовавших на вечере. Гагарин поразил всех застенчивой улыбкой, сдержанной простотой рассказа, своими словами: "Полет — работа!" После окончания вечера старейшина советских писателей принимал Гагарина. Они долго и сердечно беседовали.

Это было 4 мая, а два месяца спустя космический корабль «Восток-2», пилотируемый Германом Титовым, совершил более 17 оборотов вокруг земного шара в течение 25 часов. Как ни замечательно было новое свершение, оно уже не застало врасплох. Перед глазами стоял образ улыбающегося Гагарина. "Страна чудес" — так называется публицистический отклик Федина, напечатанный в «Правде» 17 августа 1961 года.

"Отточенная, стремительная воля коммунистов вырастила поколения героев, — писал Федин, — на которых залюбовались бы богатыри былин. Что еще вчера казалось отдаленным будущим, стало нашим настоящим… Вот уже новый взлет советского человека в открытый им звездный мир. Крылья наши все крепнут, их сила растет, и росту их не будет предела. Душа полна растроганной благодарности к юной, бесстрашной Родине храбрецов и гениев… Спасибо вам, новый герой космоса, Герман Титов. За Юрием Гагариным за вами выстроилась очередь следующих советских космонавтов".

Действительно, полеты в космос вошли вскоре в обиход героических будней советского народа.

24 февраля 1962 года Федину исполнилось 70 лет. Утром на дачу принесли газеты: писатель награжден орденом Ленина.

Федин приглушил радость. Не стал пока смотреть и пачки поздравительной почты и телеграмм, ожидавших на первом этаже в гостиной, на столике. Утро своего возрастного перевала Федин встречал наверху, у себя в кабинете, как привык начинать всякое утро, — за работой. Надо было прежде всего разобраться с деловыми письмами, накопившимися за те недели, пока он очередной раз хворал. Некоторые ждали ответа уже давно… Федин работал… Из-за письменного стола он поднялся только к обеду. И уже после этого дал волю чувствам.

Юбилей отметили творческим вечером писателя в помещении Государственного театра имени Евг. Вахтангова. Вахтанговцы показали сцены из спектакля "Первые радости", в котором играли лучшие силы театра. Трогательно и живо прошла официальная часть. В духе всего празднества выступил с ответным словом и Федин, назвав юбилей "днем дозволенных преувеличений".

Сохранившаяся читательская почта тех лет показывает, однако, что особых «преувеличений» не было. Кто только не писал Федину! Академик-физик, врач, контрадмирал, учитель, рабочие бригады социалистического труда завода фотокиноаппаратуры из Дрездена, назвавшие свою бригаду именем Федина, студенты литературного семинара из Лейпцига, участники гражданской войны из Саратова, школьники… В почте читательских откликов привлекает внимание письмо вьетнамского журналиста Тран Дюонг Тюонг от 23 февраля 1958 года, поступившее в адрес редакции "Нового мира". Тюонг рассказывает, как книга Федина помогала ему и его товарищам в годы войны с французскими колонизаторами: "Однажды зимним утром… когда я с отрядом прятался в лесной чаще, ко мне попал, я уже не помню как, номер вашего журнала. В то время я был бойцом Народной вьетнамской армии. Какова же была моя радость при виде этой потрепанной книжки… Я буквально проглотил ее от первого до последнего слова. Особенно мне понравился роман товарища К. Федина "Необыкновенное лето". И не раз, находясь в тяжелой обстановке, я пересказывал его моим товарищам, и это, я клянусь вам, чудодейственно поднимало у них дух".

В 1971 году Федин получил из Ханоя бандероль — два томика в простеньких бумажных обложках. Это был роман "Необыкновенное лето" в переводе на вьетнамский язык. Листая томик у себя дома, в кругу друзей, Федин говорил:

— Непонятны эти черные семена по бумаге, текст свой, а не прочитаешь. Но главное, что книга о нашем 1919 годе понадобилась людям борющегося Вьетнама! — Он не хотел

пафоса, но в голосе прозвучала гордость.

Федин читал немецкие корректуры: к 70-летию писателя в ГДР завершалось издание его Собрания сочинений в десяти томах. Федин шутил, что сборник "Писатель. Искусство. Время" у него тоже по-своему «юбилейный»: он дважды его дорабатывал — дополнял новыми статьями, очерками, литературными портретами, речами, рецензиями, воспоминаниями — к 70-летию, а затем — к 80-летию… Свои юбилеи Федин встречал делами…

В июне 1963 года Федин получил приглашение принять участие в работе Пленума ЦК КПСС, посвященного идеологическим вопросам. Известие взволновало писателя. "Вот какой чести я удостоен! — высказывался он в кругу коллег. — Слыхано ли, чтобы меня, беспартийного старика, пригласили на Пленум высшего органа партии?.. Да еще просили выступить!.."

Листки, испещренные четким, красивым фединским почерком, остались от тех дней, когда писатель тщательно готовился к предстоящему выступлению. О чем говорить? Какие темы избрать из множества тех, по которым так хотелось бы высказаться?

С этих своих недавних сомнений и начал Федин выступление с трибуны Пленума. Окончательный выбор ему помог сделать профессиональный опыт литератора: "Сказать всего" еще не удавалось и плохому писателю в самой толстой книге". Вот почему"…остается ограничить свою тему вопросом: что же ты считаешь главным в проблемах, которые нынче с такой животрепещущей силой волнуют весь мир искусства?"

Таких проблем в условиях обострившейся идеологической борьбы между противоположными общественными системами, по мнению оратора, три: это — художник и политика, точнее, партийность искусства; социалистический реализм и нападки на него идеологических противников; наконец, это контакты деятелей советского искусства с зарубежной творческой интеллигенцией.

Особенное раздражение у идеологических недругов советской литературы вызывает факт ее теснейшей связи с Коммунистической партией. Недопустима, внушают они, самая возможность влияния партии на литературу. Провозглашая идеалом художника аполитизм, такие западные критики собственные выступления против партийности советского искусства, как иронически заметил Федин, считают, по-видимому, образцом аполитичности.

Но советское искусство избирало свою дорогу не вчера. Еще в годы гражданской войны старшие и тогда не старые русские писатели решали, по какую сторону баррикады стать. А лучшие

из тех, кто ошибался в выборе, старались исправить заблуждение. Федин привел в пример судьбу замечательного художника Алексея Толстого, трагические судьбы Куприна и Бунина.

"Всякий опыт складывается из плюсов и минусов, — заявил Федин. — Опыт судеб старших писателей, опыт трагедий, как уроки жизни, усваивался советскими писателями наряду с тем величайшим историческим уроком, который черпали они в клокотавшей гуще своего революционного народа. Они строили новый мир вместе с народом. Они защищали родину Октября и прошли с народом вместе по залитым кровью лучших наших людей дорогам к победе в Великую Отечественную войну… Какие же могут быть надежды у антикоммунистов поссорить советское искусство с партией?"

Нечто подобное можно сказать и о фундаменте эстетики советского искусства — методе социалистического реализма. Он рожден"…не в кабинете начетчика и не в келье отшельника… Уже прошло не одно десятилетие, как во всех областях нашего искусства социалистический реализм стал традицией творческой практики художника".

Вот эти-то основы советского искусства и атакуют идеологические противники, заимствуя доводы чаще всего из арсеналов формалистической эстетики, якобы находящейся вне политики. Открыто исповедуя коммунистическую партийность, искусство социалистического реализма непримиримо к буржуазной идеологии, ведет с ней беспощадную борьбу. Это не исключает, а предполагает дискуссии с прогрессивно мыслящей художественной интеллигенцией Запада, вызванные недопониманием или различием позиций. "Советские писатели считают необходимым углублять такое общение, — заявил Федин. — Базой его служит осознанная необходимость помогать всем народам в их борьбе против угрожающей человечеству новой истребительной войны… Мы строим новый мир, — заключил Федин, — мы строим нового человека в мире. И место советского художника — на этой славной работе!"

Речь Федина, посвященная главным проблемам современной идеологической борьбы в сфере художественной культуры, будучи сугубо деловой, была и личным самоотчетом писателя родной партии. Вместе с тем Федин говорил не только как литератор. Еще в начале выступления он пояснил: касаясь искусства, он будет обращаться к творческому опыту не только литературы, но живописи, ваяния, музыки, сцены… На Пленуме Федин говорил как бы от имени всей советской художественной культуры. И хотя в числе ораторов были и другие писатели и деятели искусств, речь старейшины советской литературы

произвела на участников Пленума особое впечатление.

Присутствовавший на заседаниях К.В. Воронков вспоминает, что"…после окончания речи Федину была устроена бурная продолжительная овация. Он медленно шел от трибуны по центральному проходу Кремлевского дворца, опустив голову от смущения. Сел на место. Аплодисменты продолжались. Федин встал и поклонился участникам заседания. Он был очень взволнован…"

Отзвуки этой речи запечатлела и почта, полученная Фединым в ближайшие дни. Таково было, например, письмо народного писателя Башкирии Мустая Карима. "Я, как, вероятно, очень многие литераторы нашей страны, — писал М. Карим, — полон благодарности Вам за Ваше выступление на Пленуме ЦК КПСС… Речь великолепно зарекомендовала нашу писательскую общественность партийному активу страны. Сама речь показала, с какими высокими помыслами живут и работают советские писатели".

На развитие культуры направлял Федин и усилия в качестве депутата Верховного Совета СССР, в который был избран в 1962 году.

В пределах Фрунзенского избирательного округа столицы располагалось много учебных заведений, организаций и учреждений культуры. Предвыборные встречи с кандидатом в депутаты состоялись в аудитории Московского университета, в Центральном Доме литераторов, в зале консерватории… Яркой была речь Федина на многолюдном собрании в Библиотеке имени Ленина, этом "Эльбрусе нашей культуры", как он выразился."… Эта библиотека, — сказал Федин, — носит имя человека, который начал культурную революцию, вручил стране новую подорожную в жизнь — имя Ленина". Писатель развивал тему о роли книги и печатного слова в духовном воспитании народа, о повседневном воздействии, которое оказывают такие вот, как этот, тихие читальные залы на окружающую жизнь.

"На днях я проезжал мимо Автомобильного завода имени Лихачева, — говорил Федин. — В начале 30-х годов я видел, как там пустили первый конвейер. Сейчас гигантское пространство застроено цехами. Вся окрестность района перевоплощена… Увидишь такое заново и поразишься — ужель это та самая страна, где я родился?.. Если припомнить начальный период Октябрьской революции, то библиотечное дело было первым рычагом, которым Советская власть начала осуществлять культурную революцию в России… С тех пор библиотека стала огнем, который согревал народ. Она вливала в массы уверенность, что они быстро поднимутся к великим делам, рассеют тьму, веками

слепившую их взор…"

Вскоре после завершения выборной кампании Федин опубликовал газетную статью "К новым и новым большим работам!", где заявил о необходимости в будничных конкретных делах воплощать долг депутата. "Вновь избранный состав высшего советского парламента, — писал он, — должен означить собой наилучшую работу всей страны. Эта работа не только представительная, «лицевая», это также творение той повседневной работы, без которой не будет у народа и лица".

Депутатская почта Федина за 1962–1977 годы, когда он представлял в высшем органе государственной власти Фрунзенский, а затем Первомайский и Тушинский избирательные округа Москвы, — это тома и тома переписки… В потоке почты редки случайные обращения. Обычно за письмом — человеческая судьба, ждущая поддержки, дело, не терпящее отлагательства, голос, взывающий к высокому авторитету.

Культура начинается с быта. Много просьб об улучшении жилищных условий. Ведь Федин — депутат от густонаселенных и новостроящихся районов Москвы… Запутанные пенсионные дела… Призывы вмешаться в работу учреждений медицины, образования и торговли… Предложения о сохранности памятников старины и культуры…

И вот уже депутат наводит справки… Ответ избирателю, чаще всего личный, от руки. И — письма в райисполкомы, в ведомства. Тут же подшиты копии нередких официальных решений: просьба исполнена… Каждодневный ходатай по чужим делам при всех других обязанностях — легко ли это? Но такую заботу поручили ему избиратели. "Помогать нашим людям, которые действительно нуждаются в помощи, — говорил Федин, — это и есть самое важное в деятельности советского депутата независимо от того, кто он — слесарь, инженер или писатель… Таким представляется мне долг истинного слуги народа".

В феврале 1967 года за выдающиеся заслуги перед советской литературой и в связи с 75-летием со дня рождения Федин был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Третье издание сборника "Писатель. Искусство. Время", вышедшее в 1973 году, обильно дополнено литературно-критической публицистикой разных жанров. Это работы о Т. Шевченко, Ф. Шиллере, Вс. Иванове, О. Форш, Ф. Гладкове, А. Гайдаре, Н. Погодине, В. Бределе, А. Барбюсе, Х. Лакснесе, М. Шолохове, Я. Ивашкевиче и др. Уже один этот перечень говорит о том, что перо писателя не уставало трудиться. Однако здоровье ухудшалось…

Впервые заявив о себе летом 1965 года, болезнь в

дальнейшем медленно, но неуклонно отнимала одно за другим — сначала возможности дальних поездок, потом возможность выходить из дому, потом ограничила даже передвижения внутри дома. Образ больного, но не сокрушенного недугом Федина запечатлел К. Симонов. Таким он видел писателя в феврале 1977 года, в день его 85-летия."…Старость… пощадила его дух… — пишет Симонов. — В тот день восьмидесятипятилетия мы сначала тревожно и даже боязливо следили за тем, как его близкие помогали ему перейти из кабинета, где он нас встретил, в соседнюю комнату, в последние годы превращенную в маленькую семейную столовую на верхнем этаже дачи. Здесь он хотел нас принять, с рюмкой водки в руке, сидя во главе стола на привычном для себя месте. Опаска, с которой мы, толпясь, шли позади него во время этого медленного передвижения, за столом сразу исчезла. Нет, хозяин не бодрился, помнил и о своих годах, и о тяжести своего физического состояния, и не пробовал делать вид, что ему легко дался этот переход из кабинета в столовую, — но при всем этом оставался самим собой, Фединым.

Так же слушал, чуть склонив набок голову и вдруг вскидывая внимательные глаза прямо в лицо говорящему; так же, как и всегда, говорил, на ходу дотачивая до совершенства фразу и где-то в придаточном предложении вдруг оперяя ее шуткой; так же, как всегда, пил не что-нибудь другое, а именно водку… И в глазах его за тот час или полтора, что мы у него сидели, несколько раз промелькнуло нечто привычно озорное… Потом мы ушли, а Федин еще остался за столом вместе с подъехавшими к этому времени товарищами из его избирательного округа".

В мае 1977 года журнал «Коммунист» опубликовал статью Федина, которой суждено было стать его последним выступлением в печати. Она называлась "Наши крылья. Слово к шестидесятилетию Октября". "Коммунизм, реальные приметы которого художник видит в нашей действительности, действительности развитого социализма, — писал Федин, — это наши крылья".

Константин Александрович Федин скончался 15 июля 1977 года.

"Пламенный патриот социалистического Отечества, — говорилось в правительственном некрологе, — К.А. Федин стал вдохновенным певцом революции, с большой художественной силой рассказал о главных этапах завоевания и строительства новой жизни… Лучшие произведения К.А. Федина составляют наше драгоценное национальное достояние, широко известны во всем мире… Признанный классик советской литературы, человек огромной культуры и личного обаяния, К.А. Федин будет вечно

жить в памяти народной".

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К.А. ФЕДИНА

1892, 24 февраля (12 февраля по ст. стилю) — в Саратове, в семье приписанного к мещанскому сословию приказчика писчебумажного магазина Александра Ерофеевича Федина и его жены Анны Павловны родился сын Константин.

1899–1907 — посещение Сретенского начального училища (до 1901 года); ученичество в Саратовском коммерческом училище.

1908, осень — 1911, лето — учение в Козловском коммерческом училище.

1911–1914, май — студент экономического отделения Московского коммерческого института.

1913, октябрь — первая публикация в журнале "Новый Сатирикон" под псевдонимом Нидефак.

1914, август — 1918, август — гражданский плен в Германии. После высылки из Дрездена (ноябрь 1914) — жизнь на положении "враждебного иностранца" в городах Циттау (до мая 1918) и Гёрлице.

1916-1918 — сближение с левыми немецкими социал-демократами. Чтение "женевских брошюр" В.И. Ленина и издавши немецких спартаковцев.

1916 — встреча с Ханни Мрва.

1917–1918 — хорист и певец на сценах городских театров в Циттау и Гёрлице.

1918, 4 сентября — приезд из Германии в Москву.

1918, октябрь — 1919, февраль — заместитель заведующего общей канцелярией Наркомпроса РСФСР.

1919, февраль — смерть матери Анны Павловны; *конец февраля — октябрь* — Сызрань, редактирование журнала «Отклики»; *октябрь* — вступление в Красную Армию.

1920, 25 февраля — встреча с А. М. Горьким; *19 июля* слушает доклад В.И. Ленина на открытии II конгресса Коминтерна.

1921, февраль — 1924 — сотрудник журнала "Книга и революция".

1921, февраль — приход в литературную группу "Серапионовы братья".

1922, зима — женитьба на Доре Сергеевне Александер; начало работы над романом "Города и годы"; *сентябрь* — рождение дочери Нины.

1923 — сборник прозы «Пустырь»; *июнь* — смерть отца

Александра Ерофеевича.

1924, ноябрь — вышел из печати роман "Города и годы".

1925-1926 — ответственный секретарь журнала «Звезда»; заведующий отделом Ленгосиздата. Переход на профессиональную творческую работу.

1926–1928 — работа над романом «Братья», начало тесной близости с литературно-художественным «кругом» Детского Села А.Н. Толстого — В.Я. Шишкова.

1927 — издан сборник "Трансвааль".

1927-1928 — выходит первое Собрание сочинений в четырех томах.

1928, лето — издан роман «Братья»; *конец шюня — конец сентября* — поездка по Норвегии, Дании, Голландии, Германии.

1927-1933 — инициатор создания и первый председатель правления кооперативного Издательства писателей в Ленинграде.

1929–1933 — работа над первой книгой романа "Похищение Европы".

1931, сентябрь — 1932, декабрь — лечение в горных туберкулезных санаториях Швейцарии и Германии.

1932, конец года — 1934, август — деятельность в качестве члена Оргкомитета по созданию Союза писателей СССР.

1933–1935 — работа над второй книгой романа "Похищение Европы".

1934, август — выступление на Первом съезде советских писателей.

1936-1939 — "большие поездки" по стране — по городам Верхнего и Нижнего Поволжья, Севера, Украины, Грузии…

1936, февраль — поездка в Минск. Первоначальный замысел романа трилогии ("Шествие актеров"); *18 шюня* — смерть А.М. Горького. *Июнь* — переезд на постоянное жительство из Ленинграда в Москву.

1937 — повесть "Я был актером".

1937–1939 — председатель правления Литфонда СССР.

1937–1940 — работа над романом "Санаторий Арктур".

1939 — рассказ "Рисунок с Ленина".

1941, шюнь — напечатана первая часть книги "Горький среди нас"; *лето — осень* — газетная публицистика первых месяцев Великой Отечественной войны.

1941, октябрь — 1943, январь — эвакуация в городе Чистополе (Татарская АССР).

1942, шюль-октябрь — жизнь в Москве, начало долголетней педагогической деятельности в Литературном институте имени А.М. Горького.

1943, август-сентябрь — поездка на фронт; *ноябрь-декабрь* —

публикация очеркового цикла "Освобожденная Орловщина".

1943–1945 — работа над романом "Первые радости".

1944, март — поездка в освобожденный от блокады Ленинград;, *апрель-май* — очерковый цикл "Освобожденный Ленинград".

1945, конец февраля — начало марта — смерть друзей: А.К. Толстого и В. Я. Шишкова.

1945, декабрь — 1946, февраль — поездка на процесс главных немецких военных преступников. Очерки цикла "На Нюрнбергском процессе" и "Маршал Жуков".

1945–1948 — работа над романом "Необыкновенное лето".

1947–1951 — председатель бюро секции прозаиков Москвы.

1949, апрель — присуждение Государственной премии первой степени за романы "Первые радости" и "Необыкновенное лето".

1949–1954 — поездки, связанные с участием в движении сторон-. ников мира: в Чехословакию, Польшу, Англию, Бельгию, Финляндию и другие страны.

1954 — итоговый публицистический цикл "В защиту мира".

1951 — избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

1954, декабрь — выступление на Втором съезде писателей СССР.

1955, май — председатель правления Московской писательской организации.

1957, осень — сборник "Писатель. Искусство. Время".

1958, июнь — избран действительным членом Академии наук СССР.

1959-1962 — выходит Собрание сочинений в девяти томах.

1959, май — на Третьем съезде Союза писателей СССР избран первым секретарем правления СП СССР.

1961, декабрь — завершена журнальная публикация первой книги романа «Костер» — "Вторжение".

1962, 24 февраля — юбилей 70-летия К. А. Федина в Театре имени

Евг. Вахтангова; *март* — избран депутатом Верховного Совета СССР.

1967, февраль — присвоено звание Героя Социалистического Труда; *май* — выступление на IV Всесоюзном съезде писателей. Переизбран первым секретарем правления СП СССР.

1971, июнь-июль — на Пятом съезде писателей СССР избран председателем правления СП СССР; ухудшение состояния здоровья.

1976, июнь — на Шестом съезде писателей СССР переизбран председателем правления СП СССР.

1977, 15 июля — кончина К.А. Федина. Похоронен на

Новодевичьем кладбище в Москве.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Конст. Федин. Собрание сочинений. Тт. 1–9. М., ГИХЛ, 1959–1982.

Конст. Федин. Собрание сочинений. Тт. 1-10, М., ГИХЛ, 1969–1973.

Конст. Федин. Собрание сочинений. Тт. 1-12. М., "Художественная литература", 1982 (издание продолжается в наст, время).

Воспоминания о Константине Федине. Сборник. М., "Советский писатель", 1981.

Творчество Константина Федина. Статьи. Сообщения. Документальные материалы. Встречи с Фединым. Библиография. М., «Наука», 1986.

Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство, т. 70, М., 1963.

Воспоминания об А.Н. Толстом. Сборник. М., "Советский писатель", 1982.

Шишков В.Я. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В.Я. Шишкове. Письма. Л., Ленгиз, 1956.

Воспоминания об И. Соколове-Микитове. Сборник. М., "Советский писатель", 1984.

Проблемы развития советской литературы. Проблематика и поэтика творчества К. Федина. Межвузовский сборник. Изд-во Саратовского университета, 1981.

Брайнина Б. Константин Федин. Очерк жизни и творчества. М., ГИХЛ, 1982.

Брайнина Б. Федин и Запад. Книги. Встречи. Воспоминания. М., "Советский писатель", 1980.

Бугаенко П. Константин Федин. Личность. Творчество. Саратов, Приволжское книжное издательство, 1980.

Левинсон З. В единстве. О творчестве К.А. Федина. Тула, Приокское книжное издательство, 1979.

Оклянский Ю. Константин Федин (Встречи с мастером). М., "Советская Россия", 1974.

Старков А. Ступени мастерства. Очерк творчества Константина Федина. М., "Советский писатель", 1985.

Fedin und Deutschland. Aufbau — Verlag, Benin, 1962. Konstantin Fedin. Sonderheft. Druckerei «Vorwarts», Giistrow, 1966/67.

W. Diiwel, A. Diiwel. Konstantin Fedin, Kulturbund der DDR, Berlin, 1981 (особенно разделы — "Biografische Chronik", а также "Fedinund junge Zittauer Revolutionare", S. 48–67, 17–27).

В книге использованы материалы, хранящиеся в личном архиве К.А. Федина в Москве и Переделкине; в фондах Государственного музея К.А. Федина в Саратове; в архивных фондах Союза писателей СССР; в архивных фондах Общества дружбы ГДР — СССР гор. Циттау (ГДР); в научной библиотеке Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Часть писем, фотографий, других документальных материалов предоставили Геннадий Васильевич Рассохин (Саратов), Ольга Викторовна Михайлова (Москва), краевед из Циттау Герберт Фишер и профессор-славист Вольф Дювель (ГДР), за что автор глубоко им признателен.

Особенная благодарность Нине Константиновне Фединой, попечителю личного архива писателя, за постоянную помощь при установлении биографических обстоятельств и фактов, многообразные сведения и материалы, предоставлявшиеся в процессе работы над книгой.

notes

Примечания

1

С 1919 года Н.П. Солонин стал мужем сестры писателя А.А. Фединой, в первом браке — Рассохиной, определенные черты которой воспроизведены в образе Лизы Мешковой в "Первых радостях", на что и намекает далее автор письма.

2

Теперь в этом здании бывшего Сретенского начального училища, составляющем достопримечательность старого Саратова, на одной улице и в недалеком соседстве с Домом-музеем Н.Г. Чернышевского, располагается Государственный музей К.А. Федина.

З

Etc — и прочее *(лат.)*

4

"Так проходит жизнь и земная слава" *(латин.)*

5

У повести Федина "Я был актером" (1937) есть посвящение: "Николаю Коппелю, с которым я прожил две жизни".

6

А.И. Колосов — впоследствии писатель, очеркист, почти три десятилетия работавший специальным корреспондентом «Правды». В романе "Города и годы" близко к реальности революционных лет выведен под прозрачно измененным именем — Семен Голосов. А.И. Колосов — также одно из действующих лиц книги Д. Фурманова «Мятеж», посвященной событиям гражданской войны в Средней Азии.

Ниже в этом письме своему смоленскому адресату Федин добавляет: "Валенки весом с полпуда я возил с собой понапрасну!.. Теперь уже распутица, поздно, не доберешься". Таким образом, развлекательный пункт «трехсоставного» плана, едва ли не выставлявшийся в гостинных разговорах на первое место (судя, например, по заметке в дневнике Н.К. Шведе-Радловой от 12 января 1928 года: "…Федин уехал в Смол[енскую] губернию…") — столь лелеемый выезд в лесные дебри на волчью облаву и заячью охоту, остался несбывшейся мечтой.

8

Ведущий врач либо фрейлейн доктор *(нем.)*.

9

Индустрия по обслуживанию иностранцев *(нем.)*.

10

В верные, правильные, надлежащие руки *(нем.)*.

11

Имеется в виду письмо А.М. Горького от 15 ноября 1931 года.

12

Святая ночь, тихая ночь… *(нем.)*.